

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1981

СОДЕРЖАНИЕ

Филин Ф. П. (Москва). Проблемы исторической лексикологии русского языка (Древний период)	3
ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ	
Петушков В. П. (Ленинград). О возможных пределах механизации лексикографических работ	17
Пюрбеев Г. Ц. (Москва). Категория модальности и средства ее выражения в монгольских языках	25
Вернер Г. К., Живова Г. Т. (Таганрог). К характеристике классной системы в енисейских языках	31
Ким С. С.-Д. (Ташкент). Вопросы комплексной разработки типовой русской части для русско-национальных словарей	39
Домашнев А. И., Худницкий В. С. (Ленинград). К вопросу о положении нижненемецкого диалекта в ГДР	54
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
Брагина А. А. (Москва). Наблюдения над категорией рода в русском языке	38
Дашкевич Я. Р. (Львов). Армяно-кыпчакский язык XV—XVII вв. в освещении современников	79
Мурьянов М. Ф. (Москва). О работе И. В. Ягича над служебными Мняеями 1095—1097 гг.	106
Мароевич Р. (Белград). Оппозиция определенных и неопределенных форм притяжательных прилагательных	106
Орлов Г. А. (Москва). К проблеме границ обиходно-бытовой и современной литературной разговорной речи	119
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Рецензии	
Верещагин Е. М. (Москва). <i>Жиекова Л.</i> Четвероевангелието на цар Иван Александър	129
Астахина Л. Ю. (Москва). <i>Котков С. И.</i> Лингвистическое источниковедение и история русского языка	132
Журавлев В. К. (Москва). <i>Pauliny E.</i> Slovenskí fonológija	137
Ахметова С. Г. (Алма-Ата). <i>Долгова О. В.</i> Синтаксис как наука о построении речи	140
Фефелов А. Ф. (Новосибирск). «La pensée». Janvier 1980. № 209	143
Маковский М. М. (Москва). <i>Wentisch F.</i> Spezifisch anglisch Wortgut in den nordhumbrischen Interlinearglossierungen des Lukasevangeliums	146
Шагдаров Л. Д., Дондуков У.-Ж. Ш. (Улан-Удэ). <i>Будаев Ц. В.</i> Лексика бурятских диалектов в сравнительно-историческом освещении	149
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ	
Хроникальные заметки	152

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Азманова, Ф. М. Березин, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

ФИЛИН Ф. П.

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА

(Древний период)

Что значит историческая лексикология языка? Ответ на этот вопрос может быть только один: надо показать, каковы были истоки словарного состава языка во всем его объеме еще в дописьменную эпоху, какими были инновации лексики этого языка после его обособления от других родственных языков, включая новообразования на унаследованной лексической базе и заимствования, чем отличался возникший язык от других родственных соседей, каким было его диалектное членение, какие процессы происходили в лексике и лексической семантике после возникновения и развития письменности, непрерывные изменения (обогащение из разных источников и отмирание архаизмов), имевшие место в течение столетий вплоть до нашего времени во всех разновидностях языка, письменного и устного. Нам должны быть известны основные закономерности, пути развития всего словарного состава языка от его начала до современного состояния. Более того, мы должны знать причины сложения каждого слова, время его возникновения (хотя бы приблизительно), изменение его значений и оттенков значений, их связей со значениями других слов. Ведь каждое слово представляет собою особый микромир, в котором отражается какой-то кусочек реальной действительности или отклонений от нее (нередко весьма значительных), средство коммуникации.

Возможно ли выполнение такой грандиозной задачи? На этот вопрос можно ответить пока отрицательно. Мы, вероятно, еще очень долго не сумеем исследовать историю колоссального количества слов и их значений во всей их совокупности. Не сумеем, но стремиться к этому должны. На первых порах надо попробовать наметить пути развития словарного состава языка хотя бы в общем, приблизительном виде. Этого пока еще никем не сделано, хотя работ по исторической лексикологии опубликовано огромное, практически необозримое количество.

В данном случае речь идет об исторической лексикологии русского языка. Попытки создать ее были, но они не могут быть признаны удовлетворительными. Первой такой попыткой является книга П. Я. Черных [1], задуманная как учебное пособие для филологических факультетов университетов. П. Я. Черных пишет: «Главная задача русской исторической лексикологии заключается в том, чтобы выяснить, как происходило развитие лексических средств русского языка в целом, во всех его разновидностях — литературного языка и говоров, включая и профессиональную терминологию; в том, чтобы установить, с чего это развитие началось, как протекало, какие этапы прошло, установить хронологические рамки появлений отдельных слов или целых групп и категорий слов; в том, чтобы объяснить, почему некоторые слова вовсе исчезли из живого языка, некоторые лишь выпали из ныне действующего словаря, почему одни слова сохранились без каких-либо заметных изменений их

внешней формы или их обычного значения, другие изменились и в том и в другом отношении; в том, чтобы выяснить общие линии и тенденции, направления в движении словарного состава русского языка, т. е., другими словами, изучить внутренние законы развития этого словарного состава в связи с историей народа. Такова задача. И нужно прямо сказать, что в настоящее время мы еще очень далеки от ее осуществления» [1, с. 3].

Последние слова П. Я. Черных справедливы. На той же странице в примечании он определяет свой «Очерк» как «... всего лишь собрание некоторых материалов, наблюдений, этимологий, лексикологических эскизов (в определенных хронологических рамках, главным образом до начала XVIII века)» [1, с. 3, примеч.] Этапы истории русской лексики чисто внешне намечены: общеславянский словарный фонд и его развитие в древнерусскую эпоху; диалектные явления общеславянской эпохи, общеславянская лексика; лексические явления древнерусского периода, эпоха Киевской Руси и, наконец, изменения в словарном составе русского языка XVI—XVII вв. Но в рамках указанных хронологических делений содержатся разрозненные очерки отдельных тематических и иных групп слов, без соблюдения хронологии, не более того. Так, в первой, самой большой главе «Общеславянский словарный фонд и его развитие в древнерусскую эпоху» примеры из праславянского языка чередуются с поздними образованиями, включая и современные слова, к праславянскому лексическому фонду не имеющие никакого отношения. Очерки не зависят друг от друга, последовательно изложенной истории словарного состава с другим охватом материала и взаимосвязями лексических явлений нет, хотя отдельные наблюдения представляют интерес и сегодня. В 1975 г. вышел в свет третий том «Русской исторической грамматики» В. Р. Кипарского, посвященный истории словарного состава русского языка [2]. Автор сообщает, что в этой книге он подводит итоги своих многолетних исследований в области этимологии исконных русских слов, заимствований и суффиксально-префиксальных новообразований на русской почве. Русских слов исконного индоевропейского происхождения (берется условная дата возраста слов: не позже 3500 лет, когда хетты стали самостоятельной этноязыковой единицей и праиндоевропейская общность окончательно распалась) в современном русском языке обнаруживается 454. Следуя гипотезе балтославянского единства, В. Р. Кипарский выделяет русские слова балтославянского происхождения (их возраст не менее 2500 лет). Таких слов оказывается около 300. Далее сообщаются сведения о праславянском лексическом слое не менее полуторатысячной давности (распад праславянского языка, таким образом, приурочивается к V в. н. э.), состоящем из 420 слов. К указанным цифрам прибавляются древние заимствования: 55 германизмов, около 20 иранизмов и 23 тюркизма. А всего древнерусский язык унаследовал от своего предка — праславянского — около 1272 слов, образовавшихся или заимствованных в разные доисторические эпохи (все подсчеты произведены мною), причем имеются в виду только непронизводные слова. Эта цифра близка к подсчетам Т. Лер-Сплавинского, который находил в польском языке «немного более 1700 праславянских слов», причем свыше восьми десятых их «касается внешнего (физического) мира и внешней (материальной) жизни человека» [3].

Для удобства подачи материала В. Р. Кипарский, как и П. Я. Черных, располагает слова в виде отдельных тематических групп. Что касается дат, то автор указывал на их условность. Они скорее служат целям педагогическим, а не строго научно-исследовательским.

Далее в книге идет неопределенно суммарное изложение наблюдений над новообразованиями и заимствованиями в русском языке, начиная с

древнерусского периода и кончая нашим временем («спонтанными русизмами», церковнославянизмами, грецизмами, финноугризмами, балтизмами и т. п., а также заимствованиями петровской и послепетровской эпох). Добрая половина книги состоит из комментированного списка суффиксов, префиксов и сложносоставных слов (с примерами), представленных в алфавитном порядке. Автор широко использовал славистическую литературу и работы по истории русского языка и русской исторической лексикологии, в том числе и советских языковедов. Труд В. Р. Кипарского, безусловно, полезное справочное пособие, но это еще не история русской лексики, а только заготовки к ней. Развитие словарного состава, весьма сложное и противоречивое, в алфавитный порядок не укладывается и является предметом описания совсем другого жанра исследований.

Ставя перед собой задачу изучения проблем исторической лексикологии русского языка, мы должны исходить из наследия, которое осталось древнерусскому языку от языка праславянского, а для этого нужна реконструкция праславянского словарного состава. Главным методом такой реконструкции является этимология в сочетании с лингвистической палеогеографией. Восстанавливать лексику дописьменного мертвого языка — дело чрезвычайно трудное и трудоемкое, но возможное. Отдельные фрагменты праславянской лексики мы находим в каждом этимологическом словаре любого славянского языка, поскольку в этих словарях даются этимологии древних слов. Однако отдельные этимологические словари общую задачу не решают.

Во-первых, установка таких словарей — описать происхождение не только древних, но и поздних слов (новообразований и заимствований), включая современные. В самом лучшем законченном «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера, переведенном с немецкого языка на русский и существенно дополненном О. Н. Трубачевым [4], очень много статей отведено объяснению происхождения поздних и новейших слов, причем не обошлось дело без курьезов. Так, например, у Фасмера находим этимологии слов-однодневок, не вошедших в словарный состав современного русского литературного языка, созданных писателями для определенных целей художественного изображения или бытовавших в просторечии в определенный промежуток времени: *горловщина* «фразерство неспособных офицеров (по фамилии генерала Горлова из пьесы А. Корнейчука „Фронт“, 1942 г.)», *путеводиус* «путеводная звезда» (шутливое образование С. Михалкова, см. «Новый мир», 1945), *керенка* «денежный знак достоинством 40 рублей и 20 рублей в 1917 г. (по фамилии Керенского)» и др. Знаменитому немецкому слависту трудно было из Западного Берлина оценивать значимость новообразований новейшего времени. Таких курьезов в крайне медленно печатающемся «Этимологическом словаре русского языка» под ред. Н. М. Шанского (всего в свет вышло 6 выпусков; за пять последних лет ни одного) мы, естественно, не встречаем [5]. Слова праславянского языка в этимологических словарях отдельных славянских языков надо выискивать среди множества поздних новообразований и заимствований.

Во-вторых, в таких словарях представлены главным образом непрямые производные слова (с точки зрения поздней праславянской словообразовательной системы), к тому же мы находим в них, как правило, скудные сведения об их географическом распространении в славянской языковой области.

Однако совершенно очевидно, что в любом языке на любой ступени его развития кроме исходных слов существовали и производные в формальном и семантическом отношении. Разумеется, праславянский язык не представлял собою исключения. Для нас необходимо представить (конечно, в приближенном виде) словарный состав праславянского языка

во всей его совокупности, что можно сделать только путем этимологизации древних слов всех славянских языков и диалектов и на широком фоне индоевропейского материала. Попыты создания этимологических словарей славянских языков имеются. Еще в 1886 г. опубликован словарь Ф. Миклошича [6], а в 1908—1913 гг. незавершенный словарь Э. Бернекера [7]. Однако указанные словари в значительной своей части устарели и опирались на недостаточные сведения. Кроме того, ни Миклошич, ни Бернекер не ставили своей задачей реконструкцию праславянской лексики, включая в свои словари явно поздние новообразования и заимствования, имевшие место в разных славянских языках. В этом отношении они мало чем отличаются от этимологических словарей отдельных славянских языков, появившихся или начатых во множестве в XX в., особенно в наше время.

В 50—60-х гг. начинают подготавливаться новые обширные этимологические словари славянских языков, так или иначе учитывающие как старое этимологическое наследие, так и огромные вновь накопленные материалы¹, из которых по техническому оформлению и целям реконструкции именно праславянского лексического фонда на первое место нужно поставить московский «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» под ред. О. Н. Трубачева (ЭССЯ) и краковский «Słownik prasłowiański» под ред. Фр. Славского. Впервые в истории славистики была выдвинута столь грандиозная задача, выполнение которой может уже теперь коренным образом изменить наши представления о словарном составе праславянского языка, его сложном происхождении и развитии, его диалектном членении и наследии в отдельных славянских языках, в частности, что нас интересует прежде всего, о специфических особенностях лексики общевосточнославянского (дописьменного прарусского и древнерусского эпохи письменности). Сравнивая оба словаря, я бы сказал, что словарь О. Н. Трубачева гораздо четче решает проблему, чем словарь Фр. Славского, ставя перед собой задачу выявить реальные (насколько это возможно сделать) праславянские лексические единицы и располагая их в строгом алфавитном порядке, тогда как в словаре Фр. Славского используется наряду с алфавитным также частично гнездовой способ расположения материала, при котором возможность включения в словарные статьи поздних деривационных образований заметно возрастает. Да и сам выбор слов в некоторых случаях вызывает сомнение. Особенно это относится к экспрессивно-эмоциональным словам и междометиям *achъ*, *achati*, *achъkati*², *cu! cu! cu!* «подзывание собак» (у русских *цүцү!* с причмокиванием), *cicati* «произносить *цү*», *cisъkъ* «собака, щенок» (русс. *дрожит как цүцик* — праславянское слово?); *šaca*: *sasa* (русс. *цаца* впервые засвидетельствовано в словаре 1847 г.) и т. п. Разумеется, мы не намерены снижать научную ценность словаря Фр. Славского, без которого не может обойтись ни один славист.

В словаре Фр. Славского прежде всего богато представлены данные польского языка (с них и начинаются словарные статьи), в брненском словаре — чешско-словацкие материалы, а в словаре О. Н. Трубачева шире представлены сведения из восточнославянских языков и диалектов (хотя в словарных статьях они помещаются в конце вслед за южнославянскими

¹ [См. об этом [8].

² Фр. Копечный о такого рода словах пишет: «Разумеется, праславяне, как и большинство других людей, каким-то образом и *ахали* и *ажали*, но вопрос в том, произносилось ли это *ах* с редуцированным. По нашему мнению, статей этого типа (или *be-* как основа для *bekati/bečati*) надо в праславянском словаре избегать или давать петитом» [8, с. 11]. К замечанию Фр. Копечного следует отнестись со вниманием. Не все слова, распространенные (с их вариантами) во всей славянской языковой области, обязательно были праславянскими.

и западнославянскими), что вполне естественно. Специалисты по истории восточнославянской лексики прежде всего должны ориентироваться на словарь О. Н. Трубачева, дополняя его содержание всеми другими источниками. Когда я попытался установить по словарю О. Н. Трубачева праславянские слова, зафиксированные только на восточнославянской территории, то в словаре Фр. Славского к моим выпискам нашлось очень мало дополнений, причем эти дополнения в ряде случаев вызывают сомнения. Можно ли, например, реконструировать *сѣловъ* только на основании помещенного в словаре Даля *целовбй* (стоит рядом с *целостной*) «целый, цельный»? Вряд ли оправдывают это образование взятые из польского языка старопольск. *calowity* (XVI в.), кашубск. *calowni* и пр. явно поздние слова с продуктивными сложными суффиксами *-ovit-*, *-ovъn-*. Нужно с большой осторожностью относиться к примерам, имеющимся только у Даля без географических помет, поскольку известно, что Даль охотно сочинял слова по продуктивным словообразовательным моделям, которые могли бы существовать в русском языке, но на самом деле их не было, о чем он открыто писал сам.

Чем замечателен фундаментальный труд О. Н. Трубачева и его трудников? Этот труд как бы подводит итоги славянской лексикологии и лексикографии в ее исходной праславянской части. В нем учтены огромная литература предмета, все важнейшие славянские словари литературной и диалектной речи, данные славянской письменности, многие картотеки словарей, опубликованных только частично, некоторые словарные архивы. Конечно, пропуски источников неизбежны, но это самое лучшее и полное собрание всего, что сделано в данной области. Статьи словаря написаны высококвалифицированным компаративистом, причем многие из них представляют собой небольшие сжатые монографии с указанием важнейшей литературы предмета и изложением разных, часто противоречивых, точек зрения. На мой взгляд, главное в отборе словника — непорочивость реконструированных слов фонетическим, морфологическим и словообразовательным закономерностям праславянского языка, известным современной науке, соответствие значений слов уровню культуры того времени и географическое распространение лексических единиц. Все заведомо поздние новообразования и заимствования исключаются (а они то и составляют подавляющее большинство словарного состава письменно засвидетельствованных и современных языков).

В семи опубликованных выпусках словаря О. Н. Трубачева содержится 3771 словарная статья на буквы А — Г (фактически слов в этих статьях несколько больше, так как в некоторых случаях приводятся слова с иными формантами, не указанные в заглавных словах) [9]. А сколько всего будет выявлено праславянских лексем в этом словаре? Точно на этот вопрос пока ответить невозможно. Все же я попытался произвести сугубо предварительные подсчеты. Отыскивая в словаре М. Фасмера слова, засвидетельствованные только в восточнославянских языках и диалектах (включая древние письменные источники), я обнаружил их около 150, а в статьях на буквы, соответствующие буквам напечатанных выпусков словаря О. Н. Трубачева, их оказалось около 25, причем распределение восточнославянизмов по сравниваемым статьям обоих словарей более или менее равномерно. Если указанная пропорция будет сохраняться и дальше, то в словаре О. Н. Трубачева, вероятно, должно быть около 22 626 словарных статей, соответственно и лексических праславянизмов. Значит, в праславянском языке, по современным данным, было что-то около 22 000 слов. Когда словарь будет закончен, вероятно, цифра окажется иной, но то, что представлено в первых семи выпусках, может служить прочной опорой для определения лексических ареалов позднего праславянского

периода и удельного веса разных типов пзоглосс, о которых будет сказано ниже.

Правда, О. Н. Трубачев не так уж редко высказывает сомнения в древности ряда слов, т. е. в их принадлежности к праславянскому языку, ставя знаки вопроса (например, **adera?*: русск. диал. *ядера* «сварливый, неуживчивый человек») или делая примечания: «возраст проблематичен», «в древности слова нет уверенности» и т. п. (ср. **avorišće*: серб.-хорв. *јавориште* «место, где растут яворы»). «Ввиду популярности данного суфф., в частности, в серб.-хорв., древность образования скорее проблематична» и т. д.). Вообще мы далеко не всегда можем быть уверены в принадлежности к праславянской эпохе слов, образованных посредством словообразовательных формантов, которые были активными («популярными») после распада праславянского языка в отдельных славянских языках, особенно, если эти слова не засвидетельствованы в ранних памятниках письменности. Ср., например **bukadlo*: серб.-хорв. *букало* «ревун, крикун», диал. *бјкало* «омут», русск. диал. *бѹкало* «колокольчик, подвязываемый скоту на шею»; **čeliti*: словен. *čeliti* «стесывать (напр., ствол дерева), гладко обрезать (нижний конец снопа)», русск. *челѣти*, *челить ворол* «разделять (делить) на чело и озадок или охвостье» (кстати, зафиксировано пока что только у Даля и без географической пометы вместе с другими двадцатью пятью производными от слова *чело*); **čelъnikъ*: болг. *чѣлник* «главарь, вожак», русск. диал. *чельникъ* «головной наряд» (опять только у Даля и без географической пометы, следовательно, не диалектное); **grebadlo*/**grěbadlo*: болг. *гребало* «то, чем загребают», русск. диал. *гребѣлка* «лопата с широкими, загнутыми, как у совка, краями; деревянная гребенка с длинными зубьями и ручкой посредине для вычесывания щуха» и т. д. и т. п. Распространенность этих производных образований в разных славянских языках сама по себе еще не гарантирует их праславянскую древность, так как они могли возникнуть, имея одну и ту же исходную основу и одинаковые словообразовательные форманты, в разных языках и диалектах независимо друг от друга. Мы были бы более уверенными в древности этих слов, если бы они были зафиксированы в самых ранних памятниках славянской письменности. Но чего нет, того нет.

Из сказанного следует, что какое-то число слов, помещенных в словаре, вероятно, следует вычест из 22 626 предполагаемых праславянизмов. Однако следует иметь в виду, что не все материалы еще собраны. Ежегодно в разных изданиях выдвигается множество новых славянских этимологий, в том числе и слов, которые раньше не подвергались этимологизации, особенно в диалектных записях, обнаруживаются неизвестные ранее праславянские слова³. В самом словаре О. Н. Трубачева можно найти немало таких примеров. Любопытно, что когда О. Н. Трубачев привлекает данные «Словаря русских народных говоров», количество ссылок на него значительно, а когда используется только картотека СРНГ (на неопубликованные еще материалы букв *Ц, Ч, Я*, т. е. латинские *c, č, ě*), ссылки на него резко падают. Одним словом, возможности обнаружения не известных еще праславянских лексем далеко не исчерпаны. После завершения работы над нашим московским словарем, безусловно, потребуются дополнительные выпуски к нему. Надо также иметь в виду, что какое-то число праславянизмов в длительной истории славянского этноса утрачено безвозвратно. Кроме того, всем лексикографам хорошо известно, что из-за технических причин не всегда бывает возможно находить приставочные образования на буквы, словарные статьи на которые еще не составлялись или уже были составлены, но пропущены. Ср. отсутствие в словаре О. Н. Тру-

³ См., например, [10].

бачева статей на возможные праславянизмы **dobiti* (русс. *добить*, польск. *dobić*, чешск. *dobíti* и прочие соотвествия в других славянских языках), **doliti* (к **liti*), **dovoditi* и др. аналогичные. Когда такого рода префиксальные производные распространены в славянских языках, шансов у них быть зачисленными в штат праславянизмов не меньше, чем у производных с активными суффиксами. Кстати, не очень понятно, почему не выделен в самостоятельную статью глагол **dožinati*, хотя есть **dožinъ*, **dožinъky*, при которых стоит указание: «Отглагол. производное от итер. **dožinati*. См. **do*, **žeti*». Правда, О. Н. Трубачев разъясняет, что слова типа **dožinati* не должны входить в состав словаря, поскольку в них преобладает грамматическое, а не лексическое значение, тогда как производные от него **dožin*, **dožinky* лексикализировались. В связи с этим встает вопрос о том, что нужно понимать под лексемой (словом). Может быть, действительно, **dožinati* следовало бы привести в статье **dožeti* как итеративную форму, но в словаре нет и статьи **dožeti*. Должны мы рассматривать **dožeti* только как грамматическую форму слова *žeti* с обозначением окончательности действия? Это очень сомнительно. Все приставки, как и другие аффиксы, являются средством словообразования, а не словоизменения, что не вызывает сомнения у всех лексикографов. Выражая разные оттенки грамматической семантики, они сохраняют и лексический смысл, о чем свидетельствует хотя бы то, что в этимологическом словаре О. Н. Трубачева приставки сами по себе этимологизируются, т. е. рассматриваются как лексемы (в отличие от флексий и иных средств словоизменения, которые не этимологизируются). В словаре приставочные глагольные образования помещаются только в том случае, если они выражают пространственные отношения (ср. **doběgati*/**doběgti*, **doběžati*). Однако остается неясным, почему мы должны считать приставочные глаголы со значением движения лексикализированными, а глаголы с той же приставкой иных значений только грамматическими. Различие между ними усмотреть трудно: приставка **do-* во всех случаях выражает конец действия. По-видимому, автор пытается найти средство экономной подачи материала в словаре, на наш взгляд, весьма спорное. Но мы оставляем эти споры для будущих обсуждений, а сейчас вернемся к главному.

В отличие от известного антиисторического высказывания А. Мейе, согласно которому реконструируемые праформы всего лишь удобный способ устанавливать соотвествия между родственными словами, а сами праформы только условные знаки, но более того, О. Н. Трубачев твердо стоит на исторической почве и видит в своих реконструкциях не пустышки, а реальные факты, которые существовали или могли существовать. Если бы это было не так, то сравнительно-историческое языкознание во многом (если не во всем) теряло бы свой смысл. Тем более в данном случае речь идет о близкородственных языках, когда возможности реконструкции резко увеличиваются. Справедливости ради следует сказать, что А. Мейе, высказав свою скептическую мысль, в исследовательской практике не придерживался ее и очень многое сделал в области сравнительно-исторического индоевропейского языкознания, в частности, и в исследовании славянских языков.

Одним словом, если из указанных выше 22 626 праславянизмов нужно что-то вычесть, к ним надо и кое-что прибавить, так что в дальнейшем мы будем исходить из названной цифры.

Но прежде нам надо уточнить, что мы понимаем под термином «праславянский язык». Этот термин удобен, по условен. Как нация (соответственно национальный язык) является категорией, возникающей во время становления капиталистических отношений в обществе, так и народность и язык народности появляются в процессе разложения родоплеменного

строю и перехода его к классовому. Не было праславянского народа или народности, а было этническое сообщество праславянских племен, объединенное общностью происхождения и близостью племенных диалектов. Поскольку язык или диалект не только структурно-системная, но и коммуникативная единица, праславяне говорили на близкородственных диалектах, каждый из которых и был реальной коммуникативной единицей, а праславянского языка (в современном понимании термина «язык») не существовало: на нем никто не говорил, а говорили на диалектах. Распад праславянского этноязыкового единства совпал с разрушением родового строя, зарождением классовых различий, возникновением первичных государственных образований. Племенные объединения перерастали в древние славянские народности с их особыми языками. Когда это было? О. Н. Трубачев воздерживается от определения хронологических границ своего словаря. Однако если ориентироваться на формы реконструируемых им слов, то верхняя временная граница словаря приходится на позднее праславянское состояние и начало его распада: сохранение носовых гласных, сочетаний типа **tort*, начальных *a* без протетического *j* (типа **avorъ* > др.-русс. *яворъ* «кладь сена») и т. п., но уже наличие первого и второго (также — третьего) смягчения заднеязычных согласных, монофтонгизация дифтонгов, переразложение древнейших основ склонения и других фонетических и морфологических явлений позволяет приурочивать верхнюю границу словаря примерно к VI—VII вв. н. э. Праформы такого типа обычно выставляются и в других этимологических словарях славянских языков. Иное дело — отбор слов с лексикологической точки зрения. В словаре имеются и слова более поздние (помимо тех, о которых говорилось выше). Например, **čerky* получило широкое распространение несомненно только с принятием христианства. Это заимствование из герм. **kirkō* или **kirikō* истолковывают как пример второго смягчения заднеязычных согласных (а это время до VI—VII вв. н. э.). Но, как правильно отмечает О. Н. Трубачев, *k* перед гласным *ь* должно было измениться в *č*, поэтому *c* можно объяснить только особенностью произношения иноязычного слова-источника [ср. палатализацию *k* перед *i* в *c* в поздней латыни, *k* > *z* (*ts*) в немецких диалектах, антропоним в некоторых германских странах *Zilliacus* < лат. **cyriacus* < греч. *κυριακός*].

Можно сказать, что в словник включены реконструированные слова праславянской эпохи, начиная с раннего периода истории праславянского языка и кончая его распадом, плюс некоторое количество слов, относящихся ко времени непосредственно перед распространением славянской письменности и может быть даже самого ее начала. Словарь открывает огромные и заманчивые возможности освещения жизни праславян, материальной и духовной, решения сложных проблем славянского этно- и глоттогенеза, но это не входит в компетенцию русской (восточнославянской) лексикологии. Для нас в данном случае важно другое. Что дает словарь для анализа истоков древнего восточнославянского словарного состава, чем отличался язык прарусской и древнерусской народности от своих родственных инославянских соседей в лексическом отношении, какими были его диалектные зоны?

Важно подчеркнуть, что история праславянских диалектов и возникновения современных славянских языковых групп не укладывается в примитивную, но до сих пор широко распространенную схему «родословного древа», согласно которой языковое развитие представляет собой прямолинейное членение исходного праязыка на отдельные праязыки, которые в свою очередь тоже делились на отдельные языки и диалекты, состоящие всегда из поздних новообразований. Мысль о наличии в любом языке диалектных особенностей, которые древнее самого этого языка и отражают

сложные членения более ранних исторических эпох, считалась (да, пожалуй, считается многими и в наше время) крамольной. Однако посмотрим на факты, которые в таком изобилии содержатся в словаре О. Н. Трубачева.

Лингвогеографические сведения, имеющиеся в словаре, указывают на чрезвычайное разнообразие изоглосс праславянских слов в славянской языковой области. Сам О. Н. Трубачев иногда помещает карты распространения древних слов (см. карту **bl'udo*/**bl'udъ* во 2-м вып. и карту **devęty na desęte*, **devę(i)nosto* в 4-м вып.). Остается только пожелать, чтобы в следующих выпусках словаря такие карты помещались бы почаще. Автор настоящих строк попробовал посмотреть все словарные статьи семи выпусков с точки зрения лингвогеографической. И вот что получилось в о г р у б л е н н о м виде: 1) слова, распространенные во всех славянских языках (включая и диалектные в некоторых языках), насчитываются в количестве 804, что составляет около 21% всего словника; 2) слов, имеющих в южных, западных и восточнославянских языках, но не во всех из них — 964, или около 28%; 3) слов, зафиксированных только в южнославянских языках или их диалектах (нередко узколокальных) — 423, или 11,2%; 4) слов, отмеченных только в западнославянских языках или их диалектах (вместе с узколокальными) — 204, или 5,4%; 5) слов, найденных только в восточнославянских языках или их диалектах (включая также узколокальные) — 270, или 6,8%; 6) слов южнославянских и восточнославянских (отмеченных преимущественно в отдельных языках или их диалектах, т. е. не покрывающих всю юго-восточную область) — 468, или 12,4%; 7) слов западнославянских и восточнославянских (с тем же примечанием, что и в предыдущем пункте) — 314, или 8,3%; 8) наконец, слов только южнославянских и западнославянских (с тем же примечанием) — 260, или 6,9%.

Конечно, новые подсчеты такого рода могут уточнить приведенные цифры (в чем-то я мог ошибиться — работа эта весьма трудоемкая), но не думаю, что общая картина от этого существенно изменится. Разумеется, мы полностью отдаем себе отчет в том, что изоглоссы всех праславянских слов за тысячу с лишним лет могли неоднократно изменяться. Чтобы быть совершенно уверенным в своих выводах, надо тщательно изучить историю и распространение каждого из предлагаемых 22 626 слов, что практически невыполнимо ни теперь, ни в будущем. Могут быть только отдельные исправления и дополнения. Чем отдаленнее от нас время и соответственно беднее фактические материалы, тем гипотетичнее наши палеолингвогеографические реконструкции. В то же время чем обширнее ареал обследования и чем больше на нем размещается языковых и диалектных единиц, тем больше повышается правдоподобность реконструируемых изоглосс. К тому же праславянизмы в словаре О. Н. Трубачева рассматриваются на широком индоевропейском фоне, в нем привлекаются данные не только современных славянских языков, но и старой славянской письменности, в том числе и наиболее ранние ее памятники. Если, например, локализм **dorbъ*, представленный в белорусск. *дѣроб* «короб», русск. диал. и белорусск. производное *доробок* «коробок», русск. диал. *дѣробья* «лукошко с выбитым дном» и др., имеет праиндоевропейскую этимологию и восходит к праиндоевроп. **dorbho-*, мы вправе считать такой локализм древним осколком праиндоевропейской эпохи. Хотя нам неизвестна точная его изоглосса в праславянском, дружные отрицательные показания всех других славянских языков и диалектов позволяют нам утверждать, что и в праславянскую эпоху (по крайней мере до VI—VII вв. н.э.) это слово было локализмом (пусть даже с иными границами его распространения). И уж во всяком случае общеславянские данные гораздо надежнее с исторической точки зрения, чем, скажем, сведения диалектологического атласа современ-

ных северновеликорусских говоров, на основании которых некоторые диалектологи пытаются решить проблему происхождения и развития северновеликорусского наречия, не привлекая общеславянских (даже общевосточнославянских) фактов и показаний древней письменности. Попытка освещения основных исторических изменений в языке какого-либо региона на основании только современного лингвистического атласа этого региона похожа на гадание на кофейной гуще. Узкодиалектологический подход позволяет узнать кое-что об изменениях заведомо поздних, не более того.

Охват фактов на большой лингвогеографической территории похож на наблюдения поверхности Земли с космических спутников и станций, которые выявляют древние разломы, трещины и иные особенности земной коры, совершенно незаметные, когда они наблюдаются с самой поверхности.

Из сказанного выше мы можем заключить, что словарь О. Н. Трубачева и другие реконструкции праславянского лексического фонда (теперешние и будущие) представляют собой сводные словари лексики различных праславянских коммуникативных единиц — диалектов и групп диалектов. 22 000 слов могли характеризовать богато развитые языки (вспомним, что в произведениях Пушкина оказалось около 21 000 слов) с высоким уровнем цивилизации. На самом же деле ни одно праславянское племя не владело всем запасом праславянского словаря. Собственно общеславянских слов праславянской эпохи оказывается что-то около 21% (среди этих слов наиболее высок удельный вес лексем, обозначающих жизненно важные явления типа **bělъ*(ь), **běda*, **dězati*, **biti* и т. п. и имевших многие производные). К ним нужно прибавить какое-то число слов 2-й группы (см. выше), с наиболее высоким удельным весом лексем, образованных посредством продуктивных аффиксов, какая-то часть которых, возможно, возникла в отдельных славянских языках независимо друг от друга, т. е. не относящихся к праславянской эпохе, а также какое-то число слов других групп. Это число нам неизвестно и вряд ли оно когда-нибудь будет установлено. Во всяком случае, общеславянских слов было не более половины всего выявленного словарного состава диалектов праславянской эпохи, а скорее всего менее половины. Большая часть слов представляла собой локализмы.

Что же унаследовал язык древней восточнославянской (прарусской и ранней древнерусской) народности из праславянской лексики? В него, несомненно, вошли все общеславянские слова, надежно засвидетельствованные в древнерусском и современных восточнославянских языках. К ним нужно прибавить слова 2-й группы (часть их могла быть образована после распада праславянского единства), слова только восточнославянские и слова, общие с южнославянскими и западнославянскими языками (6-й и 7-й группы). По нашим подсчетам, получается что-то около 17 000 слов, в число которых входит большое количество праславянских локализмов, сохранившихся только в отдельных диалектных областях. К этому запасу нужно прибавить несомненные поздние восточнославянские новообразования и заимствования (общие для всех восточных славян и частные диалектные). Примерно таков был объем лексики исконно народной восточнославянской речи до появления на Руси письменности и раннего этапа ее истории. Эта исходная для русского (как и для украинского и белорусского языков) лексика нуждается во всестороннем ее изучении, что является одной из важнейших задач исторической лексикологии русского языка (аспекты ее исследования еще следует наметить).

Один из принципиальных вопросов — чем отличались восточные славяне от своих южных и западных родственников в словарном отношении.

Если особенности восточнославянской речи в фонетическом и морфологическом строе более или менее выявлены, то в синтаксисе и лексике они до сих пор оставались неизвестными даже в самых общих чертах. Исследователи исторического синтаксиса (в том числе и авторы академического синтаксиса русского языка), изучая типы простого и сложного предложений, всерьез и не ставили перед собой такой задачи, подчеркивая только генетическую общность синтаксического строя славянских языков. Вероятно, трудно найти различия между славянскими (в том числе и восточнославянскими) языками на уровне предложения — везде имеются разные типы простых и сложных предложений, а внутри предложений подлежащие, сказуемые и другие структурные элементы предложения. Однако если бы был создан сравнительно-исторический синтаксис на уровне словосочетаний (некоторые опыты в этой области имеются), лексического разнообразия союзов, синтаксической валентности слов, то картина, безусловно, стала бы иной.

Истари в славистике установилось мнение, что даже непосредственно после распада праславянского языка лексические различия между ранними славянскими языками были ничтожными. Славяне свободно понимали друг друга, как современные архангелогородцы курян. Соответственно лексических диалектизмов в древнерусском языке было очень мало. Моя попытка наметить круг словарных диалектизмов [11, 12] в 50-е годы получила резко отрицательную оценку, хотя после этих работ появилось немало исследований, существенно дополняющих мои наблюдения. Эти исследования нуждаются в критическом обобщении. Между тем уже в старых этимологических словарях славянских языков были накоплены сведения, которые должны были бы привести к пересмотру традиционной точки зрения. По-видимому, свою роль здесь сыграло распространённое мнение, что словарный состав очень неустойчив, быстро изменяется, поэтому историко-генетические вопросы могут решаться только на основании фонетико-морфологических данных, в которых прослеживаются устойчивые исторические закономерности. Верно, конечно, что словарный состав более изменчив, чем фонетический и морфологический строй, поскольку в нем непосредственно отражаются перемены в жизни общества. Однако верно также и то, что в лексике тоже сохраняются древнейшие элементы, в течение тысячелетий передающиеся от одного поколения к другому. Это и понятно, если не забывать, что именно в словах, стоящих в соответствующих контекстах, содержатся лексические значения, без чего язык перестал бы быть средством общения. В современных языках сохраняются слова, которые древнее египетских пирамид, которые древнее всех современных фонетических и морфологических закономерностей. Именно лексика наиболее перспективна для решения важнейших этногенетических проблем. Кстати говоря, если бы в лексике не сохранялось устойчивых пластов, то было бы невозможно составление этимологических словарей.

В связи со сказанным становится понятным, почему характеристика словарных особенностей древнерусского (прарусского) языка давала более чем скромные результаты даже в специальных историко-лексикологических исследованиях. П. Я. Черных упоминает как бы между прочим о словах, свойственных только восточным славянам, и приводит всего 10 примеров: *семья* (в современном значении), *собака*, *бѣлка*, *селезень*, *ковш*, *дешевый*, *хороший*, *смуглый*, *смага*, *сизый*. Что касается словарных диалектизмов древнерусского языка, то тоже приводится только несколько примеров, а попытка Ф. П. Филина расширить состав этих диалектизмов определяется как «неудачная», навеянная «новым учением о языке» Н. Я. Марра [1, с. 15, 102—107] (хотя почти все примеры, одобренные

П. Я. Черных, взятые из моих работ, и разумеется, без ссылок на них). В. Р. Кипарский восточнославянизмами считает *бабочка, балагур, врач, дешевый, жесткий, жестокий, зеремля, зеремено* «жилище бровов» (со ссылкой на О. Н. Трубочева), *подражать, сорок, хороший* [2, с. 173—174], а о древнерусских диалектизмах вообще ничего не упоминает. В общих пособиях по древнерусскому языку лексика, как правило, не представлена вовсе.

Анализу особой восточнославянской лексики и восточнославянских словарных диалектизмов мною была посвящена специальная глава в книге [13] и раздел «Диалектные явления в лексике» (древнерусского языка) в книге [14], в которых приводятся сотни примеров, разумеется, нуждающихся в проверке. Программную статью в 1963 г. опубликовал О. Н. Трубочев. Он писал: «Триумфом исследования состава праславянского словаря следует считать выявление в словаре следов группировки и связей, предшествующих последующей конвергенции и консолидации в существующие славянские языки». И далее: «Внутриславянские изоглоссы носят весьма сложный характер и представляют для нас не меньшую ценность, чем славянско-неславянские. Основное положение, из которого важно исходить, изучая проблему состава праславянского словаря, — это автономность праславянских состояний лексики славянских диалектов (языков)...» [15, с. 168]. Те же положения повторяются в статье «От редактора», помещенной в 1-м выпуске ЭССЯ [9, с. 3—9].

С этими положениями нельзя не согласиться: в праславянскую эпоху в течение весьма длительного времени племенные диалекты претерпевали многочисленные перегруппировки, входили в контакт с самыми различными этноязыковыми объединениями (родственными и неродственными), пока с разрушением родоплеменного строя не возникли языки славянских народностей. Далее О. Н. Трубочев считал, что в каждом славянском языке сохранилось в среднем 5000 праславянских слов и что можно рассчитывать, что в современных восточнославянских языках и диалектах найдется 200—300 праславянских лексических диалектизмов (приводятся списки таких диалектизмов: в русском языке 70, а в белорусском их 67). Но это писалось в 1963 г., когда только излагались принципы задуманного словаря. В то время О. Н. Трубочев полагал, что праславянский лексический фонд всего составит 6000 слов, из них диалектизмов будет 1000—1500 или около 20—25% указанного фонда [15, с. 170—186]. Действительность на много превзошла эти предположения. Приведем здесь только некоторые восточнославянизмы из первых семи выпусков ЭССЯ: **baba ega* «баба-яга» (древнее дохристианское образование); **balaguriti* «балагурить» («исключительно вост.-слав. и вместе с тем, видимо, старый праслав. лексический диалектизм»); **ba(d)ly* (русск. диал. *балы* «рассказни», *балы* «болтовня», укр. *бáлы* «разговоры, рассказы» — «Plurale tantum от незасвид. имени **ba(d)la* ж.р., тождественно лат. *fābula* ж.р. „речь, рассказ, басня“ <и.е. **bhā-dhl-ā*»); **bebrěnъ* (др.-русск. *бобрѣнъ* «бобровый, fibrinus»); **bergyni* (др.-русск. *берегѣни* «русалка» — из языческой древности); **bersto* (др.-русск. *бересто* «березовая кора» сохранилось в современных говорах — «Словообразовательно-морфологический вариант ср. р. к форме ж. р. **bersta*»); **bezmъdzъnъjъ* (др.-русск. *безмъздъный* «безвозмездный»); **bezpalъjъ* «без пальца, палец» («несомненный архаизм» от основы **palъ*, тогда как польск. *bezpalcy* — инновация от **palъсь*); **blizozorkъ(jъ)* «близорукий» («здесь праслав. реликт»); **bugъrъ/*bugorъ* «бугор» (имеет индоевропейскую этимологию, тюркское заимствование «менее вероятно»); **bur'elomъ/*burolomъ* «бурелом»; **ci* (др.-русск. *чи, цы* «разве», «или» и другие значения); **čara* (др.-русск. и соврем. вост.-слав. *чара* «чара», польск. *czara* только с XVII в. и ско-

рее всего заимствовано у восточных славян; имеет индоевропейскую этимологию); *četverikъ «четверик», *četvьrgъ «четверг» («знач. „четвертый день недели по христианскому календарю“ сменило, надо полагать, какое-то более древнее знач.»; во всяком случае, это слово засвидетельствовано только в древнерусском и современных восточнославянских языках); *češča «чаща» (в древнерусском засвидетельствовано с XI в.); *deševъ(jь) «дешев(ый)» («слово неясной структуры, для которого допускается древнее происхождение», но оно известно только в древнерусском и современных восточнославянских языках); *deve(t)nosto «девяносто» [кроме древнерусского и современных восточнославянских языков засвидетельствовано в ст.-польском (XV в.) *dziewiętnośtol*; *dičina «дичина» (с XII в.) и *dičь (в разных значениях в восточнославянских языках и их диалектах); *dosogъ «досуг» (с его производными; вокализм о к *došeg(a)ti); *drъgъva (в русск., укр. и белорусск. говорах *дрэва́, дрога́, дрэ́ва, драга́* «трясина; топь, болото» и другие сходные значения: производным от этого слова является племенное название *дреговичи*, связанное с *другивитами* в северной Греции); *eša, *ešaja «ячeya» (в др.-русск. и вост.-слав. диалектах в этом и связанных с ним других значениях); *galъ (русск. диал. *гал* «голый, безлесный», укр. и белорусск. диал. *гал* «поляна в лесу»; от *galъ произведено *прогалина*); *gasati (др.-русск. *гасати* «угасать», сюда же, конечно, *угасать* и производные) и т. д.

Примеров древних лексических восточнославянизмов, обособляющих древнерусский (прарусский) язык от словарного состава других славянских языков, в указанных выпусках ЭССЯ очень много. Разумеется, их будет выявлено гораздо больше во всем ЭССЯ. Еще больше праславянских слов, которые с древнерусской эпохи были диалектизмами внутри самой восточнославянской территории. Многие восточнославянские диалектизмы выходили за пределы этой территории и имели причудливые изоглоссы в южных и западных славянских областях. Все это нуждается в подробном исследовании. Но уже и теперь можно сказать, что большинство лексических диалектизмов, имеющих надежную праславянскую (а тем более индоевропейскую) этимологию, восходит ко времени, когда язык восточнославянской (древнерусской) народности еще не сформировался.

Как уже говорилось, слов, свойственных только языку древних восточных славян, в первых семи выпусках ЭССЯ, по моим подсчетам, нашлось 270, или 6,8% словника. Можно полагать, что во всем словаре их будет что-то около 1220. Нужно также учитывать слова, вовсе не засвидетельствованные на восточнославянской территории, так как отсутствие слова тоже является характерным признаком языка, когда этот язык сопоставляется с родственными языками. Таких слов оказалось 887, или 23,5%. Вероятно, во всем словаре их будет около 5322. Следовательно, полных расхождений в лексике древних восточных славян и их южно- и западнославянских родственников было 30% всего реконструируемого праславянского словарного фонда. Не нужно также забывать и о частных диалектных схождениях (следовательно, и расхождениях), которых тоже было свыше 20% указанного фонда. И, наконец, очень многие слова в разных славянских языках и диалектах имели неодинаковые значения, что не могло не затруднять общения между ранними славянскими народностями. Ср., например, *běloga/*bělogъ — в южнославянских языках «белая свинья», «названия разных животных белой масти; вид сорной травы», в западнославянских языках «названия животных и растений белого цвета», а у восточных славян «белуга», в их диалектах также «чайка; подзолстая почва» и другие значения, *bělka — общеславянское слово с разными значениями и только у древних русских *бѣлка* «белка», а также «меневая и позже денежная единица» и т. д. Конечно, не все значения

одних и тех же славянских слов восходят к праславянскому времени, древность многих из них вообще трудно установить (реконструкция значений еще очень далека от надежности [16]), но несомненно, что какая-то часть лексико-семантических расхождений восходит к праславянской и раннеславянской эпохе.

Из всего сказанного следует, что раннеславянские народности имели уже серьезные расхождения между своими языками в лексике и лексической семантике. Отчетливо осознавая общность своего происхождения, они понимали и не понимали друг друга. Их языки по степени расхождения похожи были на современные русский, украинский и белорусский языки (русский, не изучавший украинский и белорусский языки, плохо понимает беглую украинскую или белорусскую речь), а не на современные русские говоры. Одним словом, после распада праславянской общности образовались родственные, но самостоятельные и неповторимые языки, а не диалекты одного языка, вроде современных. Это положение совершенно разрушает традиционные представления о языковой ситуации в славянском этносе после VI—VII вв. н.э. Чтобы с ним не согласиться, надо опровергнуть данные современных этимологических словарей славянских языков. Разумеется, такое опровержение, как говорится, никому не заказано, но оно должно строиться не на голословном отрицании, а на исследовании огромного количества фактов. Что ж, пусть кто-нибудь попробует это сделать.

Лексика и лексическая семантика языка древних восточных славян показывают его оригинальность и самобытность, значительное его отличие от южных и западных славянских языков, причем в гораздо большей степени, чем фонетика и морфология. И тут напрашивается вопрос, как понимало древнерусское население перенесенный из древней Болгарии на Русь старославянский язык, было ли с X в. на Руси двуязычие или старославянский язык был всего лишь своим культурным диалектом, доступным для каждого. Данные ЭССЯ О. Н. Трубачева весьма усиливают доказательность моего ответа на этот вопрос в недавно опубликованной книге [17]. Но к этой проблеме мы вернемся в следующем очерке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Черных П. Я. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. М., 1956.
2. Kiparsky V. Russische historische Grammatik. Bd. III: Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg, 1975.
3. Лер-Славинский Т. Польский язык. М., 1954, с. 64.
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с нем. и дополнения Трубачева О. Н. Т. I—IV. М., 1964—1973.
5. Этимологический словарь русского языка. Автор-составитель Шанский Н. М. Т. I (вып. 4—5); т. II (вып. 6). М., 1963—1975.
6. Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
7. Verneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908—1913.
8. Копечный Фр. О новых этимологических словарях славянских языков.— ВЯ, 1976, № 1.
9. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—7. М., 1974—1980.
10. Козлова Р. М. К проблеме реконструкции праславянской лексики.— Советское славяноведение, 1980, № 6.
11. Филин Ф. П. Очерк истории русского языка до XIV столетия. Л., 1970, с. 77—85.
12. Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (По материалам летописей). Л., 1949, с. 226—284.
13. Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. М.—Л., 1962, с. 275—290.
14. Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972, с. 516—624.
15. Трубачев О. Н. О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи).— В кн.: Славянское языкознание. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963). Доклады советской делегации. М., 1963.
16. Трубачев О. Н. Реконструкция слов и их значений.— ВЯ, 1980, № 3.
17. Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ПЕТУШКОВ В. П.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРЕДЕЛАХ МЕХАНИЗАЦИИ
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

Право, уже нет смысла иронизировать над энтузиастами применения электронно-вычислительной техники в языкознании, которые примерно лет двадцать назад горячо призывали незамедлительно отказаться от составления филологических толковых словарей традиционным «ручным» способом, поручив эту сложную и изнурительную работу исключительно машинам. То была пора романтических увлечений ЭВМ, когда их понуждали писать стихи, сочинять музыку, молниеносно изготавливать изображение Эйнштейна и других великих ученых. Позднее выяснилось, что автоматизация лексикографической работы не в состоянии быть всеобъемлющей, что для составления филологических толковых словарей она не способна подменить человеческий разум, во всяком случае, в пределах обозримого будущего.

Впрочем, явное преимущество традиционного способа составления филологических толковых словарей не означает, что в лексикографии ни в коей мере не применима механизация, в том числе и ЭВМ. Не без помощи последних в Советском Союзе сделан «Обратный словарь русского языка» (М., 1974), а за два года ранее «Тезаурус научно-технических терминов». Упомяну также множество частотных словарей и, в том числе, опыт частотно-стилистического словаря вариантов «Грамматическая правильность русской речи» (М., 1976), хотя не следует слишком преувеличивать роль электронно-вычислительной техники в создании названных словарей: все-таки 99% затраченного времени здесь принадлежит «ручному» труду. Подобные лингво-автоматические эксперименты в принципе и не рассчитываются на непосредственное широкое использование в практических целях.

В последнее время стали возрождаться идеи применения ЭВМ в составлении филологических толковых словарей, однако, в суженном плане — пока только в области подготовительной работы — создания картотеки лексических материалов. О первых практических шагах в этом направлении сообщается в статье В. А. Вертель, Е. В. Вертель, Р. П. Рогожниковой [1].

Справедливости ради надо сказать, что в Словарном секторе Института русского языка АН СССР (именуемом в названной выше статье ЛО ИЯ) размножение лексических материалов для картотеки (точнее, для картотек — так называемой Большой картотеки, картотеки Словаря русских народных говоров и картотеки Словаря русского языка XVIII века) около

20 лет производится частично с помощью «малой механизации»¹. Сперва это делалось распечаткой специально приготовленных микрофильмов на словарные карточки из фотобумаги, позднее стал применяться электрографический способ копирования. Кстати, последним способом теперь полностью делается картотека Словаря языка В. И. Ленина.

Названные способы не устраивают авторов статьи, т. к. возможности «малой механизации» очень ограничены: нельзя попутно получать статистические данные о собираемой лексике, невозможно оперативно контролировать выборку и мгновенно выявлять языковые единицы, не зарегистрированные в словарях и картотеке, и тем более, с помощью словника, сразу же получать полный набор цитат, необходимых для составления той или иной словарной статьи. Наконец, названные способы вынуждают увеличивать емкости для хранения фондов картотеки.

Статья В. А. Вертель, Е. В. Вертель, Р. П. Рогожниковой обещает при помощи ЭВМ ликвидировать отмеченные ограничения, что приведет к значительному ускорению издания филологических толковых словарей, не говоря уже об экономической стороне дела. Выкладки авторов статьи выглядят довольно впечатляюще. Так, если сотрудник Словарной картотеки «ручным» образом делает за рабочий день в среднем 40—60 карточек (для выборки 1000 карточек нужно примерно 20 дней), то ЭВМ в течение часа выдает на печать 2500 карточек [1, с. 105 и с. 109—110]. О качестве их будет сказано ниже.

Применение ЭВМ в академической лексикографии тормозится не столько «психологическим барьером» (а проще говоря, консерватизмом лексикографов), как полагают авторы статьи, сколько другими причинами, в которых предстоит разобраться.

Какой должна быть лексическая картотека, предназначенная для составления филологических толковых словарей? Не станем пока обращать внимания на ее качественную сторону. Стоит лишь указать, что В. А. Вертель, Е. В. Вертель, Р. П. Рогожникова скептически относятся к проблеме выборки «нужных слов», считая, что само это понятие является «относительным и весьма расплывчатым» [1, с. 105].

Сколько необходимо выбрать цитат (видимо, все-таки из рекомендованных, нужных текстов) для того, чтобы впоследствии словарная статья была на их основе составлена добротной и всесторонне обоснованной? Известный в довоенное время ленинградский лексикограф И. А. Фалев в одном из своих высказываний утверждал, что в идеале надо иметь в картотеке на каждое слово, входящее в словник Словаря современного русского литературного языка в 17-ти томах (ССРЛЯ), десятка полтора цитат [3]. Надо думать, что И. А. Фалев имел здесь в виду только однозначные слова. Если взять, например, словарную статью Белый из 1-го тома ССРЛЯ, имеющую пять значений слова, то в ней в качестве иллюстраций к значениям, устойчивым словосочетаниям и фразеологизмам помещено около 100 цитат. Глагол Идти в 5-м томе того же словаря с 26-ю значениями проиллюстрирован 330 цитатами (для разработки же данной словарной статьи было использовано более трех тысяч цитат, имевшихся в начале 50-х гг. в Большой картотеке Словарного сектора ЛО ИЯ).

Следует, однако, принять во внимание, что в большей части томов ССРЛЯ (начиная с 4-го) каждое значение, как правило, иллюстрируется тремя цитатами: одной — текстом первой половины XIX в., другой — вто-

¹т. е. современные средства копирования (за исключением типографских) лексических материалов, их механизированная систематизация, поиско-информационные системы, с применением маргинальных перфокарт и т. п. Под «большой механизацией» подразумевается электронно-вычислительная техника. Примерно такого же подразделения придерживаются специалисты в области документалистики [2].

рой половины XIX в. и начала XX в. и третьей — текстом советского времени. Подразумевается, что каждая из этих цитат репрезентирует какое-то количество однородного лексического материала, достаточно полно свидетельствующего об употребительности регистрируемого значения слова в современном русском литературном языке определенной исторической поры.

Итак, если я верно истолковываю мысль И. А. Фалева, картотека Словарного сектора должна быть (в и д е а л е!) в пять раз больше, чем дано в словаре цитат.

В 17-ти томах ССРЛЯ помещено, по подсчетам К. С. Горбачевича, в общей сложности более 320 тыс. цитат [4]. Значит, теоретически в картотеке Словарного сектора должно иметься 4 млн. 800 тыс. цитат, но именно рассчитанных на 120 480 слов, зарегистрированных в ССРЛЯ. В действительности дело обстоит по-иному. Картотека к моменту окончания составления ССРЛЯ включала в себя около шести млн. карточек, однако распределенных между 440 000 слов.

Справедливо предположить, что значительная часть из 319 520 слов, не зафиксированных в ССРЛЯ, оказалась представленной в картотеке небольшим количеством убедительных цитат (или цитат из текстов XVIII в., диалектных сведений, сохранившихся от картотеки академического Словаря «шахматовской» редакции), что сыграло некоторую роль в решении ввода их в состав словника словаря. Впрочем, как показывает пример с глаголом *идти*, далеко не всегда опубликованный в словаре цитатный материал обеспечен в картотеке достаточным «запасом». Правда, это не отразилось на составлении данной словарной статьи и научной выразительности ее материального состава, что свидетельствует о высокой квалификации ее составителя.

Разумеется, сама по себе среднеарифметическая пропорция [1 : 15], предложенная И. А. Фалевым, еще мало о чем свидетельствует. Слова широкого известные, однозначные и обиходные обычно не требуют для словарника особенно большого количества лексического материала, тогда как, например, специальные слова или терминологические значения слов обязательно должны быть обеспечены необходимым набором лексического материала. Только в таком случае словарник может верно судить о степени употребительности такого слова или того или другого из его значений в общелитературном языке и дать этому слову и всем его значениям, оттенкам правильное толкование и квалификацию. Пропорция 1 : 15, конечно же, не применима во всех случаях филологического словарного дела, но как показывает опыт составителей ССРЛЯ, она и не вызывает принципиальных возражений, хотя не мешало бы ее уточнить статистическими измерениями.

Предположим, что 440 000 слов, представленных в картотеке Словарного сектора (сейчас их гораздо больше, ибо со времени окончания составления ССРЛЯ картотека пополнилась более чем на миллион карточек), были бы равномерно обеспечены таким количеством выборок лексических материалов, как это мыслилось И. А. Фалеву. Нетрудно подсчитать, что общее количество в картотеке тогда возросло бы до более 23 млн., что позволило соответственно расширить словник словаря.

Не следует затрагивать нелегкую проблему — вместит ли такой словарь всю лексику современного русского литературного языка? По данным статистики сейчас насчитывается свыше 12 млн. одних лишь названий предметов и это количество с каждым годом возрастает на десятки тысяч, одних терминов теперь, по мнению Ф. П. Филина, несколько миллионов. Но большинство современных терминов, как и номенклатурных названий, являются или словосочетаниями уже существовавших слов, или

аббревиатурами, или кодовыми наименованиями. Если пренебречь терминами и номенклатурой узкого назначения, то по некоторым набметкам специальные и общелитературные слова образуют словник приблизительно в миллион слов (но не лексических единиц), исходя из чего можно представить теоретически мыслимый объем картотеки.

Конечно, создание такой колоссальной картотеки было бы необычайно трудным делом. Вот почему сразу и возникает соблазнительная мысль формировать ее на основе электронно-вычислительной техники.

Не совсем понятно, для чего хотят В. А. Вертель, Е. А. Вертель, Р. П. Рогожникова «заложить в память» ЭВМ (ее запоминающие устройства — магнитные ленты, диски) существующую в Словарном секторе ЛО ИЯ картотеку или часть ее. Ведь в этой картотеке, существующей и регулярно пополняющейся чуть ли не сто лет, лексический материал надлежаще обработан, и составители словарей им многократно пользовались. Если такую операцию провести только ради уменьшения объема картотеки, то не лучше ли для этой цели использовать возможности голографии. В печати сообщалось, что в каждой голограмме, размером не более 2,5 мм, уместается содержание целой страницы книги форматом с том БСЭ. На десяти небольших дисках с голографической эмульсией можно запечатлеть содержание всей БСЭ 3-го издания. К тому же для голографической операции нет необходимости печатный (или рукописный) текст предварительно кодировать перфорированием, что представляет собой довольно трудоемкую операцию.

Может быть, с помощью «памяти» ЭВМ предполагается совершенствование самой техники составления словарных статей? Тогда стоит попытаться, так сказать, физически представить примерный ход такого составления.

Сначала составитель с помощью указатели «ключевых» слов выясняет, есть ли, например, слово *хата* в картотеке. Из пятых устройств ЭВМ поступает сообщение о наличии этого слова в таком-то суммарном количестве и в таких-то словоформах. Хотя для иллюстрации хода составления словарной статьи взято сравнительно простое слово, все же одних статистических данных о нем недостаточно. Заглянув в словарную статью ССРЛЯ Хата, предполагаемый составитель обнаружит, что ему требуется иметь лексический материал для установления территориального применения этого слова (помимо белорусского и украинского языков, оно употребительно, по свидетельству словаря, в южновеликорусской деревне), а также для определения того, является ли оно общенародным или диалектным и какова его стилистическая окраска. Нужны сведения, позволяющие отличить *хату* от ее синонима *избы*. В. И. Даль с его некоторой склонностью к энциклопедизму, сообщает в словаре, что «вообще у нас изба бывает рубленая, бревенчатая», а *хата* бывает: турлунная или плетневая, камышевая, мазанка, битая, земляная и лимпачная, бревенчатая, из дикого камня». Современные филологические словари не информируют читателя столь широко (лингвострановедческие словари, которые начинают выходить, по всей видимости, будут это делать, особенно, когда объясняемое слово принадлежит к разряду безэквивалентной лексики), хотя некоторые подробности понятия можно выяснить из цитат-иллюстраций. Сейчас намечается тенденция заменять в словарях в целях экономии места цитаты-иллюстрации речениями (см. об этом в упоминавшейся статье К. С. Горбачевича [4]). Но для конструирования таковых составителю также требуется подручный лексический материал высокого литературного качества, т. е. цитаты из авторитетных произведений.

У *хаты*, как и у многих слов, могут быть коннотативные значения. В ССРЛЯ зафиксировано одно из них «Разг. обычно шутл. Чье-нибудь

скромное жилье (в речи его обитателей)». Для подтверждения данного значения (оттенка) в картотеке должен находиться достаточный материал. Известно, что в так называемом «молодежном жаргоне» этим словом именуется всякое отдельное жилье, квартира. Чтобы выявить составителя такого специфического употребления, необходимо наличие в картотечных материалах слова *хата* в подходящих контекстах (например: *Хиллий с кадрухой в хату кореша*). Разумеется, не всякий жаргонизм фиксируется в словаре, однако составитель-лексикограф должен иметь вполне четкое представление о распространенности такого слова в литературном языке (преимущественно, в произведениях художественной литературы) определенного периода в известных социальных кругах.

К слову *хата* отнесен как к опорному (ключевому) слову фразеологизм: *Моя (твоя, его и т. п.) хата с краю* — давно существующие и не вызывающий затруднений в толковании. Однако его вариативность (*моя, твоя, его, ее, наша, . . . , с краю, с боку, в стороне. . .*) нуждается в широком наборе цитат, показывающих разнообразие употребления в живой речи этого фразеологизма или отсутствие такой «игры».

Хата используется в современных номинативных словосочетаниях. В ССРЛЯ подобного типа словосочетания даются самостоятельным значением (*хата-читальня, хата-лаборатория*). Естественно, составитель статьи обязан выявить по материалам картотеки такие словосочетания и определить необходимость их фиксации в филологическом толковом словаре.

Демонстрируемое слово, как отмечалось, не очень сложно по содержанию и структуре. В других, многозначных словах фиксируются теперь не только наиболее распространенные номинативные словосочетания, но различные устойчивые, типичные словосочетания. Так, в том же 17-ом томе ССРЛЯ в словарной статье **Чистый** отмечены под белыми ромбами² устойчивые сочетания: *чистый снег, чистые снега; чистая работа; чистый понедельник, чистый четверг, чистая суббота; чистый вид, чистая наружность; чистое зеркало, стекло и т. п., чистые краски, оттенки, чистый цвет; чистая свежесть, чистый запах; дышать, подышать чистым воздухом; на чистом воздухе (быть, находиться и т. п.); на чистый воздух (выйти, пойти и т. п.); чистая публика; чистая перемена; чистые листья; алмаз, бриллиант чистый, чистейшей воды; чистый вес; чистый лес, чистые насаждения, чистая линия; чистой крови (породы), чистых кровей; чистый голубь; чистое искусство; чистый, чистот чего-нибудь; чисто поле; чистая вода; чистый пар; чистый, чистот кого-, чего-нибудь; кто-нибудь лицом чист, из лица чист; под чистым небом; чистый запад, чистый норд и т. п.; говорить, отвечать и т. п. чистым русским, немецким и т. п. языком, на чистом русском, немецком и т. п. языке; чистый, чист душой, сердцем; чистая душа, чистое сердце; чистые стремления, намерения, мысли и т. п.; чистая совесть; по чистотой совести; от чистого сердца; выходил, вышел чист, чистым; чист перед кем-нибудь; чистый, чистот пороков, подозрений и т. п.; дело чистое (дело не чистое); чистая воля; чистая отставка; уволить, выйти и т. п. в чистую, по чистотой.*

Итак, чтобы выяснить все значения слова, в том числе переносные, коннотативные, специальные, все оттенки значений и употребления в разговорной речи, номинативные и устойчивые словосочетания с компонентом заглавного слова и такие же фразеологизмы, составитель обязан самым

² Этим типографским знаком в данном словаре выделяются типичные (устойчивые) сочетания [1, с. 49].

внимательнейшим образом изучить весь подготовленный для этого в картотеке лексический материал. Авторы статьи [1] предлагают такое изучение производить с помощью дисплея.

«Дисплей,— сообщает терминологический словарь „Автоматизированные системы управления“ (М., 1975),— устройство (ЭВМ.— П. В.), предназначенное для ввода — вывода информации и ее визуального представления на экране». К этому надо добавить, что дисплей есть оконечное (терминальное) устройство и чаще всего расположено на периферии. Не следует представлять, что дисплей — это нечто вроде домашнего телевизора, способного легко обеспечить вызов на экран любой словарной карточки по заданному «ключевому слову». Это необычайно сложный аппарат (вернее, целый агрегат), требующий высококвалифицированного технического обслуживания и специального помещения.

Допустим, что составитель-лексикограф будет располагать всеми возможностями пользования персонального дисплея и тот ему станет по команде показывать «картинки»-цитаты одну за другой с ключевым словом *хата*. Таких цитат, предположим, будет около сотни, и значительную часть их составитель должен скопировать, не полагаясь на свою память, чтобы продолжить работу по формированию словарной статьи. Для этой цели к дисплею придется присовокупить некое устройство, копирующее на стандартные карточки содержание отобранных цитат, чем-то напоминающее телетайп.

Несколько вульгаризируя, можно основной этап составления словарной статьи сравнить с раскладкой пасьянса. Пачку («колоду») карточек с цитатами лексикограф систематизирует по значениям слова (если их несколько), по всем тем разделам, о которых только что говорилось. Эта раскладка-систематизация производится сравнительно легко, когда слово в языке давно существует, значения его относительно стабильны. Да и в таком случае не все просто. Можно ли, к примеру, речения *прифронтовой лес* и *прифронтовые государства на юге Африки* отнести к одному значению?

Отечественная лексикография, особенно в послевоенное время, сделала заметные успехи. Достижения теоретического языкознания находят свое отражение и в практике лексикографов. Например, если раньше фразеологизмам в словарях уделялось сравнительно небольшое внимание, то типичные словосочетания теперь стали фиксироваться и уже издан «Учебный словарь сочетаемости слов русского языка» (М., 1978). Примеров, свидетельствующих, что работа лексикографов усложнилась, сделалась скрупулезней и более емкой, можно привести достаточно.

Остановимся на противоречии между лингвостатистикой и потребностями лексической картотеки. Оказывается, что в частотных словарях многие слова, стоящие по «рангу» где-то в конце словника, в картотеке Словарного сектора ЛО ИЯ представлены значительным количеством цитат. Происходит это по той причине, что выборщики (достаточно квалифицированные) на редкие слова, фразеологизмы и характерные словосочетания обращают самое пристальное внимание именно в силу их исключительности. Ведь надо обосновать — и примерами из произведений авторитетных писателей (или печатных органов, таких, как газета «Правда») и внушительным количеством фактов употребления в речи той или иной «уникальной» языковой единицы — право помещения ее в состав филологического (к тому же академического) толкового словаря. При наличии таких условий, объема лексических материалов составитель может даже пойти на нарушение установленных правил. Так, вопреки параграфу инструкции: «Не включаются в Словарь вульгарно-жаргонные слова, напр.: *набарахлить*, *шамать* и т. п. [5, с. 12], именно слово *шамать* включено

в ССРЛЯ, благо оно зарегистрировано в картотеке примерами из произведений А. Н. Толстого, Б. Горбатова и других советских писателей. Хотя нет никаких сомнений, что в общенародном языке применение этого жаргонизма ничтожно мало, выборщики как бы спонтанно, без какого-либо подсказывания, выписали изрядное число цитат с этим глаголом. Такие, можно сказать, «стихийные» лексические выборки нельзя осуждать, учитывая справочное назначение филологических толковых словарей.

Приходится, конечно, считаться с тем, что выборщики в процессе чтения текста ряд «нужных» слов, как пишут авторы статьи, «из-за кратковременных сбоев внимания» [1, с. 105] пропускается. Чтобы избежать такого брака, полезно было бы тексты, привлекаемые к отбору лексических материалов, подвергать сплошной (или, точнее, полной) выборке³ ручным образом или привлекая ЭВМ. Однако подобная выборка привела бы к заполнению картотеки огромным количеством однотипных материалов. Как хорошо теперь известно из частотных словарей, в первую сотню наиболее употребительных слов в статистически обследуемых текстах попадают преимущественно предлоги, союзы, местоимения, частицы, вспомогательные глаголы: тогда как слова, встречающиеся в них редко (один-два раза), составляют больше 50% всей площади этих текстов⁴.

Авторы статьи [1] отдают себе отчет, что избыточная лексическая информация будет сильно тормозить работу составителей словаря (и, возможно, также приведет к «сбоям внимания» от перегрузки чтения однотипных материалов), и видят выход в указателях, сделанных с помощью ЭВМ. «Количественные характеристики, — пишут они, — которыми снабжается каждое слово словоуказателя, позволяют определить, какое количество частотных слов необходимо брать из текста, чтобы, с одной стороны, не упустить редких случаев, с другой стороны, не заполнить картотеку большим количеством однотипных материалов» [1, с. 106]. Думается, что роль словоуказателей в данном случае сильно преувеличена.

Из практики создания ежегодных бюллетеней неологизмов русского языка [8, 9], когда привлечение словоуказателей Большой картотеки Словарного сектора и картотеки Словаря новых слов и значений (кстати, изготовленных вручную), является неременным условием работы, можно заключить, что эти подручные лексические индикаторы оказывают минимальную помощь, лишь тогда, когда слово как графемная словоформа отсутствует в данных словоуказателях. В других задачах (выяснение нового значения, оттенка слова и т. д.) они бесполезны.

Количественные характеристики слов таких указателей способны сбить с толку, ибо высокий показатель частотности какой-либо леммы вынуждает предположить, что для будущей словарной статьи в картотеке уже собран с избытком материал по всем показателям, чего в действительности может и не быть. Пожалуй, нет нужды доказывать нереальность изготовления в настоящее время указателей словосочетаний, многокомпонентных терминов и т. д.

Немаловажное значение для выборки лексических материалов имеет величина (длина) контекста ключевого слова. Авторы статьи [1] вынуждены признать: «Формальное определение минимально достаточного кон-

³ Сплошной выборкой принято называть такую, когда выписывается подряд каждое слово текста с соответствующим контекстом на отдельные карточки. Полная выборка подразумевает выписку лишь определенных слов (например, только знаменательных, только глаголов), но без исключений.

⁴ Данные заимствованы из статьи Р. П. Рогожниковой [6]. Однако это характерно для языка художественной литературы, в специальной литературе наблюдаются иные соотношения, см., например, [7].

текста представляет собой в настоящее время сложную лингвистическую задачу. Несколько проще дело обстоит со стихотворными формами, где строфа определяет обычно логические границы контекста. В прозе или в драме контекст может ограничиваться одним предложением или заданным числом единиц влево и вправо от ключевого слова» [1, с. 110].

Представление о строфе как об универсальной мере определения логических границ поэтического контекста можно оставить на совести авторов цитируемого утверждения. В прозе же, на наш взгляд, нельзя ограничиться (за исключением крайне редких случаев), пределами одного предложения как достаточного контекста. Состоящие из двух-трех слов речения, приводимые в тексте словаря, в принципе только иллюстрируют толкование слова, а не раскрывают его значение. Если ограничиться при производстве сплошной выборки средствами электронно-вычислительной техники, то полученные «цитаты», в лучшем случае будут пригодны лишь для неких статистических подсчетов.

Высказанные здесь соображения приведены с целью показать, насколько сложна и ответственна задача механизации лексикографических работ в сфере филологических толковых словарей. Разумеется, было бы глубоко неверно говорить, что здесь нельзя достигнуть никакого прогресса. Как у нас, так и за рубежом неустанно ведутся экспериментальные работы с применением ЭВМ (ориентированные преимущественно на машинный перевод сугубо технической литературы), и публикации о них вселяют определенный оптимизм. Вероятно, большие успехи по механизации лексикографических работ будут достигнуты с привлечением голографии и созданием по длинно читающих автоматов, т. е. таких автоматов, которые смогут распознавать и обрабатывать любой книжный шрифт, любой почерк. Возможно, пригодятся эвристические методы, уже применяемые в управленческих задачах автоматизации.

Надо надеяться, что достижения научно-технической революции приблизят к нам это время.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Вертель В. А., Вертель Е. В., Рогожникова Р. П.* К вопросу об автоматизации лексикографических работ (некоторые результаты применения ЭВМ).— ВЯ, 1978, № 2.
2. *Прикладная документалистика.* М., 1968, с. 105.
3. *Лингвистические источники.* Фонды Института русского языка. М., 1967, с. 295.
4. *Горбачевич К. С.* Словарь и цитата (о рационализации иллюстрирования слова и значений во втором издании Семнадцатитомного словаря).— ВЯ, 1978, № 5, с. 14.
5. Инструкция для составления «Словаря современного русского литературного языка». М.— Л., 1958, с. 12.
6. *Рогожникова Р. П.* Источники словарной картотеки и механизация лексикографических работ.— В кн.: Проблемы учебной лексикографии и обучение лексике. М., 1978, с. 158.
7. Словари словосочетаний и частотные словари слов ограниченного военного подъязыка. М., 1971.
8. Новое в русской лексике. Словарные материалы — 77. М., 1980.
9. Новое в русской лексике. Словарные материалы — 78. М., 1981.

ПЮРБЕЕВ Г. Ц.

КАТЕГОРИЯ МОДАЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ
В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

Категория модальности является наименее изученной в монголистике. Пока имеются лишь две статьи, в которых внимание исследователей обращено на область модальных значений. Анализируя различные формы наклонов в бурятском языке, К. М. Черемисов рассмотрел ряд суффиксов и вспомогательных глаголов, модальные значения которых оставались прежде не раскрытыми [1, с. 50—57]. Функционально-семантические и дистрибутивные особенности некоторых модальных частиц и слов достаточно подробно прослежены на материале современного монгольского языка З. В. Шеверниной [2, с. 20—31].

В специальной монголоведной литературе, главным образом в грамматиках, понятие модальности рассматривается в самом общем виде, без попытки разграничения разных аспектов ее проявления и без учета всего многообразия модальных слов, морфем и словосочетаний. Кроме того, средства выражения модальности нередко смешиваются с качественно другими явлениями: вводными словами и конструкциями, утвердительными и усилительно-выделительными частицами, эмоционально-экспрессивными оборотами речи и междометиями [3, с. 62—66; 4, с. 180].

Неоправданно расширяется и объем модальных значений, в результате чего данная категория теряет свою специфику и четкость границ. Так, некоторые исследователи включают в число модальных такие значения, как готовность, попытку совершить действие, прерванность и безрезультатность действия, а также сожаление, пренебрежение и притворство со стороны субъекта действия [5, с. 151—152; 6, с. 16—19; 7, с. 51—52]. Указанные значения характеризуют либо способ протекания действия, либо эмоциональную реакцию говорящего, поэтому они не должны квалифицироваться как модальные.

В грамматических трудах монголистов модальность понимается и как форма реализации целевой установки речи: повествование, побуждение, вопрос, утверждение и отрицание. В соответствии с этим выделяются типы предложений по модальности [7, с. 9—10; 8, с. 16]. Однако деление предложений на повествовательные, побудительные, вопросительные, а также на утвердительные и отрицательные основано на интонационном принципе, коммуникативной целенаправленности высказывания, но не на принципе модальности [9, с. 68]. Утверждение и отрицание тоже не являются модальными отношениями, поскольку они не передают отношения говорящего к содержанию предложения или к отражаемым в нем связям [10, с. 180].

Назначение, сущность и объем категории модальности в общем языкознании трактуются по-разному и во многом противоречиво¹. По мнению большинства лингвистов, разделяющих точку зрения В. В. Виноградова,

¹ Критический обзор современного состояния учения о модальности дается в работах В. З. Панфилова [10, с. 174—200], В. Н. Бондаренко [11, с. 9—47].

синтаксическое существо этой категории заключается в том, что она выражает отношение сообщения, содержащегося в предложении, к действительности. «То, что сообщается, может мыслиться говорящим как реальное, наличное в прошлом или настоящем, как реализующееся в будущем, как желательное, требуемое от кого-нибудь, как недействительное и т. п.» [12, с. 80]. Таким образом, реальность и ирреальность выступают здесь как основные значения объективной модальности.

Ряд лингвистов считает, что модальность выражает отношение говорящего к содержанию предложения, включая его эмоционально-экспрессивную реакцию по поводу сообщаемого [13, с. 163; 14, с. 15].

Довольно распространенным является и узкограмматическое толкование модальности, которое сводится к отождествлению ее с категорией наклонения [15, с. 363].

В понимании лексико-грамматической категории модальности мы придерживаемся той концепции, согласно которой модальность отражает характер объективных связей, наличных в той или иной ситуации с точки зрения возможности, необходимости и реальности, и содержит оценку степени достоверности сообщаемого со стороны субъекта мысли². Соответственно этому различается модальность синтаксического и логико-грамматического уровней членения предложения. Модальность первого типа реализуется через формы наклонения. Будучи непосредственной констатацией факта, синтаксическая модальность выражает значение простой достоверности, например: бурят. *Углөө сэлмэг удэр болохо* [16, с. 18] «Завтра будет ясный день». Если же в состав данного предложения ввести модальное слово или частицу, выражающие предположение, вероятность или заведомую уверенность, то оно будет характеризоваться уже логико-грамматической модальностью со значениями проблематической или категорической достоверности. Ср.: *Углөө сэлмэг удэр болохо янзатай* (= болохо *аабза*) «Завтра, по-видимому, будет ясный день»; *Углөө заабола сэлмэг удэр болохо* «Завтра непременно будет ясный день».

Указывая на оценку говорящим степени достоверности сообщения, логико-грамматическая модальность дифференцирует предложения по значению и форме и образует парадигматический ряд. Так, в калмыцком языке имеем следующие разновидности предложений: 1) *Эцк ирс* «Отец пришел»; 2) *Эцк ирсн болох* «Отец, вероятно, пришел»; 3) *Эцк ирсн боловза* «Отец, может быть, пришел»; 4) *Эцк ирсн кевтэ* (= билтэ, бээдлтэ) «Отец, кажется, пришел»; 5) *Эцк ирсн боллого* «Отец, конечно, пришел». Из приведенных примеров видно, что значения степени достоверности содержания предложений, за исключением простой достоверности, выражаемой формой изъявительного наклонения глагола (первое предложение), передаются аналитическим способом: сочетанием модальных слов с изъявительной формой глагола (все остальные предложения).

Следует отметить, что грамматические показатели модальных значений степени достоверности, перемещаясь в предложении, всегда сопровождают тот член (или группу членов), который выражает логический предикат мысли. Ср. следующие примеры: монг. *Би үдэйдээ буцаж магадгүй* «Я вечером вернусь, возможно»; *Магадгүй би үдэйдээ буца* «Возможно, я вечером вернусь»; *Би магадгүй үдэйдээ буца* «Я, возможно, вечером вернусь»; калм. *Биди йовад чиги бээх* «Мы, может быть, поедем»; *Биди чиги йовад бээх* «Может быть, мы поедем».

Синтаксическая модальность как объективная по своему характеру отражает связи возможные, необходимые и действительные. Значение возможности-невозможности (запрещенности) в монгольских языках выра-

² Эта концепция разработана в трудах В. З. Панфилова [10, 17].

жается одинаково: посредством глаголов с модальным значением возможности-невозможности *чадах*, *ядах*, вспомогательного глагола *болох* в составе сложных конструкций: калм. *Эн марга иүүж чадхв* (разг.) «Это пари я смогу выиграть»; бурят. *Дэлгэрэй эсгээ унтаж ядаба* [7, с. 48] «Отец Дылгыра не мог заснуть»; монг. *Энд тамхи татаж болохгүй* (разг.) «Здесь курить нельзя». Модальное значение возможности-невозможности совершения действия передается и такими словами, как *аргатай*, *аргагүй*, например: бурят. *Би мүнөө ерэхэ аргагүйб* [7, с. 53] «Я не имею возможности (= не могу) сегодня прийти»; *Эн дегтр чамд өгх арһ угав* (разг.) «Я не имею возможности дать тебе эту книгу».

Объективная модальность необходимости совершения-несовершения действия выражается в монгольских языках также аналитически: чаще всего сочетанием причастия будущего времени и модальных слов *хэрэгтэй*, *естой*, *учиртай* со значением долженствования, а также вспомогательного глагола *болох*. Примеры: *Батсүх явах учиртай* [18, с. 472] «Батсүх должен ехать»; *Бидэ суглаан дээрэ уулзаха еһотой* [16, с. 246] «Мы должны встретиться на собрании»; калм. *Тадн йовх болжанат* (разг.) «Вам предстоит (вы должны) ехать»; монг. *Би чамтай явах болсон* [18, с. 75] «Я должен ехать с тобой».

В калмыцком языке модальное значение долженствования выражается также сочетанием причастия будущего времени и слова *зэвтэ*: *Баһчүд сурх зэвтэ* (разг.) «Молодежь должна учиться». Значение необходимости с оттенком непременно осуществления действия выражается и простыми формами глагола, но с введением в состав предложения модальных слов *заавал*, *зайлшгүй*, *эрхгүй*, *явч* — в монгольском; *заабол*, *зайлашгүй*, *заатагуй*, *яажам* (-ье) — в бурятском; *эркэн уга*, *эркбиш* — в калмыцком. Приведем несколько примеров: калм. *Көдлмишэн эркэн уга күцэхедн* (разг.) «Работу свою непременно выполним»; монг. *Заавал ирэх хэрэгтэй* [18, с. 185] «Следует обязательно прийти»; *Танай номье яажам (-ье) уншахабди* (разг.) «Вашу книгу во что бы то ни стало прочитаем». Модальность необходимости с оттенком определенной целесообразности и желательности совершения действия в монгольском языке передается сочетанием условного деепричастия и слова *зохино*: *Эн дутагдлыг арилгавал зохино* [18, с. 200] «Этот недостаток надлежит устранить».

В монгольских языках значения необходимости и возможности могут передаваться и синтетическим способом. Для этой цели используются глагольная форма на *-лһта* в калмыцком, форма на *-лтай*, *-лтэй* в бурятском и *-ууштай*, *-ууштэй* в монгольском. Ср.: *одлһта* «надо будет пойти», *ошолтой* «стоит (следует) пойти»; *нэрлууштэй* «необходимо (следует) назвать», *харгалзууштай* «следует обратить внимание». Нужно отметить, что грамматическое значение и контекст употребления этих глагольных форм еще не получили освещения в монголоведных исследованиях. Модальность возможности в монгольских языках выражается также специальными причастными формами на *-маар*, *-хаар* в бурятском, *-маар*, *-м* в монгольском и калмыцком; например: калм. *Гегэнднь үүл бэрм*, *герлнднь аду минм* [8, с. 99] «В сиянии ее можно рукодельничать, в лучах ее можно пасти табун»; бурят. *Һонин гэшиэнь гайхахаар* [7, с. 39] «Настолько интересно, что можно лишь удивляться».

Разновидностью модальности, отражающей объективные связи, является модальность действительности. Выражается она формами изъявительного наклонения и показателями ее выступают такие синонимические слова и словосочетания, как *нээрээ*, *үнэхээр*, *үнээр*, *үнэн хэрэг дээр*, *чухам*, *чухамдаа* — в монгольском; *үүнэндөө*, *үнэхөөр*, *бодот дээрэ*, *бодото хэрэг дээрэ* — в бурятском; *үнэр*, *үнидэн* — в калмыцком. Ср.: монг. *Гомбо чухамдаа их ухаантай хүн юм* [3, с. 63] «Гомбо на самом деле очень

умный человек»; бурят. *Тэрши үнэжөөрөө айгаа* [16, с. 513] «Он действительно испугался»; *Урданд түрүлж ирсн мөрн үндэн сэн* (разг.) «Люшадь, которая пришла первой, действительно, хорошая».

В роли показателей модальности действительности в калмыцком и бурятском языках, кроме названных выше, употребляются словосочетания *наадн уга, наада энэдэшьегүй* со значением «всерьез, в самом деле»: калм. *Наадн уга, тернь мел тааван дүртэ* [19, с. 61] «В самом деле, он (репродуктор.— П. Г.) был точно похож на сквородку»; бурят. *Наада энэдэшьегүй, Найдан хубуун тэндээ хосоржо болохо байгаа* [7, с. 48] «Конечно, мальчик Найдан мог там погибнуть».

По оценке говорящего содержание высказывания может получить разную степень достоверности. Значения, указывающие на степень достоверности сообщения с точки зрения говорящего, определяются как субъективно-модальные. Выражая свое личное отношение к сообщаемому, говорящий вкладывает в его содержание чувства сомнения, предположения, уверенности, категоричности и т. д.

В монгольских языках выделяются три степени достоверности сообщения: простая, проблематическая и категорическая. Ср., например, следующие предложения из калмыцкого языка: 1) *Та йовнт?* «Вы пойдете?»; 2) *Та йовх болзат?* «Может быть, вы пойдете?»; 3) *Та йовх болзговт?* «Вы пойдете, конечно?». По своей целевой установке эти предложения однотипны, они — вопросительные, но по модальности — различные. Первое из них отличается модальностью простой достоверности, второе — проблематической достоверностью, а третье — характеризуется модальностью категоричности. Выступая в повествовательной форме, приведенные выше предложения дифференцируются также на три указанные разновидности модальности. Ср.: 1) *Та йовхт* «Вы пойдете»; 2) *Та йовх биз* (*Та йовх чиги биз*) «Вы, может быть, пойдете (Возможно, вы пойдете)»; 3) *Та йовх болго* (*Та йовго*) «Конечно (же), вы пойдете».

Если модальность простой достоверности нейтральна и однородна, то проблематическая и категорическая модальности заключают в себе целый ряд смысловых оттенков и нюансов, точно определить которые порой очень трудно. Так, в пределах проблематической достоверности выражаются различные оттенки сомнения, неуверенности, допустимости и т. п. Передаются они разнообразными средствами и в первую очередь модальными словами на *-тай, -тэй*, например: *хэбэртэй, янзатай, назаатай, эһотой, бололтой, гэжээлтэй* — в бурятском; *кевтэ, бээдэлтэ, боллта, билтэ, дүртэ, янзта* — в калмыцком. Эти слова обычно выступают в сочетании с причастиями, но некоторые из них могут употребляться и с финитными формами глагола: *хүйтэн үбэл болохо назаатай* [16, с. 334] «Пожалуй (похоже), будет холодная зима»; *Зон тарба янзатай* [7, с. 53] «Народ, вроде бы, разошелся»; *Дорж ааих кевтэ* «Кажется, Доржи идет». К типичным модальным словам со значением проблематической достоверности относятся слова *магад* и *магадгүй*: монг. *Чи бид хоерыг ч явуулж магадгүй* [18, с. 232] «Возможно, пошлют и нас с тобой»; калм. *Мянһдур колхоз орх маһд* [20, с. 338] «Возможно, завтра я поеду в колхоз». В бурятском и монгольском языках проблематическая модальность может передаваться сочетанием слова *йдажгүй* и причастия будущего времени: *Маргааш би явах йдажгүй* [18, с. 690] «Быть может, я поеду завтра»; *Тэдэи ерээшэи йдажгүй* [16, с. 754] «Возможно, они и придут».

В калмыцком языке проблематическая модальность со значением недостаточной уверенности и предположения выражается также следующим аналитическими сочетаниями: вспомогательным глаголом *бол-* в форме причастия будущего времени с причастием основного глагола (например, *ирсн бол* «наверное, пришел», *ирдг бол* «наверное, приходит»), вспомога-

тельным глаголом *алдх* в форме на *-лта* с причастием или деепричастием основного глагола: *Гертнь гиич ирэн алдлта* «К ним, кажется, приехал гость»; ср.: *Гертнь гиич ирж алдлта* «то же».

Проблематическая модальность в монгольских языках передается и с помощью частиц: *аабы, аабза, аал, аалта, бэээ, ха, хая* — в бурятском; *биз, хай, шиг* — в монгольском; *биз, хэ, хэ йир, хэ биз* — в калмыцком. Примеры: *Айлшан ерэхэшье аал* [16, с. 49] «Гость, может быть, и придет»; *Бат сайн хүн шиг байна* [18, с. 649] «Бат, кажется, хороший человек»; *Хэ йир, күүд школасн ирэд уга болх* [20, с. 585] «Вряд ли вернулись дети из школы».

Модальность категорической достоверности содержания сообщаемого передает оттенки полной и абсолютной уверенности говорящего. Наиболее распространенными показателями ее являются модальные слова *лав, лавтай* в монгольском; *лав, лавта* в калмыцком и *лаб, лабтай* в бурятском. Примеры: монг. *Би лав мэндэ* «Я точно знаю»; калм. *Хуц лавта сэн* [19, с. 37] «Валух, действительно, хорош»; бурят. *Тэрэи лабтай эндэ байха* [16, с. 302] «Он, несомненно, будет здесь».

Значение безусловной уверенности в сообщаемом факте передается в бурятском языке сочетанием вспомогательного глагола *бай-* в форме причастия будущего времени с усилительной частицей *-л*: *Онгосо дээрэ Дашада хүдэлмэри олдхол байха* [7, с. 51] «На лодке непременно найдется работа для Даши».

Особенность бурятского и монгольского языков в передаче категорической достоверности состоит в том, что в них значение заведомой уверенности в совершении или несовершении того или иного действия выражается конструкцией из вспомогательных глаголов *алдах* и *хатах* в форме повелительного наклоения и причастия будущего времени с частицей безличного притяжания: бурят. *ойлгохоё алдаг* «конечно же, не поймет», монг. *дуулхаа хат* «разумеется, не спеть», *хийхээ алд* «конечно, не сделать». Подобные выражения имеют налет экспрессии, иронии. В калмыцком языке категорическая модальность с оттенком бесспорного утверждения и абсолютно полной уверенности выражается обычно вспомогательным глаголом *бол-* в форме на *-лго* и *-нус, -нүс*: *Эн кенэ машинб?* — *Эзнэни болнус* [19, с. 49] «Это чья машина?» — Разумеется, хозяйина». Ср.: *Эн кенэ машинб?* — *Эзнэни боллго* «то же».

Необходимо отметить, что в предложениях монгольских языков нередко имеют место случаи совмещения двух показателей модальных значений, например: бурят. *Магад таниха ааламди* [16, с. 17] «Пожалуй, что и узнаем»; калм. *Советин йоснас биш тайгасн беркл хахуц бэсн болтав* [19, с. 43] «Если бы не советская власть, вряд ли я расстался бы с посохом». В первом из этих предложений модальное слово *магад* и модальная частица *ааламди* реализуют значение проблематической достоверности. Во втором предложении модальные слова *беркл* и *болта* выражают сомнение.

Итак, рассмотренные типы и виды модальных значений в монгольских языках в известной мере отличаются способами и средствами своего выражения. Однако будучи разнообразными по семантике и формам реализации, они являются более или менее общими для калмыцкого, бурятского и монгольского языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Черемисов К. М. К вопросу о модальности в бурятском языке. — В кн.: К изучению бурятского языка. Улан-Удэ, 1969.
2. Шевригина З. В. Функционально-семантическое значение модальных частиц в монгольском языке. — В кн.: Вопросы грамматической системы монгольских языков. Элиста, 1980.

3. *Бертагаев Т. А.* Синтаксис современного монгольского языка в сравнительном освещении. Простое предложение. М., 1964.
4. *Очиров У. У.* Грамматика калмыцкого языка. Синтаксис. Элиста, 1964.
5. *Цыдыпов Ц. Ц.* Аналитические конструкции в бурятском языке. Улан-Удэ, 1972.
6. *Оиджанова М. Д.* Аналитические глагольные формы в современном калмыцком языке: Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1969.
7. *Бертагаев Т. А., Цыдендамбаев Ц. Б.* Грамматика бурятского языка. Синтаксис. М., 1962.
8. *Пюрбеев Г. Ц.* Грамматика калмыцкого языка. Синтаксис простого предложения. Элиста, 1977.
9. *Золотова Г. А.* О модальности предложения в русском языке.— ФН, 1962, № 4.
10. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971.
11. *Бондаренко В. Н.* Виды модальных значений и их выражение в языке: Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1977.
12. *Грамматика русского языка.* Т. II. Ч. 1. М., 1954.
13. *Адмони В. Г.* Введение в синтаксис современного немецкого языка. М., 1958.
14. *Шведова Н. Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
15. *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958.
16. *Бурят-монгольско-русский словарь.* Сост. Черемисов К. М. М., 1951.
17. *Панфилов В. З.* Грамматика и логика. М.— Л., 1963.
18. *Монгольско-русский словарь.* Под ред. Лувсандэндэва А. М., 1957.
19. *Доржий Басцг.* Мини отк. Элст, 1968.
20. *Калмыцко-русский словарь.* Под ред. Мушинева Б. Д. М., 1977.

ВЕРНЕР Г. К., ЖИВОВА Г. Т.

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ КЛАССНОЙ СИСТЕМЫ
В ЕНИСЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Первое косвенное указание на наличие в грамматике енисейских языков оппозиций «одушевленный»: «неодушевленный» и «мужской»: «женский» находим в известном труде М. А. Кастрена [16], в котором приводятся иллюстративные материалы из коттского, кетского и югского¹. На это обратил внимание А. Шифнер в предисловии к данной работе М. А. Кастрена, впервые применивший здесь термин «род» [16, с. IX, XV]. Использованный затем в трудах К. Доннера [9], Н. К. Каргера [15] и других ученых, этот термин стал в отношении енисейских языков традиционным, так как исследователи исходили из известной аналогии между индоевропейским грамматическим родом и соответствующим явлением в енисейских языках². Однако в конце 50-х гг. О. Г. Тайер указал на сходство между данным явлением в енисейских и классными системами в восточно-кавказских языках; им привлекались также и факты баскского языка [25]. Независимо от О. Г. Тайера на соответствующие кетско-кавказские типологические параллели обратил внимание Е. А. Крейнович, предложивший в своей первой публикации по кетскому языку отказаться от термина «род» в пользу термина «класс» [18, с. 106]. Тогда же развернулась оживленная дискуссия по вопросу о природе классной системы в кетском языке, в ходе которой выявились некоторые различия во взглядах [10, с. 9—10]³, но, как было позднее отмечено, не принципиального характера [26], так как вся полемика носила в общем терминологический характер («род» или «класс») без убедительных обоснований. Между тем использование термина «класс» может быть обосновано общеструктурными особенностями енисейских языков. Как показал М. Л. Палмайтис, род — это морфосинтаксическая грамматическая категория, которая находит свое выражение в различных деklinационных моделях [24, с. 86—98]. Он маркируется прежде всего в системе склонения, тогда как классы маркируются посредством согласовательного механизма в целом, причем в случае енисейских языков — преимущественно и наиболее последовательно в системе глагольного спряжения. Можно поэтому согласиться с определением рода как деklinационной категории, которая, в отличие от класса, характеризуется также универсалией род ∞ аккузатив [24, с. 98—102], опять-таки отсутствующей в енисейских языках.

Вслед за другими исследователями [22] мы полагаем, что при анализе языков классного построения необходимо различать, с одной стороны, соответствующую дифференциацию лексики (именные классы), а с другой — их грамматическое выражение либо в структуре самих существительных,

¹ Т. е. языка сымских кетов (югов).

² Подробнее об этой аналогии см. [4].

³ Следует, кстати, отметить, что, используя в некоторых своих работах традиционный термин «род», А. П. Дульзон склонялся к термину «класс» и использовал его в своих работах, так как в исторической перспективе рассматривал енисейские языки как языки классного построения [11].

либо в структуре слов, согласующихся с существительными (грамматические классы).

Особенностью енисейских лексических классов, как и в восточнокавказских языках [27], является тот факт, что в структуре самих существительных в основном падеже нет формальных показателей того или иного класса (скрытая категория). Правда, иногда приводятся лексические пары типа *оп* «отец» — *ам* «мать», *фып* «сын» — *фун* «дочь», *хеп* «муж, дед» — *хем* «жена, женщина», *бат* «старик» — *ба:м* «старуха», но они едва ли доказательны: во-первых, они единичны в енисейских языках, а во-вторых, их можно, кроме первых двух, в историческом плане легко возвести к сложным образованиям, у которых в качестве вторых компонентов выступали слова типа *оп* «отец», *ам* «мать», *хеп* «муж, дед», *хем* «жена, женщина» и др. [6].

В енисейских, как и во многих других языках классного построения, семантические основания именной классификации не вполне ясны. Хотя в общем в этой классификации и прощупываются различия по полу и одушевленности, но сплошь и рядом встречаются случаи ее немотивированности. Можно, очевидно, согласиться с мыслью, высказанной в свое время В. В. Виноградовым в отношении рода в русском языке, а именно, что эти явления уже во многих отношениях представляют собой «палеонтологические отложения отживших языковых идеологий» [7, с. 57]. Автор пишет: «У подавляющего большинства имен существительных, у тех, которые не обозначают лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, бессодержательной. Она кажется пережитком давних эпох, остатком иного языкового строя, когда в делении имен на грамматические классы отражалась свойственная той стадии мышления классификация вещей, лиц и явлений действительности. Теперь же форма рода у большей части существительных относится к области языковой техники» [7, с. 56]. В этих немногих строках предельно ясно сформулирована проблема семантических оснований именных классификаций в различных языках. Совершенно очевидно, что выведение этих оснований из одних лишь представлений древнего человека об окружающем мире также однобоко, как и их выведение из чисто языковой техники, в частности, из механизма согласования, развития по аналогии, выравнивания и т. д. Именная классификация остается мотивированной лишь там, где в ее основе лежат реальные различия (например, денотативная соотнесенность мужского класса с существами мужского пола, женского класса с существами женского пола, вещного класса с объектами неживой природы и т. д.). Таких слов в енисейских языках сравнительно немного, например, югск. *оп* «отец», *ам* «мать», *ык* «самец», *фангы* «самка», *фып* «сын» *фун* «дочь», *чет* «муж (молодой)», *хеп* «муж (пожилой)», *хем* «жена, женщина», *фи:к* «мужчина», *хачит* «старик», *ха:м* «старуха» и некот. др. Во всех других случаях, за отсутствием собственно деривационных формальных средств у имени, различия по полу выражаются согласованием, например, югск. *хайдан* «к лосю-самцу», *хайдиң* «к лосю-самке» и т. д.⁴ В современных енисейских языках — кетском и югском — этот способ употребляется не только для выражения различий по полу, но и при дифференциации живого и неживого: кет. *ҕэҕ и:с'* «одна рыба (живая)», *ҕус' и:с'* «одна рыба (сушеная, соленая и т. д.)»; югск. *аҕнаң* «к деревьям», *аҕдиң* «к палкам, чуркам и т. д.».

Однако из этого едва ли следует вывод о наличии в каждом из приведенных случаев соответственно двух омонимичных рядов существительных, так как подобная дифференциация имеет место лишь тогда, когда речь идет

⁴ Сходные примеры наблюдаются иногда и в русском языке: *врач (мужчина) пришел, врач (женщина) пришла*. Об использовании данного приема для выражения пола в различных языках см. [23].

о конкретной особи (объекте); если же слово выступает как обозначение вида в целом, то оно всегда характеризуется одними и теми же классными показателями [10, с. 64—65] и его принадлежность к тому или иному классу, как правило, ничем не мотивирована.

Интересны в этом отношении наблюдения Е. А. Крейновича, установившего, что отнесение слов к тому или иному классу зависит нередко от величины, активности, социальной и хозяйственно-бытовой значимости соответствующих существ (объектов) [20, с. 183—186]. Подобные факты могли бы свидетельствовать о том, что лексико-грамматическая категория класса являлась отражением былой картины мира⁵, когда действия индивида соизмерялись поляризацией объектов и явлений окружающей действительности на различных иерархических уровнях — сверхъестественном (добрые и недобрые духи и божества), космическом (космические объекты, одухотворявшиеся древним человеком и подразделявшиеся на благоприятствующих и неблагоприятствующих), медиумическом (добрые и недобрые шаманы-волшебники), на уровне человеческого коллектива (своей — чужой, добрый — недобрый, почитаемый — непочитаемый, большой — малый, участвующий — неучаствующий и т. д.), на уровне животного мира (большой — малый, опасный — безопасный, полезный — неполезный (вредный) и т. д.), на уровне растительного мира (большой — малый, полезный — вредный и т. д.) и, наконец, на уровне неживой природы, нейтральной в отношении поляризации ее объектов (мы отвлекаемся при этом от случаев одухотворения или персонификации объектов неживой природы). Внешне эта дифференциация именной лексики на данном этапе развития языка ничем не выражалась, но дейктические (указательно-классифицирующие) слова-частицы, число которых было значительным [12, с. 17—19], различались в зависимости от класса имени, на которое они указывали, и это нашло позднее отображение и в структуре других частей речи, сочетавшихся с именем. К этим дейктическим (местоименным) элементам и восходят показатели, являющиеся исторически классными экспонентами в енисейских языках. С развитием системы согласования первичные семантические основания классной дифференциации постепенно утрачивали свое значение, и это, в свою очередь, приводило к смешению былых классов. До сих пор в кетском и югском языках сохранились черты, указывающие на наличие в древности более дробной классной дифференциации, чем в засвидетельствованных енисейских языках. На последующем этапе развития языка эти древние классы объединяются в две большие группы по признаку «активный (одушевленный)»: «инактивный (неодушевленный)», что явилось признаком перестройки языкового типа из классного в язык активной типологии⁶. Ниже рассмотрим некоторые явления в енисейских языках, которые свидетельствуют о былой классной дифференциации.

1. Сравнивая примеры типа югск. а) *хэйдан* «к медведю» — *хэйдин* «к медведице», б) *эжк и:с* «одна рыба (живая)» — *хус и:с* «одна рыба (сушеная, соленая и т. д.)» (при форме *и:здин* «к рыбе» в обоих случаях), в) *эжк оксы* «одно дерево (живое)» — *хус оксы* «одна палка, дровина и т. д.» [при формах *оксыдан* «к дереву (живому)», *оксыдин* «к палке, дровине и т. д.»], г) *агнаң* «к деревьям (живым)» — *ахдин* «к палкам, дровам и т. д.», нетрудно заметить, что еще до недавнего времени в языке различалось четыре класса — мужской, женский, вещный и невещный (последний выступал в случаях нейтрализации противопоставления мужской : женский). Указанные различия сохранились и в структуре глагольных форм (см. ниже).

⁵ О кетской модели мира см. [13].

⁶ О сути проблемы см. [17].

II. В современном кетском и югском наблюдается явление, когда в один и тот же класс включаются не однородные, а совершенно различные объекты. Так, в мужской класс включены: наименования мужчин, наименования некоторых животных, птиц, рыб, насекомых и пресмыкающихся, наименования явлений природы, божеств, духов, предметов религиозного культа, наименования пород деревьев, растений и ряда предметов материальной культуры; в женский класс включены: наименования женщин по различным признакам, наименования некоторых животных, птиц, рыб, пресмыкающихся, насекомых и земноводных, наименования объектов растительного мира, наименования географических объектов и некоторых предметов материальной культуры, наименования частей тела и некоторых кожных заболеваний [20, с. 187—192]. Такой разницей в именной классификации также может свидетельствовать о том, что в нынешних именных классах — мужском, женском и вещном — совпали исторически самые различные классы, характеризовавшиеся другим набором дифференцирующих признаков.

III. Особенно важные свидетельства былой более дробной классной дифференциации в енисейских языках сохранились, однако, в структуре глагола. Это прежде всего наличие семи рядов субъектно-объектных показателей, многих типов глагольного спряжения и множества детерминативов, роль которых до сих пор остается неясной и которые, по мысли Е. А. Крейновича, возможно, выражали в глаголе какое-то указательное значение [19, с. 29]. Так, семь рядов субъектно-объектных показателей могут, на наш взгляд, отражать лишь былые классные различия. В первом и третьем рядах показателей *Б* (см. табл. 1) наблюдается частичная или полная нейтрализация оппозиции «женский»: «вещный»; можно предполагать, что исторически вещный класс вообще не отражался показателями *Б* и соответствующие действия могли соотноситься только с одушевленными актантами. Таким образом, в этих трех рядах показателей фактически отражались лишь такие классы, как мужской, женский — в ед. числе, и невещный — во мн. числе. Но нетрудно заметить, что этому классному делению предшествовало другое с выделением в трех рядах показателей *Б* следующих семи классов: классы «и», «у» (возможно, с более широким охватом имен по сравнению с традиционно выделяемым женским классом); классы «а», «о», в которых позднее совпал традиционно выделяемый мужской класс; класс «бу» (с нейтрализацией оппозиций «мужской»: «женский»: «невещный мн.»); классы «ац», «оц», в которых позднее совпал невещный (во мн. числе).

Таблица 1

Показатели *Б*

Число	Лицо	Кетский и югский языки			Котский язык
		I ряд	II ряд	III ряд	
Ед.	1-е	<i>ба/бо</i>	<i>ба/бо</i>	<i>бо</i>	<i>ау</i>
	2-е	<i>ку</i>	<i>ку</i>	<i>ку</i>	<i>у</i>
	3-е: муж. кл.	<i>а</i>	<i>бу</i>	<i>о</i>	<i>а</i>
	жен. кл.	<i>и</i>	<i>бу</i>	<i>у</i>	* <i>и</i>
	вещ. кл.	<i>и/∅</i>	<i>∅</i>	<i>у</i>	* <i>∅</i>
Мн.	1-е	<i>дау/далу</i>	<i>дау/далу</i>	<i>дау/далу</i>	<i>оу</i>
	2-е	<i>кау/клу</i>	<i>кау/клу</i>	<i>кау/клу</i>	<i>оу</i>
	3-е: вещ. кл.	<i>и/∅</i>	<i>∅</i>	<i>у</i>	* <i>∅</i>
	невещ. кл.	<i>ац</i>	<i>бу</i>	<i>оу</i>	<i>ау</i>

Показатели *Д*

Таблица 2

Язык	Число	Лицо	Префиксы		Инфиксы		Суффиксы
			I ряд	II ряд	I ряд	II ряд	
Кетский и югский	Ед.	1-е	ди/θ/т	ди	ди/θ/т	ди/θ/т	—
		2-е	к/э/зи	ку	ку/эу/к	ку/эу/к	—
		3-е: муж. кл. жен. кл. вещ. кл.	ди/θ/т да б/θ/да	ду д би/θ	а, о и б/м	θ θ б/м	— — —
	Мн.	1-е	ди/θ/т	ди	даң	даң	—
		2-е	к/э/зи	ку	каң/эаң	каң/эаң	—
		3-е: вещ. кл. невещ. кл.	б/θ/да ди/θ/т	бу/θ ду	б/м аң/оң	б/м аң/оң	— —
Котский	Ед.	1-е	θ'а (?)		аң		аң
		2-е	θ (?)		у		у
		3-е: муж. кл. жен. кл. вещ. кл.	θ'а * θ'и * б		а * и * б/м		θ θ θ
	Мн.	1-е	оң		оң		тоң
		2-е	оң		оң		оң
		3-е: вещ. кл. невещ. кл.	* б аң		* б/м аң		θ θ

Ряды показателей группы *Д* (см. табл. 2) представляют собой более пеструю картину. В целом в них находят выражение оппозиция «мужской» : «женский» : «вещный» — в ед. числе и «вещный» : «невещный» — во мн. числе, но при этом в двух рядах префиксов наблюдается нейтрализация оппозиции «мужской» (в ед. числе) : «невещный» (во мн. числе), а в первом ряду, кроме того, еще и частичная нейтрализация оппозиции «женский» : «вещный» (в ед. числе). Что касается инфиксов *Д*, то в первом ряду нейтрализовано противопоставление архаических классов «а», «о» и «аң», «оң», представленных в рядах показателей *Б*; во втором ряду нейтрализовано противопоставление архаических классов «аң» и «оң», а также оппозиция «мужской» : «женский», так как два последних класса имеют нулевой показатель в этом ряду (в ед. числе). Как уже отмечалось в литературе, первый и второй ряды префиксов *Д* восходят к единому источнику с предикативными суффиксами, образующими от имен формы глагольного характера [5, с. 38]. В целом показатели *Д* отражают те же классы, что и показатели *Б*, но в отличие от последних показатели *Д* четко выражают вещный класс, который фактически оказывается «потерянным» в рядах показателей *Б*.

В засвидетельствованных енисейских языках в большинстве случаев формы мн. числа имени маркируются аффиксами, не являющимися классными показателями (аффиксы *-н*, *-н*). Но в историческом плане они обнаруживают связь с классной дифференциацией именной лексики.

Замечено, что аффикс *-н* оформляет, как правило, формы мн. числа одушевленных существительных, если выбор аффикса мн. числа не обусловлен фонетическими условиями [26, с. 238—239], и, таким образом, *-н* до сих пор несет известную информацию о принадлежности существительного к определенному именному классу. Эта особенность показателя *-н* подтверждается и тем, что в ряде падежных показателей кетского и югского языков выражена оппозиция «немножественный» : «множественный одуше-

Таблица 3

Некоторые кетские падежные показатели

Падеж	Ед. число		Мн. число	
	муж.	вещ. и жен.	одуш.	неодуш.
Основной	—	—	—	—
Родительный	да	ди	на	ди
Дательный	даң	диң	наң	диң
Местно-личный	даңт	диңт	наңт	диңт
Исходный	даңлл'	диңлл'	наңлл'	диңлл'
Предназначительный	дат	дит	нат	дит

Таблица 4

Некоторые коттские падежные аффиксы

Падеж	Ед. число		Мн. число	
	муж.	жен. и вещ.	одуш.	неодуш.
Основной	—	—	—	—
Родительный	а :	и	ң	и
Дательный	а : ?а	ига	ңа	ига
Местный	а : һа : т	иһа : т	ңһа : т	иһа : т
Исходный	а : чаң	ичаң	ичаң *	ичаң

* Здесь имеет место ассимиляция $ң > н$ в позиции перед ч.

вленный» соответственно показателями $д:n$, которая, очевидно, восходит к более древней оппозиции «одушевленный немножественный»: «одушевленный множественный» (см. табл. 3), так как есть основания думать, что склонение было поначалу характерно лишь для одушевленных имен [5, с. 40—41].

Аналогичное явление наблюдается в притяжательных префиксах, почти полностью совпадающих в кетском и югском с показателями род. падежа (например, *на-он* «их отец» — *дэң-на дла* «жизнь людей», *д-ам* «ее мать» — *дыл'-ди ам* «мать ребенка», *да-фын* «его сын» — *хачид-да фын* «старика сын» и т. д.), а также в формах указательных местоимений *ки:т* (< *ки:ду*) «этот», *кида* «эта», *кине* ∞ *кина* «эти»; *ту:т* (< *ту:ду*) «этот (подалее)», *туда* «эта», *туне* ∞ *туна* «эти»; кет. *қан:т*, югск. *ка:т* (< *қа:ду*, *ка:ду*) «тот», кет. *қада*, югск. *қада* «та», кет. *қане* ∞ *қана*, югск. *кана* «те» (формы вещного класса во всех этих случаях в ед. и мн. числе совпадают с формами женского класса).

Тот факт, что показатели $д, н$ были прежде связаны с различиями по классу, подтверждается коттскими падежными аффиксами, в которых $д, н$ вообще отсутствуют (ср. табл. 4).

Отсутствие $д, н$ в коттских падежных аффиксах свидетельствует о том, что исторически эти два показателя не имели отношения к собственно падежным показателям и могли выражать различия иного порядка (по числу и классу), причем только в кетском и югском. Это различие между коттским, с одной стороны, и кетско-югским — с другой, перекликается и с иным расхождением между данными языками: при сравнении глагольных показателей группы *Б* первого ряда с падежными показателями (в частности, с показателями род. падежа) мы обнаруживаем их полное

совпадение в коттском, тогда как для кетского и югского фиксируется лишь их совпадение в ед. числе, а во мн. числе в этих языках в падежных аффиксах встречаем противопоставление $\delta : n$. Можно предполагать, что процесс перераспределения имен по классам начался уже в эпоху обособленного развития указанных енисейских языков, чем и объясняются различия в технике выражения числа и класса.

Таким образом, хорошо или лишь частично сохранившиеся материальные средства для выражения классов в енисейских языках позволяют предполагать наличие в древности не трех классов (мужской, женский, вещный), как в современных языках, а значительно большее число классов. Интересно, что техника их выражения отличалась в зависимости от того, находился ли соответствующий объект в определенном состоянии или характеризовался активной деятельностью (различие между глагольными показателями групп *Б* и *Д* [5, с. 39—42]).

Вопрос о происхождении енисейских классных показателей сложен. Анализ енисейских языковых фактов показывает, что появление классных показателей в языке неразрывно связано с появлением местоимений. Местоимения должны были постепенно вычлениться из массы слов-классификаторов дейктического характера, и именно с этим процессом можно связывать и развитие классных экспонентов. Такая древность классных экспонентов могла бы подтверждаться, например, тем фактом, что при наличии показателя класса вещей в енисейских языках нет личного местоимения 3-го лица для замещения существительных вещного класса. Логично поэтому возводить классные экспоненты к той отдаленной эпохе, когда в процессе дифференциации первичных слов-синкретов в языке выделился постепенно круг слов, которые приобрели наречно-указательный характер. Эти первоначальные корневые указательные слова-дейксисы уточняли место нахождения объекта по отношению к говорящему [12, с. 17—18]⁷. Они имели структуру *СГ*. Основными гласными, которые несли дейктическое значение, были, на наш взгляд, *a/o* «тот» (указание на отдаленный объект), *u/e* «этот» (указание на ближайший объект), *y* — дейксис широкого плана «тот, тот»⁸, ср. современные кетские указательные местоимения *ki* «этот» (близкий, видимый), *tu* «тот, этот» (подале, известный или упомнутый), *ʒa* «тот» (подале)⁹.

Различные согласные компоненты в структуре первичных дейктических слов конкретизировали указание и несли более точную информацию о классе соответствующего денотата и его местонахождении по отношению к говорящему по типу эскимосских указательных местоимений [28].

В современных енисейских языках указательные местоимения, как правило, предшествуют имени в синтагме, но можно предполагать, что на более раннем этапе развития енисейских языков положение было иным: все дейктические элементы, включая и любые локальные уточнители, к которым восходят наречия и послелогои, занимали, видимо, постпозицию по отношению к имени. В случае с послелогоми это состояние еще сохранилось. В другом случае оно сохранилось в предикативных формах имен и наречий: югск. *axm-э:н* «(они) хорошие», *axma-да?* «(она) хорошая», *axma-ду?* «(он) хороший» и т. д. Впоследствии классные показатели,¹ от-

⁷ Интересна в этой связи теория локализма, по которой человеческая речь на ранней стадии ее развития стремилась выразить любое отношение в терминах места и пространства [2].

⁸ Эти же гласные выделены В. М. Иллич-Свитычем в ностратических языках [14, с. 8]; см. также [1, с. 262], [8].

⁹ У К. Вругмана соответственно *Ich-Deixis*, *Der-Deixis*, *Jener-Deixis* [31], у К. Е. Майтинской — указание на сферу говорящего, общее указание, указание на удаленность от говорящего или указание на сферу «тот» [21].

рываясь от имени в постпозиции, примыкали к именам действия и состояния (глаголам) в препозиции. Это могло произойти потому, что в зависимости от ситуации само имя могло без всякого ущерба для смысла предложения отсутствовать, так как соответствующий классный экспонент нес достаточно информации о соответствующем денотате. Таким путем классные экспоненты из словообразовательных элементов при имени превращались в формообразовательные элементы при глаголе. Этот же механизм действовал в сфере имени при выражении отношения принадлежности и обладания. Так, при выражении принадлежности соответствующие показатели, отрываясь от предшествующего имени, префигировались к последующему имени; ныне это притяжательные формы имени типа *боп* «мой отец», *дам* «ее мать», *дахун'* «его дочь» и т. д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андронов М. С. Сравнительная грамматика дравидийских языков. М., 1978.
2. Блок Х. П. Локализм и дейксис в языках банту.— В кн.: Африканское языкознание. М., 1963, с. 262.
3. Brugmann K. Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen.— In: Abhandl. der philol.-histor. Klasse der königlich-sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig, 1904, Bd. XXII, № VI, S. 9—12.
4. Вернер Г. К., Вернер И. Г. Об одной енисейско-индоевропейской типологической параллели.— Уч. зап. Омского пед. ин-та, 1968, вып. 36.
5. Вернер Г. К. Реликтовые признаки активного строя в кетском языке.— ВЯ, 1974, № 1.
6. Вернер Г. К., Вернер И. Г. Об аффиксальной деривации у енисейских существительных.— В кн.: Языки и топонимия. Томск, 1976, с. 22—23.
7. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове).— 2-е изд. М., 1972.
8. Гранде Б. М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1972, с. 209.
9. Donner K. Über die Jenissei-Ostjaken] und ihre Sprache.— JSFO, 1930, XLIV.
10. Дульзон А. П. Очерки по грамматике кетского языка. Ч. I. Томск, 1964.
11. Дульзон А. П. О древней центрально-азиатской языковой общности.— Труды Томского ун-та, 1968, т. 197.
12. Живова Г. Т. Местоимения в кетском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1978.
13. Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. К описанию некоторых кетских семантических систем.— Уч. зап. Тартуского ун-та, 1965, вып. 181.
14. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. М., 1971.
15. Каргер Н. К. Кетский язык.— В кн.: Языки и письменность народов Севера. Ч. III. М.—Л., 1934.
16. Castrén M. A. Versuch einer jenissei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre. SPb., 1858.
17. Климов Г. А. Типология языков активного строя. М., 1977, с. 266—271.
18. Крейнович Е. А. Именные классы и грамматические средства их выражения в кетском языке.— ВЯ, 1961, № 2.
19. Крейнович Е. А. Глагол кетского языка. Л., 1968.
20. Крейнович Е. А. О грамматическом выражении именных классов в глаголе кетского языка.— В кн.: Кетский сборник. Лингвистика. М., 1968.
21. Майтинская К. Е. Местоимения в языках разных систем. М., 1969, с. 64.
22. Мещанинов И. И. Проблемы развития языка. Л., 1975, с. 34 и сл.
23. Немировский М. Я. Способы обозначения пола в языках мира.— В кн.: Памяти ак. Н. Я. Марра. М.—Л., 1938, с. 213—214.
24. Палмайтис М. Л. Индоевропейская апофония и развитие деклинационных моделей в диахронно-типологическом аспекте. Тбилиси, 1979.
25. TAILLEUR O. G. Un îlot basco-caucasien en Sibirie: les langue ienisséennes.— Orbis, 1968, v. 7.
26. Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Об изучении имени в кетском.— В кн.: Кетский сборник. Лингвистика. М., 1968.
27. Хайдаков С. М. К особенностям функционирования классной системы в дагестанских языках и языке фула.— ВЯ, 1977, № 6.
28. Меновицков Г. А. Грамматика языка азиатских эскимосов. Ч. I. М.—Л., 1962, с. 257—263.

КИМ С. С.-Д.

ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ РАЗРАБОТКИ ТИПОВОЙ
РУССКОЙ ЧАСТИ ДЛЯ РУССКО-НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ

(Заметки практика)

Опыт практической лексикографии свидетельствует о быстром «моральном старении» действующих ныне словарей, укорачивающем сроки их функционирования, годности. Это нежелательное явление — следствие двух причин. Первая причина носит объективный характер. Это так называемый лексический взрыв, вызванный динамизмом нашего века, и прежде всего стремительным научно-техническим прогрессом современности. Недостаточный учет лексикографами достижений филологической науки, в первую очередь новейших лексикографических данных, — это вторая, субъективная, причина преждевременного старения словарей.

Сокращение временного интервала особенно нежелательно в области лексикографии, занятой созданием фундаментальных трудов, — толковых словарей, больших двуязычных словарей, в том числе русско-национальных, так как это сложное, трудоемкое дело, сопряженное с большими затратами времени и материальных средств.

В продлении срока действия словаря решающую роль играет качество его основы — словника, который обеспечивает временное соответствие словаря в целом, его «осовременение» на базе критического освоения лексикографически целесообразного, что дают предшествующий опыт, лингвистика, социолингвистика и лингводидактика наших дней.

Представляется необходимым вынести на обсуждение читателей журнала проблемы составления словника — определения объема словаря и комплексной разработки типовой русской части для больших академических русско-национальных словарей, которые вслед за акад. Л. В. Щербой мы именуем толковыми словарями русского языка на национальном языке.

Объем словаря. В связи с определением объема словаря уместно привести здесь высказывание акад. Л. В. Щербы из «Опыта общей теории лексикографии»: «Мой педагогический опыт подсказывает мне одно: всякий краткий словарь вызывает у серьезных людей в конце концов раздражение, так как он всегда оказывается недостаточным во всех тех случаях, когда словарь действительно нужен» («Языковая система и речевая деятельность». Л., 1974, с. 289).

Думается, что объем больших русско-национальных словарей, изданных в 50—70-е гг., не вызвал бы серьезных возражений Л. В. Щербы. Однако следует отметить значительные колебания в них количества словарных единиц. Например, в Русско-башкирский словарь издания 1964 г. (РБС-64) вошло 46 000 слов, Русско-карачаево-балкарский словарь 1965 г. (РКБС-65) — 35 000, Русско-каракалпакский словарь 1967 г. (РКБС-67) — 47 000, Русско-якутский словарь 1968 г. (РЯС-68) — 28 500, Русско-чу-

вашский словарь 1971 г. (РЧС-71) — 40 000, в 1-й том Русско-казахского словаря 1978 г. (РКС-78) — 65 000 слов и др.¹

По нашему мнению, одной из характерных тенденций в русско-национальной лексикографии 80—90-х гг. является нивелировка объема словарей. И в этом прогрессивном процессе решающую роль сыграют единые типовые словники, в равной мере удовлетворяющие всех как по объему, так и по степени сложности лексикографической разработки, причем предусматривающие последующую локализацию, связанную с пополнением словарей лексическими единицами и примерами, передающими местные реалии, колорит каждого национального языка. Данное положение вытекает из объективной закономерности развития социалистического общества, достижения народами нашей страны фактического равенства.

Безусловно, будет усилена учебная направленность словарей. Это значит, что лексикографы должны позаботиться о компактности словаря, об удобстве пользования им. Этим требованиям отвечают однотомные словари. И, вероятней всего, однотомники, включающие 50—60 тыс. слов, адресованные массовому читателю, будут занимать ведущее место в русско-национальной лексикографии последних двух десятилетий XX столетия.

В однотомных словарях отпадает надобность в сохранении просторечных и узкоспециальных слов, слов, вышедших из активного употребления. За счет резкого сокращения этих слов словник должен быть обогащен примерно 3000 новых лексических единиц и словосочетаний, причем хорошим ориентиром могут служить словари новых слов и значений, выходящие под редакцией Н. З. Котеловой.

Между тем, ратуя за однотомный словарь, нельзя забывать о все углубляющемся процессе билингвизма в нашем обществе, и, стало быть, о том, что выполнение завета В. И. Ленина о создании толкового словаря русского языка от Пушкина до наших дней, нашедшего воплощение в русской лексикографии в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова, академических и других словарях, стало ныне первоочередной задачей и русско-национальной лексикографии. Это значит, что необходимо создавать словари, в которых было бы гораздо шире представлено лексическое богатство русского языка, чем в однотомных словарях. Видимо, это будут двухтомные или четырехтомные словари (в зависимости от полноты семантической разработки, объема иллюстративного материала и качества правой части — перевода) с ориентацией на переизданный малый академический словарь, объем которого приблизится к 100 000 словарных единиц.

Г р а м м а т и ч е с к и й а п п а р а т. Для нерусских особую трудность представляет восприятие изменяющихся классов слов русского языка, претерпевающих в речевом потоке закономерные трансформации, естественные для носителей русского языка и особенные, необычные для представителей иных языков. Например, лица, плохо владеющие русским языком, с большим трудом могут установить связь между звуковым (и зрительным) образом таких косвенных форм, как *горька, сна, пня, зол, колок, вру, башу, жэшъ, пью, крою* и их исходных форм *горёк, сон, пень, злой, колкий, врать, басить, лгать, пить, крыть* и т. д. И даже те, кто уяснит родство данных словоформ, оказываются в затруднении в их правильном употреблении. В речи нерусских, как часто можно наблюдать, нередки такие образования, как *горёка, враю, враешь, писаю* и т. д. и т. п.

¹ Кроме 1-го тома Русско-казахского словаря, изданного Главной редакцией Казахской Советской энциклопедии, цитируемые здесь русско-иноязычные словари выпущены издательством «Советская энциклопедия».

В русской лексикографии сложилась традиция обеспечения словарных единиц грамматическим аппаратом, в достаточной степени раскрывающим особенности образования словоформ на базе учета специфики словоизменения и акцентологических закономерностей склоняемых и спрягаемых слов. Русско-национальная же лексикография пошла по иному пути. Руководствуясь, видимо, соображениями экономии, стремясь разгрузить переводные словари за счет упрощения грамматического компонента, их составители прибегли к неоправданному, на наш взгляд, сокращению грамматического аппарата, выразившемуся в отказе от демонстрации трудных случаев словоизменения. Правда, в какой-то мере ущерб, причиненный таким отходом от русской лексикографической традиции, компенсируется подачей отдельными статьями супплетивных форм и форм, трудно выводимых из исходных, например: *я и меня, мне, мной, обо мне; бастить и башу мять и мою, моешь и т. д.* Однако такая подача, восходящая к словарю Д. Н. Ушакова, покрывает лишь малую часть того, что необходимо знать нерусскому о морфологической природе русского слова.

Показ трудностей словоизменения — обязательный элемент грамматического обеспечения типовых словников русско-национальных словарей.

Оперируя понятием «трудности формообразования», необходимо помнить, что его содержание охватывает все фузионные явления — как фонетические, так и морфологические, и потому оно шире содержания понятия «чередование звуков», которое нередко в практике обучения и лексикографии подменяет первое.

В русско-национальных словарях 60—70-х гг. сохранены словесные пояснения грамматических явлений (например, *вам мест. личн. дат. п. мн. от вы; только ед.; скл. как прил.* и др.), которые воспринимаются ныне как анахронизмы, когда в организованном обучении русскому языку вместо практики заучивания грамматических категорий действует речевое, аудио-визуальное направление.

Трудно для нерусских усвоение акцентных особенностей русского слова — перемещения ударения с основы на окончание и с окончания на основу.

Русско-национальная лексикография отказалась от демонстрации акцентологических закономерностей русского языка — явлений, не предсказуемых с точки зрения лиц, недостаточно владеющих русским языком. Однако такое решение, хотя и наносит ущерб правильному усвоению русского слова, следует признать приемлемым, так как оно направлено на разгрузку русской части в пользу национальной, переводной. Кроме того, этот компромисс можно обосновать тем, что раскрытие акцентной специфики слова является преимущественно объектом и задачей аудирования и в меньшей мере — визуального представления.

В новых типовых словниках считаем целесообразным принять грамматический аппарат, определенный на основе учета трудностей русского словоизменения, а также учета современных методических требований к подаче лексических единиц, что предполагает отказ (где это возможно) от называния и объяснения грамматических категорий и явлений, утверждения вместо этого приема демонстрации словоформ и грамматических показателей, способствующей усвоению слов на уровне синтаксиса речевого употребления.

Чтобы наглядно раскрыть содержание грамматического аппарата нового (предлагаемого нами) словника (НС-80), ниже приводится материал для сопоставления, извлеченный из словарей С. И. Ожегова (СО), Малого академического (МАС), Русско-карачаево-балкарского, Русско-чувашского и НС-80:

Имена существительные

СО	МАС	РКБС-65	РЧС-71	НС-80
1. волкодáv, -а, м. картина, -и, ж.	волкодáv, -а, м. картина, -и, ж.	волкодáv м. картина ж.	— картина ж.	волкодав м картина ж
2. бок, -а (-у), о бóке, на бокú, мн. бока́, -ов, м.	бок, -а, предл. о бок с, на бокú, мн. бока́, м.	бок м.	бок м.	бок м
3. волчонок, -нка, мн. -чата, -чат, м.	волчонок, -нка, мн. -чáта, -чáт, м.	волчонок м.	волчонок м.	волчонок, -нка, мн. -чáта, м
4. зуб, -а, м. 1. (мн. зúбы, зубов) ...; 2. (мн. зúбья, зúбьев) ...	зуб, -а, мн. зúбы, -ов и зúбья, -ьев, м. 1. (мн. зúбы) ...; 2. (мн. зúбья) ...	зуб м. 1. (мн. зúбы) ...; 2. (мн. зú- бья) ...	зуб м. 1. (мн. зúбы); 2. (мн. зúбья)	зуб м 1. мн. ∞ я. ...; 2. мн. ∞ бя...
5. столовая, -ой, ж.	столовая, -ой, ж.	столовая ж. скл. как прил.	столовая ж. скл. как прил.	столовая, -ой, ж
6. день, дня, м.	день, дня, м.	день, м. дня, дню и т. д. род., дат. п. и т. д. от день.	день м. —	день, дня м дня см. день.

Имена прилагательные и слова, морфологически сходные с прилагательными

СО	МАС	РКБС-65	РЧС-71	НС-80
1. брига́дный, -ая, -ое 2. наш, -его, м.; ж. наша, -ей; ср. на́- ше, -его; мн. наши, -их, мест. при- тяж.	брига́дный, -ая, -ое наш, -его, м.; на́ша, -ей, ж.; на́ше, -его, ср.; мн. на́ши, -их, 1. мест. притяж. ...; 2. в знач. суц. на́ше, -его, ср. .; 3. в знач. суц. на́ши, -их, мн.	брига́дный, -ая, -ое наш мест. притяж. м. на́ша мест. притяж. ж. см. наш. на́ше мест. притяж. с. 1. см. наш; 2. в знач. суц. на́ши мест. притяж. мн. 1. . .; 2. в знач. суц.	брига́дный прил. наш мест. притяж. 1. . .; 2. в знач. суц. ∞ и мн. . .; 3. в знач. суц. ∞ е с.	брига́дный, -ая, -ое наш, -а, -е мест. притяж. 1. . .; 2. в знач. суц. ∞ е с. .; 3. в знач. суц. ∞ и мн.

Продолжение

СО	МАС	РКБС-65	РЧС-71	НС-80
3. злой, злая, зле; зол, зла, зло; злее; злейший	злой, -ая, -бе; зол, зла, зло; злейший	злой, -ая, -бе зол II кратк. форма от злой зла II кратк. форма от злая. (см. злой)	злой прил. — —	злой, -ая, -бе; зол, зла зол см. злой —

Личные и другие местоимения с супплетивными косвенными формами

СО	МАС	РКБС-65	РЧС-71	НС-80
мы, нас, нам, нами, о нас, мест. личн. I-го л. мн. ч.	мы, нас, нам, нас, нами, о нас, мест. личн. I л. мн. ч.	мы мест. личн. нас мест. личн. I род. и вин. п. от мы. . . ; 2. предл. п. от мы. нам мест. личн. дат. п. от мы нами мест. личн. теор. п. от мы.	мы мест. личн. мн. нас мест. личн. род., вин. и предл. п. мн. от мы. нам мест. личн. дат. п. мн. от мы. нами мест. личн. те. п. мн. от мы.	мы, нас, нам, нами, о нас мест. личн. нас, о нас см. мы. нам, нами см. мы. —

Глаголы

СО	МАС	РКБС-65	РЧС-71	НС-80
1. читать, -аю, -аешь; читан- ный; несов. 1. кого-что...; 2. кого-что...; 3. что...; 4. что	читать, -аю, -аешь; прич. наст. читаю- щий; прич. страд. наст. читаемый, -таем, -а, -о; прич. страд. прош. читанный, -тан, -а, -о; несов., перех. также без доп.	читать несов. что	читать несов. 1. что и без доп...; 2. что...; 3. что...; 4. что и без доп...; 5. что	читать, -аю, -аешь несов. что
2. мстить, мщу, мстишь; несов. кому —	мстить, мщу, мстишь; несов. —	мстить несов. кому мщу наст. вр. от мстить.	мстить несов. кому-чему —	мстить, мщу, мстишь несов. кому мщу см. мстить.

СО	МАС	РКЭС-65	РЧС-71	НС-80
3. расти, -тѹ, -тѣшь; рос, рослѧ; <i>несов.</i>	растѹ, растѹ, растѣшь; <i>прош.</i> рос, -лѧ, -лѹ; <i>несов.</i>	растѹ <i>несов.</i> рос, рослѧ, рослѹ, рослѹ <i>прош. ер.</i> от растѹ бытовѧтъ <i>несов.</i>	растѹ <i>несов.</i> —	растѹ, -тѹ, -тѣшь; рос, -лѧ <i>несов.</i> рос, -лѧ <i>см.</i> растѹ
4. бытовѧтъ, 1 и 2 л. не употр.-тѹет; <i>несов.</i>	бытовѧтъ, -тѹет; <i>несов.</i>	бытовѧтъ <i>несов.</i>	бытовѧтъ <i>несов.</i>	бытовѧтъ, -тѹет <i>несов.</i>

Приведенные сопоставительные данные свидетельствуют о следующем:

1. Предлагаемая здесь грамматическая характеристика русского слова не есть нечто новое, отрицающее традиции русской и русско-национальной лексикографии. Это их продолжение, направленное, смеем думать, на дальнейшее совершенствование грамматического обеспечения изменяющихся классов слов русского языка в новых словарях русско-национальных словарей.

2. Согласно традиции русско-национальной лексикографии, в подаче имен существительных в НС-80 не принята обязательная в толковых словарях русского языка демонстрация наряду с исходной и формы рода падежа — традиции, восходящей к классической (древнегреческой и латинской) филологии.

3. В действующих русско-национальных словарях не учтены морфологические сходства и различия частей речи русского языка. Слова, по структуре (парадигматике и синтагматике) тяготеющие, например, к именам прилагательным, следует давать одинаково, например: железный, -ая, -ое; бѣличный, -ья, -ье; вторѹй, -ѧ, -бе; трѣтий, -ья, -ье и т. п. В 1-м томе академической «Русской грамматики» (М., 1980) дана новая классификация частей речи. Однако до массового внедрения с соответствующими изменениями новой стабильной грамматики для общеобразовательных школ лексикография должна придерживаться традиционной классификации и говорить с читателем в привычных, понятных ему терминах.

4. При качественных прилагательных наряду с исходными родовыми окончаниями полных форм приводятся и краткие, что продиктовано необходимостью показа их функциональных (атрибутивных и предикативных) различий.

5. В первых пунктах рассматриваемого материала по именам существительным и глаголам отобраны слова, не представляющие трудности с точки зрения формообразования. Однако в отличие от имен существительных, данных только в исходной форме, при всех глаголах, в том числе и при глаголах первого и второго продуктивного классов (*читать, играть, гулять, зеленеть, краснеть* и т. д.), после инфинитива приводятся и личные окончания. Это решение продиктовано тем, что формы лица в НС-80 служат для разграничения оппозиции глаголов субъектного и объектного классов, т. е. для дифференциации их преимущественного употребления в речи в той или иной форме.

6. В русско-национальных словарях наблюдается разноречивость в представлении «трудных» словоформ, в подаче их отдельными статьями со ссылкой

на основные. Это объясняется тем, что до сих пор не выработан критерий определения «трудных» слов.

Педагогическая практика подсказывает, что наиболее трудны для восприятия трансформация в словах с малым фонемным составом (*день, дня; крыть, крою; висеть, вишу; басить, башу* и т. д.), причем изменения в начальных звукосочетаниях слова, в корне — носителе лексического значения.

При отборе словоформ для их раздельного размещения в словаре должны быть учтены указанные соображения. В то же время в решении данного вопроса следует пойти на определенный компромисс, так как учет всех трудных случаев отрицательно отразится на объеме словаря, его компактности.

В НС-80 отдельной статьей с отсылкой на основную даются словоформы, в которых по сравнению с исходными имеют место изменения второй фонемы слов, например: *сон, сна; бить, бью; гнать, гоню; злой, зол* и т. д. Это значит, что в отличие от словаря Д. Н. Ушакова и русско-национальных словарей 60—70-х гг. не выделяются в нем такие словоформы, как *алчу (алкать), башу (басить)* и др. При этом следует отметить, что предлагаемый отказ от традиции в достаточной мере компенсируется за счет демонстрации трудных форм в составе исходных заглавных.

Функционально-стилистическая характеристика слов. В словарях рассматриваемого типа, как ни в каких других, необходимо снабжение слов функционально-стилистическими пометами, тщательно выверенными по новейшим лексикографическим источникам.

Русская речь нерусских изобилует стилистически неверным выбором слов. Например, такие погрешности, как в обращении «Купать подано. Садитесь жрать, пожалуйста», вложенном в уста флегматичного нерусского персонажа в кинофильме «Джентльмены удачи», с помощью чего достигается комизм, нередко можно встретить в речи плохо владеющих русским языком.

О качестве функционально-стилистической характеристики лексических единиц в русско-национальных и русско-иностранных (Русско-финском — РСФ-63 и Русско-румынском — РСР-67) словарях 60—70-х гг. можно судить по следующим данным:

Словарные единицы	Функционально-стилистические пометы в							
	РСФ-64	РКС-65	РКФС-67	РСФ-68	РСФ-71	РКС-78	РСФ-63	РСР-67
<i>благодарение</i>	*	—	—	—	—	—	уст.	—
<i>благоденствие</i>	уст.	—	уст.	уст.	уст.	уст.	уст.	—
<i>обладеть</i>	прост.	разг.	прост.	разг.	прост.	разг.	прост.	уст.
<i>боевик</i>	ист.; разг.	разг.	—	—	разг. ист.; разг. уст.	ист. разг.	разг. ист.; разг. уст.	прост.
<i>бетономешалка</i>	тех.	—	—	—	—	тех.	—	тех.
<i>богара</i>	с.-х.	—	—	—	с.-х.	с.-х.	с.-х.	—
<i>баскетбол</i>	—	—	—	спорт.	—	спорт.	—	—
<i>барс</i>	—	—	—	—	—	зоол.	—	зоол.
<i>белка</i>	—	—	—	—	—	зоол.	—	зоол.
<i>одуванчик</i>	—	—	—	—	—	бот.	бот.	бот.
<i>стыковая</i>	—	—	—	—	—	—	—	—

* Проверка означает отсутствие данного слова в словаре, пробел — отсутствие пометы.

Как видим, функционально-стилистические показатели русско-национальных и русско-иностранных словарей, изданных в нашей стране, представляют довольно пеструю картину. Обращает внимание следующее:

1. Игнорирование в некоторых случаях стилистической квалификации слов, вышедших из употребления, не характерных для современной устной и письменной речи. Это, в частности, выразилось в отказе от пометы *уст.* (устаревшее слово, выражение) в случаях, где она обязательна.

2. Смещение таких близких, но различающихся стилистических атрибутов, как «просторечное» и «разговорное».

3. Отставание в фиксации функционально-стилистических сдвигов, происходящих в словарном составе языка на современном этапе его развития.

Стилистический аспект речи — явление изменчивое, динамичное, зависящее во многом от факторов экстралингвистических. Так, слово *боевик* в его втором значении «фильм, спектакль, эстрадное выступление, пользующееся особенно большим успехом» в 1-м томе Малого академического словаря, изданном в 1957 г., снабжено пометами *разг. устар.* Как известно, употребление этого слова было привычным во времена нэпа и последующие годы, по постепенному вместе с исчезновением реалии оно стало восприниматься как устаревшее, что и зафиксировано в МАС. Между тем уже ко времени выхода в свет академических толковых словарей русского языка слово *боевик* (особенно *кинобоевик*) вновь вошло в речевой обиход, хотя и с иной экспрессивной окраской. В этом свете становится очевидной ошибка составителей РКС-78 и РРС-67, сохранивших помету *уст.*, неверно характеризующую современное звучание данного слова.

Вместе с тем, говоря о внеязыковых факторах, влияющих на архаизацию слов, следует обратить внимание на то, что зачастую в лексикографической практике квалификация слов как *уст.* выводится непосредственно из факта исчезновения самих социальных институтов, предметов, понятий и явлений из реальной жизни. Например, в МАС и СО пометой *устар.* снабжены статьи *незаконнорожденный*, *великосветский*, *заезжий двор*, *вольнослушатель* (СО) и т. д. Здесь, как видим, очевидно, отождествление старых реалий и слов, обозначающих их.

Если в стилистической характеристике слов последовательно идти по пути такого упрощенчества, то это грозит тем, что количество слов с пометой *уст.* увеличится в десятки раз. Так, *соха* как орудие сельского хозяйства — достояние прошлого в нашей стране. Но этот факт не является основанием квалифицировать слово *соха* как устаревшее. Тем не менее в РРС-64 и РКС-67 они снабжены этой пометой. И таких примеров множество.

К числу фактов, иллюстрирующих отставание нашей лексикографии, можно отнести чрезмерное увлечение функциональными пометами, выражающееся в том, что нередко пометами *спец.*, *тех.*, *с.-х.*, *зоол.*, *бот.*, *мед.* и т. д. снабжаются слова, обозначающие предметы и явления, которые ныне настолько стали обыденными, что давно отпала необходимость пометать их специально. Лишними являются пометы *тех.* при слове *бетономешалка*; *спорт.* при слове *баскетбол*; *зоол.* при словах *барс* и *белка* в РКС-78; *бот.* при слове *одувачник* и т. д. и т. п.

Функциональные пометы могут служить неплохим инструментом локализации словарных единиц. Так, верно, по нашему мнению, провели локализацию слова *богара* каракалпакские лексикографы, сняв устойчиво закрепленную за ним помету *с.-х.* И в то же время правильно сделали составители РРС-63, оставив помету, так как для большинства финнов *богара* — неизвестная сельскохозяйственная реалия.

Происходящий ныне лексический взрыв неизмеримо ускорил процесс перехода слов, широко употреблявшихся до недавнего времени, в пласт пассивной лексики и, наоборот, единиц пассивного лексического запаса в активный словарь наших современников, узкоспециальных терминов

в слова общелитературного и общенародного достояния, слов с экспрессивной окраской в состав нейтральной лексики и наоборот, превращая высокое в ироническое и ироническое в высокое, просторечное в разговорное, а затем в нейтральное и т. д.

В 4-м томе Малого академического словаря представлены однокоренные слова *стык, стыкать, стыкование, стыковать, стыковаться, стыковой* и *стыжный*, причем с пометой *спец.* Вместе с тем в ряду этих родственных слов в нем не нашлось места словам *стыковка* и *стыковочный*. Но это не оплошность составителей МАС. Это верный учет ими «шкалы» употребительности этих слов, в числе которых слова *стыковка* и *стыковочный* в период создания МАС находились на периферии русской лексики (или, что менее вероятно, еще не возникли). Однако уже в 60-е гг. их следовало зафиксировать в словарях.

С началом космических полетов слова *стыковка, стыковочный* и др. буквально ворвались в нашу речь. При этом они стали настолько привычными, что при словарной фиксации не потребуются снабжение их специальной функциональной пометой. Такое верное решение приняли, кстати, чувашские лексикографы, зафиксировавшие в РЧС-71 некогда пассивное отглагольное имя существительное *стыковка* без пометы *спец.*, отказавшись в то же время от включения менее употребительного слова *стыкование*, данного в МАС, выражающего, как и его дублет *стыковка*, действие по значению глагола *стыковать*.

Рассмотренные здесь и другие факты свидетельствуют, что русско-национальной лексикографии необходимо провести тщательную корректирующую работу, направленную на приведение устаревающих функциональных и стилистических характеристик в соответствие с их современным состоянием.

О разработке многозначных слов. На современном этапе развития русско-национальной лексикографии основным оригиналом, с которого осуществляется перевод, служат действующие толковые словари русского языка — словарь С. И. Ожегова, Большой и Малый академические словари. При этом, как свидетельствует практика, из них наиболее подходящим для русско-национальных словарей в аспекте семантической разработки является МАС.

Семантика многозначных слов — один из основных показателей, по которому читатель судит о богатстве, многогранности языка. Поэтому очень важно, преодолевая трудности перевода, как можно полнее донести до него содержание оригинала.

О том, с какой степенью полноты передано семантическое содержание оригинала в русско-национальных словарях 60—70-х гг., можно судить по следующим данным:

Словарные единицы	Количество значений и оттенков значений по						
	МАС	РЭС-64	РКЭС-65	РЯКС-67	РЯС-68	РЧС-71	РКС-78
<i>брат</i>	28	8	в разн. знач.	в разн. знач.	в разн. знач.	в разн. знач.	2
<i>глубокий</i>	16	2	2	4	6	2	4
<i>держать</i>	20	3	в разн. знач.	в разн. знач.	6	3	6
<i>жалеть</i>	5	3	2	4	3	4	3
<i>кабинет</i>	6	в разн. знач.	1	в разн. знач.	2	в разн. знач.	2
<i>мертвый</i>	11	5	2	4	2	5	3
<i>работать</i>	17	в разн. знач.	в разн. знач.	в разн. знач.	4	в разн. знач.	—

Приведенные и другие аналогичные факты говорят о том, что русско-национальная лексикография сознательно пошла по пути упрощения семантического содержания многозначных слов, руководствуясь при этом, на первый взгляд, методически верным принципом сохранения информативно значимых семантических единиц и адаптации значений и оттенков значений, редко реализуемых в речи.

Как правило, информативно значимые компоненты слова имеют общелогическое основание, воспринимаемое человеком, изучающим неродной язык, как общеязыковое, присущее как оригиналу, так и переводу.

Общение с лицами, недостаточно владеющими русским языком, убеждает в том, что знание основного значения дает возможность им «домыслить» и производные значения русского слова. Так, усвоение нерусским исходного значения слова *глубокий* «имеющий большую глубину» позволяет ему логически правильно выйти на понимание таких неравнозначных словосочетаний как *глубокий вздох*, *глубокая старина*, *глубокие знания*, *глубокая задумчивость*, *глубокое молчание*, *глубокая ночь* и др.

Безусловно, в подаче семантики русского слова в русско-национальных словарях следует в первую очередь обратить внимание на универсальное, совпадающее с информативно необходимым, т. е. на то, что прежде всего обеспечивает речевое общение.

Между тем самобытность слова обнаруживается в о с о б е н н о м через о б щ е е и в о б щ е м через о с о б е н н о е, свойственное именно данному слову как единице лексико-семантической и лексико-грамматической системы конкретного языка. Например, в слове *жалеть* общим логическим основанием является значение «чувствовать жалость, сострадание к кому-либо». И это первичное значение, присущее как оригиналу, так и переводу, зафиксировано во всех русско-национальных словарях. В то же время ни в одном из рассмотренных словарей не демонстрируется другое значение этого слова — «любить», непредсказуемое с позиции языка перевода.

Отказ от показа особенного, своеобразного, собственно русского в семантике слова может привести к нежелательным результатам, сформировать у читателя превратное представление о русской лексике как системе, состоящей из одних стереотипных единиц некоего усредненного языка. Поэтому при адаптации значений, неизбежной, к сожалению, в русско-национальной лексикографии, надо стремиться к сохранению самобытных семантических компонентов русского многозначного слова.

В русско-национальных словарях 60—70-х гг. введена новая форма подачи многозначных слов: слово снабжается указанием *в разн. знач.*, после чего дается общий перевод-эквивалент и несколько примеров, иллюстрирующих разные значения. Как правило, к такому объединению прибегают при подаче слов общего лексического фонда языков народов СССР и таких исконно русских слов с широкой семантикой, как *брат*, *держать*, *работать* и т. д., в семантике которых — в оригинале и переводе — наличествуют совпадающие моменты. Так, разные значения русского слова *работать* в башкирском языке совпадают с *эшләу*; в карачаево-балкарском — с *ишлерге*; в каракалпакском — с *ислей*, *ислесий*, *жумьс этиу*; в чувашском — с *ёсле*, в узбекском с *ишламоқ* и т. д.

Понятийная общность слов, особенно основного лексического фонда языков, очевидна. И идея объединения очевидно общего, совпадающего в семантике многозначных слов различных языков, частично реализованная в русско-национальных словарях 60—70-х гг., заманчива. Однако очевидно и то, что при таком формально-логическом подходе игнорируется раскрытие собственно языковых аспектов семантики, грамматических значений, сочетаемостных возможностей, присущих слову данного конкретного языка. Например, ликвидация делений на значения в слове *работать* привела

к тому, что за бортом словарей оказались особенности глагольного управления (*работать кем, чем, над чем, с кем, на кого-что*) и др., демонстрация которых обязательна в переводных словарях, тем более в таких, в которых языки оригинала и перевода являются разносистемными.

В новых типовых словниках для русско-национальных словарей 80—90-х гг. следует отказаться от упрощенного подхода в подаче многозначных слов русского языка.

Русско-национальные словари 60—70-х гг. заметно отстают в фиксации новых значений, возникших в словах за последние два-три десятилетия. Например, ни в одном из действующих словарей не демонстрируется сравнительно новая валентность слова *осуществить* — способность образовывать, сочетаясь с отлагательными существительными *запуск, посадка, шаг* и др., аналитические конструкции *осуществить запуск (посадку и т. д.)*, хотя эти сочетания ныне стали нормативными в языке науки, прессы, художественной литературы, устной речи.

Иллюстративный материал. Единодушно мнение лексикографов об обязательности снабжения словарей примерами, иллюстрирующими контекстуальное употребление слов, уточняющими, конкретизирующими общие дефиниции отдельных значений лексических единиц.

Отталкиваясь от предшествующего опыта, в новых словарях необходимо: 1) критически использовать примеры, заимствованные из толковых словарей русского языка, перенося из них лексикографически устоявшиеся; 2) значительно увеличить и обновить иллюстративный материал за счет ввода новых примеров на уровне словосочетаний и фраз, передающих реалии современной действительности, используя, в частности, «Учебный словарь сочетаемости слов русского языка» (М., 1978) и другие источники; 3) исключить из словарей информативно избыточные примеры и примеры, не отвечающие этическим и эстетическим нормам словоупотребления, которые, к сожалению, нередки в словарях 60—70-х гг., например: *горбатый старик* в РКБС-65; *ребенок высосал грудь, выстричь волосы подмышками* в РКС-78 и т. д. и т. п.

В отличие от толковых словарей русского языка, в которых не берется во внимание, в какой форме — исходной или косвенной — употреблено данное изменяющееся слово, в русско-национальных словарях обязательно должны быть использованы примеры, в которых иллюстрируемое слово реализовало бы наряду с исходной формой и косвенные. Например, местоимение *я* и его косвенные формы правильно будет снабдить такими предельными сочетаниями, как *у меня, без меня, ко мне, со мной, обо мне, при мне*. При этом, конечно, необходимо соблюдать меру, ибо в противном случае есть опасность трансформации словаря академического типа в учебно-учебный словарь.

В русско-национальной лексикографии не прекращается спор по поводу использования цитат в качестве иллюстративного материала.

Отказ от цитат — легкий путь. И, к сожалению, в современной лексикографической практике берет верх именно эта тенденция. Однако, если русско-национальная лексикография откажется от использования цитат, то (если быть последовательным) следует вообще отказаться от создания словарей, раскрывающих лексическое богатство русского языка от Пушкина до наших дней.

Цитаты — необходимый компонент русско-национальных словарей и прежде всего многотомных. И при составлении русской части необходимо отобрать для переводчиков минимум авторских текстов.

Проиллюстрируем сказанное разработкой словарной статьи *изволить*, сделанной по Малому академическому словарю для нового двухтомного Русско-узбекского словаря:

извѣлить, -лю, -лишь несов. 1 *чего* или *с неопр. уст.* [истолкование-перевод: хотеть, желать (при почтительном обращении)]; не ∞ ите ли позавтракать с нами? (перевод). 2 *с неопр. уст.* (истолкование-перевод: употребляется для выражения почтительной вежливости); я, кажется, помешал вам: вы ∞ или читать (Герцен) (перевод); 3 *с неопр.* (истолкование-перевод: употребляется для выражения неудовольствия или иронии); что же вы не ∞ или явиться вовремя? (перевод); пожаловать ∞ или? (перевод); 4 *пов. ∞ ь(те) с неопр.* (истолкование-перевод: употребляется для выражения вежливой просьбы); ∞ ьте сесть, дорогие гости (перевод); Извѣльте расписаться в получении ваших бумаг (М. Горький) (перевод); 5 *пов. ∞ ь(те) с неопр.* (истолкование-перевод: употребляется для выражения приказа или наставления); ∞ ь слушать внимательно, когда говорит старшие! (перевод); 6 *пов. ∞ ь(те) с неопр.* (истолкование-перевод: употребляется для выражения неудовольствия, досады на необходимость выполнения какого-л. действия); Вот ∞ ьте жить и дело делать с такими господами! (Чехов) (перевод); 7 *пов. ∞ ь(те) разг.* (истолкование-перевод: употребляется в значении «ладно, хорошо, так и быть»); поѣдем? — Извѣльте (перевод); 8 *пов. ∞ ь(те) разг.* (истолкование-перевод: употребляется в значении «пожалуйста»); подвиньтесь. — Извѣльте (перевод); ◇ *чего ∞ ите? уст.* (истолкование-перевод: что угодно?).

В приведенной разработке цитаты заимствованы из МАС. Они просты и легко поддаются переводу. Ограниченный объем словаря не дает возможности использовать громоздкие авторские тексты. Поэтому необходимо прибегать в таких случаях к составлению собственных примеров. Здесь нами предложены простые примеры — минимальные контексты, в том числе ситуативные (в форме диалога), которые служат для демонстрации смысла, помогают полнее раскрыть содержание неполных дефиниций, истолкований.

Отсутствие примеров не просто обедняет словари, а ведет к нарушению триединства — взаимодействия языковой (лексической) системы, речевой деятельности и языкового материала.

Идя по пути обязательного снабжения словарных статей иллюстративным материалом, мы, разумеется, отдаем себе отчет в том, что в словарях рассматриваемого типа необходимы твердые ограничения.

В однотомных словарях, отражающих синхронное состояние русской лексики последних десятилетий (в понимании синхронии придерживаемся позиции новой «Русской грамматики», т. 1, с. 10), вполне приемлем иной принцип отбора и размещения примеров, оправданный задачей и объемом этих словарей. Так, в РЧС-71, типичном представителе серии академических русско-национальных словарей 60—70-х гг., в статье *изволить* без дефиниций (непосредственно после двоеточия) даны следующие примеры: *чего изволите?*; *изволь(те)*, *я согласен*; *извольте сами судить*; *извольте сесть*. Это примеры, отобранные по параметру частоты их употребления в русской речи наших дней. Однако следует отметить, что в целом словари 60—70-х гг. явно страдают бедностью, нехваткой иллюстративного материала.

Отбор и составление примеров для русско-национальных словарей — сложнейший участок работы составителя левой (русской) части. Эта работа не может решаться в отрыве от правой (национальной) части, предиката словарных статей, без учета возможностей перевода. Например, второе значение слова *тонкий* «небольшой в окружности, обхвате; не полный или узкий в кости (о человеке, его фигуре, частях тела)» в Малом академическом словаре иллюстрируется примерами *тонкая шея*, *тонкая талия*, *тонкие пальцы* и др. Из них буквальному переводу, например на узбекский язык, поддается только второй пример. Что же касается первого и третьего примеров, то прямой перевод их невозмо-

жен, так как наталкивается на противодействие иных эстетических формирований носителя узбекского языка. Если у русского *тонкая шея* вызывает ассоциации «девичья», «красивая», «лебединая», а *тонкие пальцы* — «музыкальные», «изящные», то у узбека они ассоциируются с реалиями «большой», «исхудавший». И таких случаев множество.

Все это свидетельствует о том, что преодоление трудностей отбора, составления и перевода примеров невозможно без тесного содружества создателей субъекта и предиката русско-национальных словарей. Очевидна также необходимость осуществления отбора специфических примеров по регионам, например для тюркоязычных республик, рассчитанных на последующее уточнение и дополнение их на местах.

Фразеология в русско-национальных словарях. Из анализа русско-национальных словарей 60—70-х гг. следует, что по таким важным лексикографическим аспектам, как отбор фразеологических единиц, размещение их в корпусе словаря и внутри словарных статей, современная русско-национальная лексикография еще недостаточно разработана.

Полная несостоятельность в презентации фразеологических единиц обнаруживается в 1-м томе Русско-казахского словаря издания 1978 г. Например, во фразеологизме *не мытjem, так кáтаньjem* составители РКС-78 в слове *катаньjem* переместили ударение на второй слог — *катáньjem*. Подобная «самодетельность», к сожалению, не единичное явление.

Относительно удовлетворительно обстоит дело с подачей фразеологии в русско-национальных словарях 60—70-х гг., выпущенных издательством «Советская энциклопедия». Но, подчеркиваем, относительно: относительно сложившейся лексикографической практики, отражающей различные, нередко противоречивые, положения, выработанные теорией фразеологии. Так, если сопоставить разработку глаголов, образующих аналитические конструкции, в частности *вести, делать* и др., то обнаружится, что в одних словарях устойчивые сочетания *делать ошибки, вести наблюдения* и т. п. даны как фразеологизмы, в других — как одно из значений многозначных слов. Например, в РБС-64 конструкция *вести борьбу (переговоры, переписку, разговор)* рассматривается как фразеологизм, а в РКБС-65, РККС-67, РЯС-68 и РЧС-71 используется как пример, иллюстрирующий одно из значений глагола *вести*. В РККС-67 сочетание *делать подарок* помещено за знаком ромба, в РЧС-71 вынесено за пределы фразеологии.

Другой пример. Трудно понять, какой логикой руководствовались составители Русско-финского словаря, помещая за знаком ромба в статье *в* (предлог) словосочетания *представить в воображении, вытянуться во весь рост, характером в отца, слово в слово, из года в год, во цвете лет, во всеоружии, во главе, во что бы то ни стало, во имя чего-либо*. Вряд ли служебное слово, т. е. грамматический элемент, как компонент указанных сочетаний может быть достаточным основанием для их презентации в составе данной статьи.

Вслед за русской практической лексикографией в подаче фразеологии русско-национальная лексикография приняла для практического руководства теорию так называемого широкого понимания фразеологии, позволяющей рассматривать в составе фразеологических единиц безбрежное море словосочетаний — от составных наименований, большая часть которых представляет собой свободные сочетания (*социалистический реализм, рабовладельческий строй* и т. д.), грамматикализованных сочетаний до собственно фразеологических единиц — идиоматики языка.

Исследования, посвященные проблеме русской фразеологии в русско-национальных словарях, проведенные в последние годы, выполнены

в русле «безбрежной» фразеологии. Не отрицая несомненную полезность этих исследований, необходимо в то же время указать на неприемлемые, на наш взгляд, практические рекомендации, содержащиеся в них. Так, в диссертационной работе В. Х. Кадырова «Фразеология в русско-узбекских словарях» (Ташкент, 1978) предлагается: «ФЕ, которые соотносятся со значением компонентов, должны быть даны внутри словарных статей после толкования значения слова со знаком светлый ромб \diamond , а те ФЕ, которые утратили мотивировку общего значения, например, *Антонов огонь*, должны помещаться за темным ромбом \blacklozenge в конце словарной статьи» [с. 11].

Данное положение иллюстрируется разработкой статьи *огонь*, по которой фразеологизмы 1) *между двух огней*, 2) *днем с огнем не сыщешь* и 3) *линия огня* распределены соответственно по трем значениям: 1) пламя, сгорающие и светящиеся газы, отделяющиеся от горящего предмета (*огонь костра*); 2) свет осветительного прибора (*огонь лампы*); 3) стрельба из винтовок, орудий (*артиллерийский огонь*).

Научная необоснованность предложенной подачи фразеологических единиц и ее лексикографическая неприемлемость обнаруживаются при рассмотрении данной рекомендации не только с позиции так называемого узкого понимания фразеологии, но и с позиции самого автора исследования. Искусственность, ненадежность данного руководства можно, в частности, проиллюстрировать примером, приведенным в той же работе В. Х. Кадырова. «ФЕ *зажечь огонь*, — пишет автор, — многозначна, она соотносится и с первым и со вторым его значением» (с. 11). Спрашивается: как быть лексикографу, какой ему сделать выбор?

Практическая лексикография не может принять на вооружение операцию рассредоточения и потому, что она находится ныне в поиске простых и в то же время надежных способов подачи фразеологии, борясь против всяческих усложнений, каковым является, в частности, предложение использовать светлые и темные ромбы.

В области лексикографической разработки русской фразеологии много сделано А. М. Бабкиным, отрицающим широкое понимание фразеологии. Автор этих строк, будучи его сторонником, считает, что принятая ныне подача фразеологии в толковых словарях русского языка и русско-национальных словарях ведет к разрушению цельного, растворяя единицы основного фразеологического фонда, т. е. экспрессивные средства языка, в массу ординарных устойчивых сочетаний нейтрального стиля.

На обсуждение выносятся следующие соображения:

1. За знаком ромба (\diamond) в конце статьи помещать лишь собственно фразеологические (экспрессивные) единицы, причем как идиомы, так и мотивированные устойчивые сочетания.

2. Различного типа составные наименования, термины-словосочетания использовать или как примеры, иллюстрирующие значения слов, или давать отдельными статьями, например, антонов: ∞ *огонь уст. прост. то же, что гангрена*.

3. Вывести за пределы знака ромба и давать отдельным грамматическим значениям аналитические конструкции (перифразы) типа *осуществить стыковку*, а также различные грамматикализованные сочетания, причем без таких, в частности, пояснений, как «в сочетании с существительными выражает действие по знач. данного существительного», что принято в словаре С. И. Ожегова. Вместо текстов, содержащих толкование данных лексико-грамматических явлений, давать непосредственно за соответствующей арабской цифрой сами конструкции и после двоеточия примеры для перевода, например: *осуществить*, -влюб-, -вишь *сов.* 1 *что...*; 2 ∞ *запуск* (стыковку, наблюдения, эксперимент и др.): ∞ *запуск космического корабля* (перевод) и т. д.

4. Пословицы и поговорки использовать в качестве примеров, иллюстрирующих значение слов, т. е. так, как это принято во всех действующих толковых словарях русского языка и русско-национальных словарях.

Предлагаемые вниманию читателей заметки принадлежат лексикографу-практику, непосредственно сталкивающемуся в своей повседневной работе с трудностями, вызванными отсутствием новых единых типовых словников. Автор надеется, что обсуждение вопросов, затронутых в настоящей статье, позволит выработать научно обоснованные принципы формирования типовой русской части для академических толковых словарей русского языка на национальном языке.

ДОМАШНЕВ А. И., ХУДНИЦКИЙ В. С.

К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ НИЖНЕНЕМЕЦКОГО
ДИАЛЕКТА В ГДР(На материале исследования региона судостроительной
верфи Рехлин)

Функциональное и социальное положение современных нижненемецких диалектов в целом, подобно положению других групп диалектов, оценивается исследователями как «слабая» позиция [1, 2; 3, с. 89]. Тенденция к оттеснению нижненемецких диалектов, к возникновению и утверждению форм речи, «промежуточных» между ними и верхненемецким литературным языком, складывалась еще в XVIII—XIX вв., однако в наше время ряд факторов оказал существенное влияние на переинтеграцию конститuentов социально-функциональной структуры немецкого языка. Так, миграция населения повлекла за собой сильные изменения его демографической структуры, а средства массовой информации и развитие школьного обучения способствовали распространению литературного языка. В то же время при описании языковых ситуаций на современном этапе развития языка и общества необходимо прежде всего учитывать социально-экономические условия и общественные отношения, определяющие коммуникативные потребности общества. Так, в условиях современной капиталистической ФРГ происходят свои характерные изменения в социальной жизни населения, наблюдаются процессы определенной социальной и языковой интеграции и оттеснения диалекта под воздействием обиходно-разговорных форм речи [4, с. 96]. И этот строй «не мог оставить нетронутыми отношения, которые были ранее характерны для различных форм существования языка, в результате чего особенно заметные изменения наблюдаются в статусе и функциях диалекта» [5]. При этом обращает на себя внимание утверждение К. Шупенгауера о том, что нижненемецкий становится неустойчивым по своему социальному охвату, поскольку носители диалекта обнаруживаются сегодня не только среди крестьян или рабочих [3, с. 8]. Подобный вывод сделал еще раньше Г. Веше применительно к земле Нижняя Саксония¹, когда он писал, что «хороший старый нижненемецкий без верхненемецкого влияния» сегодня уже совсем не употребляется, и языком повседневного общения становится верхненемецкий тип речи. Старые дифференциации исчезают, а новое еще не закрепилося» [7]. Однако несмотря на определенные инновационные явления современных языковых отношений на севере ФРГ, здесь в значительной мере остается действительной «старая схема» отношений между языком и обществом [8], поскольку последнее в своей сущности сохранило принципиально прежнюю структуру соотношения классов и социальных слоев, в том числе и прежние

¹ Отметим, что согласно данным репрезентативного опроса, который был проведен Научно-исследовательским институтом по проблемам «нижненемецкого языка» (Бремен) в содружестве с Институтом общественного мнения диалектом владеют 60% населения земли Нижняя Саксония в возрасте от 16 до 60 лет, см. об этом [6].

привилегии на образование. Поэтому наряду с ранее наметившимися тенденциями свертывания диалектов в ФРГ продолжает сохраняться социальная основа изоморфизма между социальными и языковыми структурами. Нижненемецкий, как отмечает Г. Веше, остается в своей социальной характеристике «единым» языком в том отношении, что, как и раньше, это средство общения людей, которые по своему социальному статусу принадлежат «низшим» классам общества, в меньшей степени мобильны и больше привязаны к сельскому быту. Подобная социально-изоморфная характеристика структуры языка, заключает Г. Веше, какой бы мрачной она ни была, соответствует действительности [9, 10]. Политика в области образования в условиях капиталистического общества не направлена на языковую интеграцию всех социальных слоев и классов [4, с. 96]. Свидетельством тому явились и многообразные материалы проводившейся в ФРГ на протяжении последнего десятилетия дискуссии о так называемых языковых барьерах, причины которых кроются в общественных отношениях ФРГ с их глубокими социальными контрастами, из-за которых значительная часть населения с самого начала исключена из круга носителей литературного языка, а социальная база литературного языка оказывается ограниченной преимущественно социально привилегированными слоями общества [4, с. 98].

Поскольку общественные отношения определяют в конечном счете коммуникативные потребности и представляют собой условия для решения определенных коммуникативных задач, то процесс развития немецкого языка и характер его социально-функциональных разновидностей в условиях социалистической ГДР приобрели новое качество. Социально-экономические, политические и культурные преобразования, а также выравнивание различий между городом и селом, которое, как известно, в области образования уже завершено [11], создание социалистического производства на селе — образование кооперативов и их последующее слияние в более крупные объединения в значительной мере способствовало языковой интеграции. Это характерно особенно для Мекленбурга, где до конца XIX в. вследствие аграрного уклада региона и слабой системы образования подавляющее большинство трудового народа оставалось носителями диалекта [12].

Глубокие перемены, произошедшие в условиях социалистического общества ГДР, как в зеркале отразились на потребностях коммуникации в небольшом по своему территориальному охвату регионе Рехлинской судостроительной верфи на Мюритце² и привели к новому качеству языковых отношений, выразившемуся в изменении сфер действия и коммуникативной функции как диалекта, так и литературного языка, в их социальной базе и в отношении членов общества к мекленбургскому диалекту.

Одним из итогов данного процесса явилось расширение социальной базы литературного языка, так что в наши дни большинство населения

² В прошлом это веками отсталый аграрный регион. В 1948 г. здесь была создана судостроительная верфь, которая определяет сегодня индустриальный облик Нойбранденбургского округа. В исследовании структуры и функционирования системы немецкого языка, которое носило комплексный характер, мы исходили из продолжительного наблюдения над речевым употреблением в 24 населенных пунктах и на самом предприятии, а также записи на пленку непринужденной речи более 100 говорящих и стандартизированного анкетирования. В основу двух вариантов анкеты, часть материала которой анализируется в настоящей статье, легли сформированные на предварительном этапе рабочие гипотезы относительного общего состояния структуры языка. Анкетирование проводилось в 1976 г. среди 518 информантов судостроительной верфи и двух школ региона. По своему составу выбор информантов является достаточно репрезентативным с точки зрения учета социально-демографических факторов.

Таблица 1

Использование литературного языка в зависимости от социально-профессиональной позиции говорящих (выражено в процентах)

Рабочие	Руководство	Ученики	ИТР	Служащие	Учителя	Учащиеся
90,8 76	87,5 40	63,1 84	85,5 55	86,2 76	100 9	92,3 196

Таблица 2

Статистическая характеристика компетенции опрошенных в сфере диалекта и его применение в речи (выражено абсолютно и в процентах)

Степень владения диалектом	Владеют диалектом		Только понимают		Не понимают	
	полностью	частично	полностью	частично		
Совокупности информантов						
судостроительной верфи Рехлин	14,9 (48)	39,8 (128)	17,7 (57)	22,0 (71)	5,6 (18)	100 (322)
из них применяют диалект в речи	13,7 (44)	34,2 (110)	0,9 (3)	0,9 (3)	—	49,7 (160)
учащиеся школ	1,0 (2)	29,1 (57)	17,8 (35)	48,5 (95)	3,6 (7)	100 (196)

владеет в той или иной мере литературным языком и может использовать его в зависимости от потребностей коммуникации. Об этом свидетельствуют данные анкетирования. В целом, 81,7% опрошенных судостроительной верфи стремятся говорить на литературном языке в той или иной типовой ситуации. В составе этой максимальной группы 11,5% информантов стараются всегда применять в общении литературный язык. Примечательно, что наивысшие показатели в сумме различных ситуаций обнаружили, кроме учителей (100%) и учащихся школ (92,3%), рабочие судостроительной верфи (90,8%), и это — наивысший показатель среди группы опрошенных на предприятии (см. табл. 1).

В современных условиях функционирования языка несомненно решающее значение для применения той или иной его разновидности приобретает лингвистическая компетенция носителей. Это особенно проявляется в сфере нижненемецкого диалекта, который остается важным языковым компонентом: им владеют полностью и частично 54,7% опрошенных судостроительной верфи (наивысший репродуктивный уровень имеют 14,9%), еще больше носителей понимают диалект полностью (рецептивный уровень владения — 17,7%) и частично (22,0%), тогда как количество не понимающих диалектную речь здесь минимально (5,6%) (см. табл. 2). Среди 196 учащихся лишь два информанта полностью владеют диалектом, хотя частичная компетенция намного выше. Основными носителями диалекта из числа опрошенных судостроительной верфи являются максимально 49,7% информантов. Между степенью владения диалектом и его фактическим применением в речи не существует полного соответствия, хотя употребление диалекта, как показывают данные табл. 2, в значительной мере определяется именно уровнем компетенции. Лишь четыре информанта из 48, полностью владеющих нижненемецким, не раз-

говаривают на нем (эти данные о компетенции в сфере диалекта принципиально подтвердились результатами контрольных «тестов-переводов»).

Знание мекленбургского диалекта в зависимости от социально-демографических аспектов обнаруживает еще значительные колебания, которые, несомненно, имеют отношение к тем социально-общественным условиям, в которых проходило языковое воспитание населения. Наиболее значимым при этом является возрастной фактор (здесь получен наивысший показатель вариационного диапазона между контрастными возрастными совокупностями: 45,7), отражающий в целом особенности языковой ситуации разных периодов. Родившиеся до 1930 г. противопоставляются всем другим возрастным группам и особенно 18—25-летним информантам, среди которых только 1,6% имеют высший уровень владения диалектом. Возрастной фактор оказывается сильнее регионального (вариационный диапазон: 30,4). Среди нижненемецких региональных совокупностей в группе «коренное население» лишь 34,3% опрошенных владеют диалектом полностью, а 3,0% испытуемых этой общности даже не понимают диалект (ими явились информанты в возрасте до 25 лет — выходцы из семей рабочих). Примечательно, что переселенцы из нижненемецких языковых областей, являясь весьма представительной группой в структуре населения региона, в значительной мере усвоили Plattdeutsch: 3,9% владеют им репродуктивно, еще большее количество владеет диалектом частично (24,0%), тогда как диалектную речь не понимают лишь 10,1%.

Важной особенностью современного развития явилось не только расширение социальной базы литературного языка; в определенном смысле произошла, как следствие социальной мобильности населения в условиях социалистического общества, «нивелировка» социальной базы нижненемецкого диалекта. Речь идет о компетенции в сфере Plattdeutsch и его употреблении в речи в той или иной ситуации в зависимости от важного социального детерминанта — социально-профессиональной позиции говорящих. Это характерно для группы информантов, полностью владеющих диалектом, которые, как отмечалось выше, почти все применяют диалект в коммуникации (безусловно, подчеркнем это, в зависимости от условий общения и типовой ситуации: по-разному в семье, на предприятии и т. д.). В этой группе имеет место примерно равномерное распределение показателей знания диалекта в зависимости от принадлежности носителей к различным звеньям руководства или к рабочим в непосредственном материальном производстве. Их репродуктивный уровень соответственно составляет 22,5% и 25,0% (см. табл. 3). Контрастной здесь оказывается лишь группа 18—19-летних учеников предприятия, т. е. возрастной фактор вновь выдвигается на передний план. Отметим, что среди учеников предприятия никто полностью не владеет диалектом, а 10,7% (9 из 84 учащихся) вообще не понимают его (по своему региональному составу данная совокупность информантов представляет в основном нижненемецкую языковую область, однако имеются представители других ареалов).

Основными носителями диалекта, как отмечалось выше, являются максимально 49,7% опрошенных; однако функциональное распределение диалекта по отдельным коммуникативным сферам и типовым ситуациям уменьшается. Это означает, что каждый носитель учитывает в своем речевом поведении ряд обстоятельств, которые его определяют. Важным для функционального статуса Plattdeutsch является то, что он не стал здесь ни «производственным языком»³ в процессе общения на судостро-

³ О развитии Plattdeutsch в направлении к «производственному языку» или «производственному жаргону» (Betriebssprache, Betriebsjargon) на крупных судостроительных верфях Ростока писал Г. Гернценц [13].

Таблица 3

Степень владения нижненемецким диалектом и род профессиональной деятельности опрошенных (выражено абсолютно и в процентах)

Профессиональная позиция	Уровень владения диалектом					
	владеют		только понимают		не понимают	
	полностью	частично	полностью	частично		
руководители	22,5 (9)	40,0 (16)	22,5 (9)	12,5 (5)	2,5 (1)	100 (40)
ученики судовой верфи	—	47,6 (40)	10,7 (9)	31,0 (26)	10,7 (9)	100 (84)
ИТР	9,1 (5)	38,2 (21)	23,6 (13)	23,6 (13)	5,5 (3)	100 (55)
рабочие	25,0 (19)	43,4 (33)	14,5 (11)	14,5 (11)	2,6 (2)	100 (76)
служащие управления и др.	22,4 (13)	27,6 (16)	19,0 (11)	27,6 (16)	3,4 (2)	100 (58)
учителя школ	22,2 (2)	22,2 (2)	44,4 (4)	—	11,2 (1)	100 (9)
Итого	(48)	(128)	(57)	(71)	(18)	(322)

Таблица 4

Функциональное распределение Plattdeutsch (частота указаний выражена в процентах по отношению к 322 опрошенным лицам)

Производство семьи часы досуга	Производство семья	Семья часы досуга	Производство часы досуга	Производство	Семья	Часы досуга	Собрание	Никогда не применяются	Не ответили
7,8	1,9	8,7	2,2	5,3	14,6	9,0	0,3	41,0	9,3

тельной верфи, ни специфическим и исключительным средством общения в кругу семьи (см. табл. 4).

Данные контрольного вопроса анкеты («Где и когда Вы говорите на нижненемецком диалекте?») расположены следующим образом по «вееру» речевых ситуаций (см. табл. 4).

Языковое поведение коллектива опрошенных судостроительной верфи во время трудового процесса на предприятии характеризуется доминирующим употреблением верхненемецкого обиходно-разговорного языка. Преобладание этого типа речи наблюдается не только в ситуациях неслужебного, но и официального общения (выступления на собраниях или совещаниях и др.), хотя в последнем случае отмечается заметное увеличение использования литературного языка. На собраниях и совещаниях литературный язык применяют 44,7% опрошенных (стремление говорить на литературном языке здесь отметили 52,4% испытуемых), в общении с директором и другими руководителями — 43,1%, тогда как остальные информанты считают, что и в этих типовых ситуациях они остаются преимущественно в сфере обиходно-разговорного языка. При этом несколь-

ко испытуемых (1,3%), пребывая исключительно в сфере диалекта во время неслужебного речевого контакта, не переключаются на иную субсистему языка и в общении с руководителями, а один из них указал, что не отказывается от диалекта и во время выступления на собрании (см. ниже табл. 5). Однозначно на верхненемецком обиходно-разговорном языке при речевых ситуациях непринужденного характера (общение с коллегами, в процессе непосредственной трудовой деятельности) говорят 74,1%—76,6% опрошенных. Максимальное применение диалекта свойственно в общении между коммуникантами — коллегами по работе (15,9%), т. е. в случаях, когда говорящие находятся между собой в дружеских отношениях. Несколько меньше диалект применяется в аналогичной ситуации во время рабочего процесса (12,5%), между людьми, не связанными близкими отношениями.

Для того чтобы составить представление о социальной дифференциации в применении диалекта на предприятии, мы абстрагировались от типовых ситуаций, фиксируя сам факт его применения в одной из них, и рассмотрели употребление диалекта теми информантами, которые «владеют диалектом полностью и частично» (176 из 322 опрошенных). Здесь вновь существенно различаются возрастные группы, среди которых чаще всего на диалекте разговаривают две средние из них (35—46 лет: 64,4%; 26—35 лет: 48,0%). Обращает на себя внимание языковое поведение представителей старшей возрастной группы (родились до 1930 г.); среди полностью владеющих диалектом все опрошенные говорят на Plattdeutsch в той или иной ситуации и за пределами верфи, однако лишь половина из них (46,2%) указали на употребление диалекта в процессе общения на предприятии. Так, например, 69-летний житель населенного пункта Ш., работающий дежурным на коммутаторе, в экспериментально-лингвистической ситуации следующим образом охарактеризовал свое языковое поведение: «...на предприятии я говорю в основном по-верхненемецки и это в течение большей части дня... Приходя домой вечером, разговариваю с женой сразу же по-нижненемецки, а уходя из дома, я опять дерестраиваюсь» («...ik möcht in mien Betrieb, da würde ik überwiegend hochdeutsch spraken un dat is de meiste Tied vom Tach... Wenn ik denn aben(d)s to Hus komme, dann em(p)fängt mi mien Fru glik mit platt un wenn ik werra rut ut Hus go, dann is dat Platt werra wech, dann würde ik mi werra ümstellen»). Интересно также, что две трети этой группы применяют диалект в сфере семейного общения. Значительная дифференциация обнаруживается между женщинами и мужчинами (диалект применяют соответственно 18,4% и 48,0%), а также между различными общностями информантов по признаку «образование». В этом аспекте лидируют испытуемые с высшим образованием: из числа полностью владеющих диалектом на предприятии его применяют 100%, из числа владеющих частично — 36,4%. Высокие показатели характерны и для специалистов среднего звена (76,5% специалистов среднего звена, полностью владеющих диалектом, 48,1% специалистов среднего звена, частично владеющих диалектом). При этом обнаруживается следующая закономерность: специалисты высшего звена и представители руководства, владеющие полностью диалектом, чаще других профессиональных групп прибегают в определенных ситуациях к нижненемецкому диалекту. Большинство информантов с репродуктивным уровнем компетенции в сфере диалекта, а также значительная часть владеющих им частично пребывают, таким образом, во время производственного процесса в состоянии своеобразной диглоссии, варьируя от одного типа речи к другому в зависимости от конкретных коммуникативных ситуаций и условий, их определяющих, которые каждый раз могут меняться.

Применение диалекта, как мы наблюдали на предварительном этапе исследования, возможно, кроме того, и в сфере собраний и совещаний. Так, например, на одном из торжественных собраний руководитель с высшим образованием в своем докладе отошел от «подготовленного речевого поведения» и переключился на Plattdeutsch, когда речь зашла о порицании работников, поскольку порицание на диалекте воспринимается «мягче».

Корреляция данных о применении диалекта в семье с данными о владении диалектом показывает, что свыше двух третей (68,6%) основных носителей диалекта (48 человек) разговаривают в семье на Plattdeutsch, тогда как частично владеющие значительно реже прибегают к нему в процессе частного общения (41,4%). Речевое поведение профессиональных макрогрупп в сфере семьи по сравнению со сферой трудового процесса характеризуется определенной перестройкой в выборе языковой формы. В этом отношении выделяются особенно группы руководителей и служащих. Так, руководители из числа владеющих нижненемецким говорят на нем в кругу семьи гораздо реже (40,0%), чем на производстве (64,0%); а служащие управленческого аппарата, редко употребляя диалект в процессе общения на судостроительной верфи (31,0%), в 51,7% случаев применяют его в семье.

Говоря о функциональном статусе немецких диалектов, исследователи чаще всего соотносят их со сферой семейно-бытового и устного частного общения, а в отношении нижненемецкого подчеркивается его «интимный и личный характер» [13]. Такая характеристика функциональной загрузки Plattdeutsch имеет силу и для региона Рехлинской судостроительной верфи, она подтверждается несколько большими показателями именно для этой сферы общения. Однако учет других формаций языка, применяемых в сфере семейного общения, показывает, что диалект и здесь не меняет своей периферийной позиции в иерархии разновидностей языка, функционально дополняющих этот вид речевого взаимодействия. Данные опроса свидетельствуют о том, что в общении между членами семьи диалект значительно уступает другим формациям языка. Наиболее сильную позицию имеет при этом верхненемецкий обиходно-разговорный язык, исключительно в сфере которого пребывают 46,6% из 322 опрошенных. Другие 4,7% говорят в семье в основном на литературном языке (см. табл. 5). Значительная часть информантов (21,1%) считает, что наряду с обиходно-разговорной формацией они применяют и литературный язык, т. е. остаются в сфере верхненемецких языковых структур. Лишь минимальное количество опрошенных варьирует в семейном общении между всеми типами речи (1,9%), еще меньшая часть обычно говорит на диалекте (0,6%) (ими явились представители старшего возраста), тогда как полностью владеют диалектом 14,9%. Современный носитель диалекта, таким образом, не остается в процессе семейного общения исключительно в сфере Plattdeutsch: 22,9% опрошенных применяют наряду с нижненемецким диалектом верхненемецкий тип языка, другие (2,2%), пребывая в сфере литературно-разговорного языка, используют и диалект (см. табл. 6).

Дополнительные данные вопроса анкеты «Применялся ли в семье Ваших родителей нижненемецкий диалект?» свидетельствуют о постепенном заметном вытеснении его как адекватного средства семейного общения в данном регионе: до 1930 г. в таких семьях на диалекте разговаривали в большинстве случаев (87,5%), другие 12,7% положительных ответов маркированы пометой «редко», аналогично высоким показателем характеризуются и 30-е годы (77,0%) и 9,4% «редко», тогда как 40-е и 50-е годы в этом отношении контрастны [соответственно: 43,9% (19,7% «редко») и 33,9% (28,3% «редко»)]. В то же время ни в одной из современных семей

Таблица 5

Сводная статистическая характеристика языкового поведения коллектива опрошенных судостроительной верфи (выражено абсолютно и в процентах)

Типовая ситуация	Применяемые разновидности языка *							Итого
	КЛЯ	КЛЯ—ОРЯ— ННД	КЛЯ—ОРЯ	КЛЯ—ННД	ОРЯ	ОРЯ—ННД	ННД	
непосредств. производств. процесс	25 8,0	4 1,3	9 2,9	— —	240 76,6	32 10,2	3 1,0	313 100%
общение с коллегами	20 6,4	2 0,6	11 3,5	1 0,3	232 74,1	43 13,7	4 1,3	313 100%
разговор с представителями руководства	114 36,4	1 0,3	17 5,4	3 1,0	174 55,6	— —	4 1,3	313 100%
собрание совещание	125 40,0	— —	17 5,4	1 0,3	170 54,3	— —	— —	313 100%
общение в сфере семьи	15 4,7	6 1,9	68 21,1	7 2,2	150 46,6	74 22,9	2 0,6	322 100%

* Принятые сокращения: КЛЯ — кодифицированный литературный язык, ОРЯ — обиходно-разговорный язык, ННД — нижненемецкий диалект.

Таблица 6

Функциональная дополнительность форм существования языка в сфере семейного общения (для коллектива опрошенных судостроительной верфи)

КЛЯ	КЛЯ—ОРЯ	КЛЯ—ОРЯ— ННД	КЛЯ—ННД	ОРЯ	ОРЯ—ННД	ННД	Итого
4,7 (15)	21,1 (68)	1,9 (6)	2,2 (7)	46,6 (150)	22,9 (74)	0,6 (2)	100% (322)

диалект не изучается детьми в качестве первой языковой формы, тогда как большинство представителей старшего и среднего возраста «владеют диалектом полностью», усвоили нижненемецкий в дошкольный период (72,9%), для многих из них диалект является первой и единственной языковой формой этого периода (41,7%). Приобщение к диалекту части представителей среднего и в основном младшего возраста проходило, не достигая уровня полного и активного овладения им, наиболее интенсивно с 7 до 16 лет (26,1%), а также в первые годы самостоятельного труда с 17 до 25 лет (7,5%), после 25 лет — минимально (0,6%). Первичное языковое воспитание подавляющего большинства опрошенных проходило в сфере верхненемецкого обиходно-разговорного языка (70,8%), использование литературного языка имеет максимальный показатель 29,2%, а роль диалекта в целом незначительна (10,0%) (см. табл. 7). Носители, усвоившие нижненемецкий в качестве первой языковой формы, относятся к старшим возрастным группам; начиная с 1950 г. диалект как первая языковая форма — явление редкое, он окончательно вытеснен в этой функции в наши дни.]

Таблица 7

Функциональная дополнительность форм существования языка в перечисном языковом воспитании (для коллектива опрошенных судостроительной верфи)

ННД	ННД—ОРЯ	ННД—КЛЯ	ННД—ОРЯ—КЛЯ	ОРЯ	КЛЯ	КЛЯ—ОРЯ	Итого
7,8 25	2,2 7	0,3 1	0,3 1	70,8 228	15,8 51	2,8 9	100% 322

Таблица 8

Члены семьи, разговаривающие дома на *Plattdeutsch* (по данным коллектива учащихся) (выражено в процентах)

	Отец	Мать	Дедушка	Бабушка	Братья и сестры	Другие родств.
часто, редко	44,3	45,4	42,8	57,7	1,5	3,6
никогда	53,6	54,6	49,0	36,6	97,0	—
отсутствие названных членов семьи	2,1	—	8,2	5,7	1,5	96,4
Итого	194	194	194	194	194	194
из них применяют диалект в общении с детьми	9,3	4,6	17,0	22,7	—	5,1

Опрос учащихся относительно применения диалекта в семьях их родителей свидетельствует прежде всего о том, что исключительно редко сегодня разговаривают на диалекте подростки (до 17 лет) — 1,5% (см. табл. 8). Чаще всего на *Plattdeutsch* в семье говорят прародители, тогда как родители учащихся уже в меньшей мере используют диалект. Вместе с тем, как показывают самонаблюдения учащихся, нижненемецкий имеет ограниченную сферу действия в большинстве семей региона (учащиеся репрезентируют семьи не только работающих на судостроительной верфи, но и в сельскохозяйственном производстве, а также на других небольших предприятиях и в целом представляют 194 семьи из 19 населенных пунктов). В семьях, где родители и прародители между собой говорят на диалекте, в присутствии детей нижненемецкий максимально исключается; правда, полностью от диалекта дети не изолируются, определенная часть взрослых еще иногда разговаривает на нижненемецком с младшим поколением. Наиболее высоким показателем в этом отношении характеризуются представители самого старшего поколения (ср. табл. 8). Ни в одной из этих семей нет родителей, говорящих между собой только на диалекте. Функционально сильным типом речи во всех речевых ситуациях, включенных в «веер» альтернативных ответов, является верхненемецкий тип речи.

Результаты анкетирования среди разных групп носителей показали, что ведущее место в иерархии функциональной дополнительности разновидности языка, построенной на основе частотного распределения языковых формаций по сферам их действия, занимает верхненемецкий общедомашне-разговорный и литературно-разговорный язык (см. табл. 9). Кроме того, эти результаты свидетельствуют о том, что среди опрошенных нет

Таблица 9

Статистическая характеристика коммуникативной функции социально-функциональных разновидностей языка (частота указаний выражена в процентах)

1) (По данным информантов судостроительной верфи)

Сферы действия социально-функциональных разновидностей языка				
Непосредственный производственный процесс	Общение с коллегами по работе	Разговор с представителями руководства	Собрание, совещание	Общение в семье
1. ОРЯ — 91,0 2. ННД — 12,5—17,0 3. КЛЯ — 12,0	1. ОРЯ — 91,9 2. ННД — 15,9—17,0 3. КЛЯ — 10,8	1. ОРЯ — 61,0 2. КЛЯ — 43,2 3. ННД — 2,6	1. ОРЯ — 59,8 2. КЛЯ — 45,7 3. ННД — 0,3	1. ОРЯ — 92,5 2. ННД — 27,6—32,9 3. КЛЯ — 29,9

2) (По данным учащихся)

Сферы действия социально-функциональных разновидностей языка			
Общение в семье между родителями	Общение родителей с детьми	Общение родителей в городе (посещение магазинов и т. д.)	Разговор с незнакомыми
1. ОРЯ — 86,5 2. КЛЯ — 46,1 3. ННД — 33,2	1. ОРЯ — 82,9 2. КЛЯ — 45,1 3. ННД — 9,3	1. ОРЯ — 65,8 2. КЛЯ — 63,7 3. ННД — 7,8	1. КЛЯ — 71,0 2. ОРЯ — 59,7 3. ННД — 7,3

людей, которые бы говорили всегда на диалекте, равно как нет и коммуникативных сфер, в которых диалект занимал бы ведущую позицию и являлся преимущественным средством общения (ср., например, табл. 5). Лишь немногие информанты из числа опрошенных на судостроительной верфи остаются в сфере нижненемецкого диалекта во время неслужебного речевого контакта (максимально 1,3%), переключаясь на верхненемецкий язык в официальной сфере, а двое из них и в сфере семьи не говорят на диалекте (см. табл. 5). В целом коммуникативная функция диалекта при употреблении его во время непосредственного рабочего процесса, в общении с коллегами, в свободное время и в сфере семьи неоднородна. Особенно в сфере семьи диалект имеет несколько более сильную позицию. При этом важно, что Plattdeutsch фактически находит применение в различных сферах и не исключается окончательно из средств общения.

Более того, по данным одного из вопросов анкеты, в котором мы спрашивали информантов об их отношении к диалекту, здесь произошла переинтеграция социальных установок в сторону позитивного отношения к диалекту, и нижненемецкий, насколько он еще не потерял своего значения, не воспринимается больше как «нежелательная реклама отсталости»⁴ или «низшая» языковая форма, прикрепленная в своем функционировании к «низшим» классам общества. Среди 228 информантов, подробно обосновавших свою точку зрения на Plattdeutsch, большинство из них (82,0%) высказалось за сохранение диалекта в ареале его распространения и за определенную систему мероприятий по широкому учету диалекта в рамках культурного строительства. При этом часть опрошенных этой группы, называя нижненемецкий диалект «самостоятельным языком»

⁴ Такое отношение к диалекту в ФРГ установил К. Хассельбах (гессенский ареал) [14].

(*eigenständige Sprache*), а также «родным языком» (*Muttersprache, Heimsprache*), говорит о необходимости создания новых нижненемецких театров, кружков по его изучению, более широкого применения диалекта в телевизионных постановках. Осознавая, что диалект в наши дни не в состоянии удовлетворить требований языковой коммуникации, а также то, что он все больше фактически вытесняется, эта группа носителей считает *Plattdeutsch* культурным достоянием народа и настаивает на сохранении диалекта в качестве «побочного языка» («*Nebensprache*») для будущих поколений. Незначительная часть опрошенных в составе этой группы (2,2%) предлагает ввести диалект в школьное обучение — применять его при преподавании некоторых предметов и тем самым повысить уровень владения диалектом среди молодежи. 44,3% опрошенных с положительным отношением к диалекту отмечают, что нижненемецкий все еще остается важным языковым компонентом, поскольку определенная часть населения владеет им активно, а театры, где применяется диалект, пользуются исключительно большой популярностью. Косвенным образом опрошенные лица указывают на исчезновение изоморфизма между социальными и языковыми структурами, отмечая, что на *Plattdeutsch* охотно говорят и «образованные». По их мнению, нет никакой необходимости отказываться от диалекта именно в современной ситуации. Однако эта группа информантов, понимая, с другой стороны, задачи в области литературного языкового воспитания, отмечает нецелесообразность применения диалекта в любой из форм в процессе школьного обучения.

Представителей следующей группы (9,0%) объединяет отрицательное отношение к диалекту. Они смотрят на него как на продукт прошлых эпох, которому в современном обществе ГДР не должно уделяться никакого внимания, поскольку «в скором будущем *Plattdeutsch* станет мертвым языком»; более того — необходимо, по их мнению, всячески способствовать культуре речи в рамках верхненемецкого литературного языка. Эта группа информантов подчеркивает свое нежелание ни говорить на *Plattdeutsch*, ни его изучать. Правда, лишь в высказывании одного информанта отразился изоморфизм прошлого (Ср.: «*Platt sprechen d.h. Bauer zu sein im landläufigen Sinne*»).

Большинство информантов из числа переселенцев из нижненемецких языковых областей положительно относятся к диалекту (60,8%), 8,9% высказались отрицательно, 3,8% не поняли вопроса анкеты, а 26,6% проявили безразличие к *Plattdeutsch*.

Процесс вытеснения нижненемецкого в регионе, как показывают результаты опроса, не лишен противоречий. Об этом свидетельствует, в частности, опрос относительно мотивов и причин редкого употребления диалекта или отказа от него. 249 из 322 опрошенных на верфи и все учащиеся назвали ряд причин, среди которых выделяются, с одной стороны, указания на недостаточное владение нижненемецким (рабочие судовой верфи — 50%, учащиеся — 42,3%), а с другой, — на ограниченные коммуникативные возможности — отсутствие коммуникантов или в семье или на рабочем месте (рабочие судовой верфи — 25,2%, учащиеся — 50%). Среди мотивов не называются обычно причины психологического характера, и лишь два информанта (учащиеся школ) не говорят на диалекте «из боязни, что окружающие отрицательно к этому отнесутся». Обширная группа носителей (81 информант) указывает на преднамеренно ограниченное употребление диалекта в кругу семьи, вызываемое желанием образцового языкового воспитания детей в сфере литературного языка.

Вместе с тем случаи отрицательного отношения к диалекту минимальны. Так, например, лишь от 2,3% до 5,9% информантов (рабочие судовой верфи) отрицательно относятся на обращение к ним на диалекте. При этом

Таблица 10

Реакция информантов на обращение к ним на нижненемецком диалекте (выражено абсолютно и в процентах)

Реакция получателя (рабочие судовой верфи, коллектив учащихся школ)	Руководитель	Коллега	Отец	Мать	Дедушка	Бабушка	Другой родствен.	Школьный руководитель
положит. отношение	68,2	73,4	19,4	22,0	17,8	17,3	21,5	18,3
восприятие как знак уважения	6,6	4,3	3,1	3,1	5,2	7,3	5,7	1,1
нормальная реакция	8,5	3,3	29,3	25,7	38,2	44,0	22,5	10,5
безразличие	8,2	8,2	29,8	36,6	17,8	18,9	36,1	38,7
удивление	2,6	1,3						
отрицат. отношение	2,3	5,9	3,2	3,2	0,5	1,6	5,8	15,7
обращение на диалекте непонятно, просьба говорить на верхненем. языке	3,6	3,6						
оставлено без внимания	—	—	15,2	9,4	20,5	10,9	8,4	15,7
Итого	305	305	191	191	191	191	191	191

самое минимальное количество опрошенных (2,3%) отрицательно относится к диалектной речи руководителя (см. табл. 10). Большинство информантов (73,4%) положительно реагирует на Plattdeutsch, а представители старшего поколения, полностью владеющие им, воспринимают обращение на нижненемецком как знак уважения (4,3% — 6,6%).

Реакция школьников на диалектную речь более дифференцирована в зависимости от роли отправителя. Так, если диалектную речь старшего поколения они воспринимают еще положительно, то обращение на диалекте сверстников обнаруживает в большей мере безразличие (38,7%) и даже отрицательную реакцию (15,7%). И это самый большой показатель негативного отношения.

Опрос информантов относительно наиболее желаемой формы речевого общения показал, что таковой является обиходно-разговорная формация, приближенная в структурном плане к литературному языку, которую, если абстрагироваться от конкретных речевых ситуаций, лучше воспринимают 54,7% опрошенных верфи и 63,6% учащихся. В этом прежде всего проявляется социативная функция обиходно-разговорного языка. Круг носителей, предпочитающих только литературный язык, невелик (10,2% и 15,8%). При этом рассмотрение мотивов такого выбора выявило понимание говорящими ряда объективных признаков литературного языка, выдвигаемых обычно при описании его сущностной характеристики. Обычно явление, когда литературный язык пользуется большим престижем и выступает в качестве «высшей» разновидности языка; тем не менее, диалект

в данном случае, наряду с литературным обиходно-разговорным языком, предпочли 22,4% опрошенных, а также некоторая часть других информантов (в целом 31,5%). Такой выбор информанты мотивируют тем, что диалект является для них «первой языковой формой», «родным языком», а также тем, что в диалекте наличествует «богатство языкового выражения» и он представляет собой «путь к интимности». Обращает на себя внимание, что значительная часть учащихся, сожалея о своем незнании Plattdeutsch, изъявляет желание изучить его.

Подводя некоторый итог исследования, необходимо подчеркнуть, что для современной языковой ситуации в изучаемом регионе характерно, сложившееся противоречие между фактическим уровнем владения нижненемецким диалектом, его употреблением в речи, с одной стороны, и желанием применять его в общении, а также частично и позитивной установкой к данному языковому компоненту, с другой стороны. Результаты исследования показывают, что нижненемецкий расценивается как самими носителями диалекта, так и людьми, уже не владеющими им, как элемент языкового богатства населения данного региона, как желаемое дополнение в системе языковых разновидностей. В определенных случаях он обладает социативной функцией и может употребляться как средство непринужденного общения особенно с коммуникантами, знающими диалект. Тем самым «лишь необходимое вытеснение диалекта» [15], а также развитие его заметной социальной нейтральности привели к осознанию свойств этой формы проявления немецкого национального языка самими носителями. В результате переинтеграции социальных установок применение нижненемецкого определяется не столько факторами социальной принадлежности, сколько конкретными условиями коммуникативной ситуации, коммуникативными потребностями и знанием диалекта. Последнее значительно детерминировано внеязыковыми факторами. Вместе с тем изучение самой речи и материалы анкетирования показали, что наибольшую функциональную стабильность имеют разновидности обиходно-разговорного языка, основанного на верхненемецкой лингвистической системе, что, в свою очередь, равно как и стремление основной группы опрошенных говорить на литературном языке (что еще сильно ситуативно обусловлено), свидетельствует о значительном продвижении языкового употребления в сторону «вершины» социально-функциональной структуры языка.

Говоря о современных немецких диалектах, И. Шильдт подчеркивает, что в принципе их судьба в качестве самостоятельной формы существования языка предрешена. В настоящее время они еще имеют собственную, хотя и ограниченную, сферу использования, но под влиянием социально-экономических факторов она постепенно все более сокращается. Однако употребление диалектов в ГДР не является, в противоположность буржуазному классовому обществу, суррогатом взамен не усвоенного литературного языка [16]. Эти оценки в полной мере соответствуют языковой ситуации на севере ГДР в области распространения нижненемецких диалектов, что было показано на примере региона судостроительной верфи Рехлин в Мекленбурге.

ЛИТЕРАТУРА

1. Семенов И. И. Из истории функционально-стилистических дифференциаций немецкого литературного языка. М., 1972, с. 69.
2. Engel U. Die Auflösung der Mundart.— Muttersprache, 1961, Hf. 5, S. 129.
3. Niederdeutsch heute. Kenntnisse, Erfahrungen, Meinungen. Bearb. von Schuppenhauer C. Leer, 1976.
4. Langner H. Sprachschichten und soziale Schichten.— Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 1974. Bd. 27, Hf. 1—3.

5. Домашнев А. И. О формах проявления современного немецкого языка.— В кн.: Проблемы ареальных контактов и социолингвистики. Л., 1978, с. 27.
6. Lindow W. Plattdeutsch in Niedersachsen. Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage.— Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, 1978, S. 5—8.
7. Wesche H. Das heutige Plattdeutsch und seine Entwicklungstendenzen und-möglichkeiten.— Niederdeutsches Jahrbuch, 1962, S. 159.
8. Чемо́данов Н. С. В борьбе за материалистическое языкознание.— В кн.: Актуальные проблемы языкознания ГДР. М., 1979, с. 9.
9. Wesche H. Die Lage des Niederdeutschen in Vergangenheit und Gegenwart. Überlegungen zu der Gründung eines Niederdeutschen Instituts. Bremen, 1972, S. 11.
10. Wesche H. Die Lage der Mundarten in Niedersachsen.— In: Hart, warr nich mööd. Festschrift für Ch. Boek. Hamburg, 1960, S. 283.
11. Langner H. Entwicklungen im Gefüge der Existenzformen der deutschen Sprache.— Deutschunterricht, 1975, Hf. 4, S. 244.
12. Dahl E.-S. Interferenz und Alternanz — zwei Typen der Sprachmischung im Norden der DDR.— In: Aktuelle Probleme der sprachlichen Kommunikation. Berlin, 1974, S. 368—369.
13. Gernentz H. J. Die kommunikative Funktion der niederdeutschen Mundart und der hochdeutschen Umgangssprache im Norden der DDR unter besonderer Berücksichtigung der Interferenz und der Alternanz zwischen diesen beiden sprachlichen Existenzformen.— Studia Germanica Gadensia, 1974, Bd. XV, S. 241.
14. Hasselbach K.-H. Tendenzen neuerer Mundartentwicklung. Eine sprachsoziologische Analyse jüngerer Erscheinungen in den Mundarten des zentralen Vogelbergs.— ZfdPh, 1975, Hf. 1, S. 109.
15. Лангнер Х. Пласты языка и социальные слои. К вопросу о влиянии социальных факторов на языковое употребление.— В кн.: Актуальные проблемы языкознания ГДР. М., 1979, с. 112.
16. Schildt J. Abriß der Geschichte der deutschen Sprache. Berlin, 1976, S. 199.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

БРАГИНА А. А.

НАБЛЮДЕНИЯ НАД КАТЕГОРИЕЙ РОДА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*Памяти Михаила Яковлевича Немировского*

В 1978 г. была опубликована книга Г. И. Рожковой «Очерки практической грамматики русского языка». В ней не только выделены трудности «усвоения категории рода» [1, с. 17], но и поставлен очень важный в речевой практике вопрос: почему названия лиц мужского пола в одних случаях употребляются и как названия лиц женского пола, в других — «...строго закреплены за родовым показателем и не могут ни при каких условиях взаимозаменяться...» [1, с. 22].

Остановимся на вопросе («почему?») и постараемся, по возможности, разобраться в этих, на первый взгляд, противоречивых фактах современного русского языка¹.

1. Грамматическая категория рода не универсальна. Но «... нет в мире ни одного языка, где обозначение пола не могло бы получить того или иного языкового выражения» [3, с. 216]. В языках, имеющих грамматическую категорию рода, это обозначение пола, т. е. семантический род (sexus), взаимодействует с грамматической категорией рода (genus). Взаимодействие же лексической семантики и грамматики в области рода для современного состояния языка не всегда достаточно прозрачно, что и создает дополнительные трудности в процессе изучения языков.

Стали давно крылатыми слова А. Мейе о том, что грамматическая категория рода «наименее логичная и самая неожиданная из категорий» (*l'une des catégories les moins logiques et les plus inattendues*)². Однако именно нелогичное, не поддающееся объяснению привлекает внимание. Логико-семантическое толкование таких фактов А. А. Потехина расценил как «...произвольное признание целесообразности в факте, который сам по себе непонятен» [7].

В этих непонятных фактах мы обнаруживаем своеобразный конфликт «между вещественным содержанием имени и его родовым грамматическим показателем» [8].

Сравним, как осмыслиется грамматическая категория рода в ярком противопоставлении понятию пола в одном из художественных текстов: у Поспитовичей «был род, а пола не было, словно у неодушевленных предметов, таких, например, как *гайка*, *сосна* или *полка*. Разница состояла

¹ Большой конкретный материал см. в новейшей публикации [1-].

² См. главу о категории рода в книге [4] и обзор работ, посвященных категории рода, и их анализ [5]. Из новых работ см. интересные замечания в книге [6].

только в том, что никто и никогда не сможет доказать, почему *гайка* называется *гайкой*, а не *гайком*, почему *сосна* женского рода, а *кедр* мужского, почему *среда* — это она, а *четверг* — он, где-то и когда-то так повелось, вот и все; у Поспеловичей же дело обстояло иначе — они как будто сами, по собственному желанию, после долгих размышлений и подсчетов присвоили себе грамматический род и отказались от пола» (С. Залыгин, Южно-американский вариант).

Однако говорящий на родном языке обычно не замечает ни конфликта, ни нелогичности категории рода. Противоречие «раскрывается» при сравнении с чужим языком. Почему *рожь*, *ячмень*, *пшеница* — слова одной семантической группы — имеют разные категории рода? Этот вопрос занимает француза или немца, изучающих русский язык, по аналогичная пестрота выражения категорий рода в родном языке не привлекает, как правило, внимания. Ср.: русск. *рожь*, жен. род — нем. *der Roggen*, муж. род — франц. *le seigle*, муж. род; русск. *ячмень*, муж. род — нем. *die Gerste*, жен. род — франц. *la orge*, жен. род.; русск. *пшеница*, жен. род — нем. *der Weizen*, муж. род — франц. *le froment, le blé*, муж. род. Традиционная «нелогичность» рода не возбуждает ни вопроса, ни недоумения, обычно до той поры, пока не возникает непосредственной соотнесенности категорий рода (*genus*) и пола (*sexus*).

Если особо выделить образный прием персонификации, метафоризации, то можно вполне определенно сказать, что содержание неодушевленных имен существительных теперь не нуждается ни в какой родовой характеристике. Она обязательна грамматически, как согласовательная, словоизменятельная категория и поэтому ее формальное выражение — падежные флексии — являются достаточно четким маркером.

Иное дело имена одушевленные. Здесь мысль, казалось бы, всегда сосредоточена на роде. Грамматическая категория рода для этих имен не является нелогичной. Как правило, она логична. Грамматический род обычно совпадает с естественным родом-полом. Между грамматическим родом и вещественным содержанием слова, на первый взгляд, нет конфликта. Однако этот желанный параллелизм и обычная логичность категории рода в одушевленных существительных имеет свои отступления, типичные для современного русского языка.

Грамматическая оформленность в каждом отдельном языке определяется грамматической системой всего языка в целом и тем историческим путем, который прошел данный язык [9]. Категория рода исторически обновляется как бы на разных принципах: родовая классификация пересекается с классификацией по признаку одушевленности или неодушевленности [10; 2, с. 88—95]. И если для имен неодушевленных категория рода в современном русском языке — явление грамматическое, то для одушевленных имен категория рода обусловлена и грамматически, и экстралингвистически, т. е. соотнесена с полом, с определенными требованиями как-то обозначить действующих лиц. Как известно, в современном русском языке существуют разные по форме и по осмыслению родовые категории.

Для существительных одушевленных следует выделить три основные группы: 1) неподвижные наименования (*отец — мать, сын — дочь*); 2) подвижные наименования (*ткач — ткачиха, учитель — учительница*); 3) имена общего рода (*сирота, плакса*). На современном этапе развития языка имена второй и третьей групп своеобразно переплетаются. Переплетение начинается с распространения имен мужского рода на женский. При этом выделяется особая группа имен, как например, *модник — модница, соученик — соученица, родственник — родственница*, а также названия национальностей (*грузин — грузинка*) или названия по месту жи-

тельства (*москвич* — *москвичка*). Эта группа имеет свое специфическое отличие: названия лиц мужского и женского пола строго разграничены, здесь нет возможности замены одного наименования другим парным именем [1, с. 22].

Почему? Эта особенность одушевленных имен, вероятно, обусловлена категорией лица, получившей большое значение и особое грамматическое выражение в период формирования субъектно-объектного строя предложения [11, с. 182]. В именах существительных выделялись те наименования, которые могли обозначать «...активного человека, подлинного субъекта действия...» в противоположность «...всем остальным у» [11, с. 182]. Существовавшая в тот период система склонения не различала именительный субъекта и винительный объект, что обусловило дифференцирующий родительный объект для действующего лица мужского рода. «Можно думать, что род.-вин. пад. прежде всего закреплялся в древнерусском в категории имен собственных, названий лиц мужского пола» [11, с. 184; 12]. Заметим, что семантика действующего лица была здесь определяющей, если обратить внимание на сохраняющиеся фразеологизмы: *выйти замуж*, *выйти в люди*, *идти в гости* или аналогичное новое образование *записаться в доноры*, *принять в пионеры* и т. п. Одушевленные имена (*муж*, *люди*, *гости*, *доноры*, *пионеры*) не имеют в этих сочетаниях значения действующего лица и сохраняют старую форму винительного объекта.

Д. Н. Шмелев в подобных сочетаниях выделяет «... значение присоединения или причисления кого-то к определенной категории лиц, причем главным образом, выделенных по положению, должности, профессии, званию, но также и по внутренним и внешним качествам и по отношению к другим лицам...» [13].

В перечисленных значениях отсутствует только значение действующего лица, обусловившее, если следовать Л. П. Якубинскому, наиболее яркий и постоянный признак категории одушевленности — родительственно-винительный падеж субъектно-объектного выражения.

Значение действующего лица поддерживает ситуативную мотивированность в колеблющихся формах имен — то одушевленных, то неодушевленных — *спутник*, *робот*, *лицо*, *личность*, *персонаж* или имен с суффиксом действующего лица *-тель* для наименования неодушевленных предметов. Ср.: *выявить подлинные действующие лица исторической мелодрамы* (типы, характеры) и *исключила из своих рядов раскольнических лиц* (живых, действующих лиц); *узнаешь персонажи известных произведений* (образ, тип, характер) и *знает своих персонажей* (живых действующих лиц). Или ср. колебания в формах род.-вин. падежа имен с суффиксом действующего лица *-тель*: *множитель*, *делитель*, *миноискатель*, *иглодержатель*, *выключатель*, *обогреватель*, *возбудитель*. Значение действующего лица в суффиксе *-тель* часто вступает в конфликт с вещественным содержанием в новых наименованиях, данных неодушевленным конкретным предметам. Форма слова с суффиксом *-тель* как бы удерживает род.-вин. форму действующего лица (одушевленного имени): *открыл возбудителя* (туберкулеза) (см. фиксацию вариантных форм [2, с. 80—94]; ср. также [14, 15, 16, 17].

Особая семантика категории действующего лица проявляется не только в падежных формах, но и функционально.

Наименования мужского рода распространяются на лиц женского пола, когда главным значением в речевой ситуации является значение действующего же лица, а род-пол (*sexus*) не обусловлен характером самой информации. Ср. в современном русском языке новые наименования *мастер*, *оператор* *машинного доения* и более старые специальные наименования *профессор*, *доцент*, *кандидат*, *автор*: «Очень техничен Герсон,

автор первого гола» (Вечерняя Москва, 1960, 13 янв.; «Авторы „побед“ в Новой Зеландии Тамара Пресс и Олег Райко» (Комс. правда, 1966, 19 янв.). Имя *автор* относится и к автору-мужчине, и к автору-женщине. Нет родового различия, как обычно бывает в речи, и в таком представлении молодоженов — мужа и жены: «Я представил им Кротовых: *Катю* как нового *фототекаря*, а *Сергея* назвав *начинающим журналистом*» (А. Тоболяк, История одной любви).

2. Иные требования в языковом выражении предъявляет ситуация, в которой необходимо сообщение: мужчина или женщина является действующим, активным лицом? Новая эпоха в жизни советской женщины отразилась в образовании целого ряда профессиональных наименований, в которых специально отмечался пол: *колхозница*, *трактористка*, *летчица*, *парашютистка* [3, с. 218—219; 18, с. 99—100, 133—148, 168—271]. В более поздний период дифференциация *sexus* теряет свою актуальность. Сокращается частотность употребления слов, подобных *продащица*, *стрелочница*, и многих других наименований женского рода. Их заменяют имена мужского рода, недифференцированно обозначающие мужчин и женщин — специалистов одной и той же профессии. Ср.: «*Продавцы — консультанты горьковской фирмы „Детский мир“ Г. Антонова, М. Наумейкова, С. Шулькина, старший контролер М. Малышева...*» (Известия, 1980, 26 июля); Специальность *Людмилы Паршиной — пакетажист*» (Огонек, 1975, № 28, с. 17).

Однако когда ситуативно необходимо выделить, что действующее лицо — женщина, язык находит и лексические, и грамматические средства дифференциации. Такая потребность может возникнуть при обозначении профессии, новой и необычной для женщины: «Автор начинает свое повествование с *первой женщины — программистки Ады Лавлейс...*» (Новый мир, 1980, № 3, с. 283). Двойное выделение — лексическое *первая женщина* и грамматическое *программистка* — особо подчеркивает важность сообщаемой информации. Форма женского рода возникает и в обозначении новых профессий, присущих сугубо женскому труду: «...хорошо известно имя *резиноплетчицы Ирины Николаевны Евтеевой*» (Вечерняя Москва, 1980, 22 авг.).

Родовая дифференциация может быть обусловлена ситуацией. Приведем несколько примеров из современной художественной литературы.

Герои рассказа Ильи Зверева «Все лететь в космос» обедают в ресторане «Украина»: «*Официанты* во фраках, как фокусники из Сахалинской облфилармонии. Какой-то эскалоп, заказанный за красивое имя... *Официант* перевалил его на специально подогретую тарелочку... Все это было так не похоже на райцентровскую „Столую по типу ресторана“, где *подавальщицы* ходили в валенках». (И. Зверев, Все лететь в космос). *Официанты — официант — подавальщицы*: здесь противопоставление (мужчины — женщины) не только лексическое, но и грамматическое (словообразовательное, употреблен суффикс, типичный для имен женского рода — *подавальщицы*). Все это помогает создать общую контекстную антитезу.

Еще две ситуации. Происходит знакомство профессора и его новой сотрудницы: «— Дударова Майя... — Капулетти Джульетта, — поправил Энэн, — а я Завалишин Коля... — Я-то вас знаю. А я *ваша новая лаборантка*» (И. Грекова, Кафедра). В этой ситуации невозможно наименование мужского рода *лаборант*, которое разрушило бы шуточный дуэт. Еще более необходимой оказалась дифференциация для наименований *научный работник*, *кандидат исторических наук* в таком эпизоде: «В него, Юру, с ходу влюбилась *одна отдыхающая* из санатория Совета Министров. Она *научный работник*, кандидат исторических наук». И далее еще

раз поясняется: «женщина-кандидат исторических наук» (И. Зверев, Всем лететь в космос). Так разными способами — грамматическими (одна отдыхающая, она) и лексическими (женщина) — подчеркнуто и то, что действующее лицо — женщина, и то, что она специалист высокой квалификации.

Выделение рода-пола свойственно речевому обиходу, где важно не активно-действующее лицо вообще, а конкретное лицо — собеседник. Именно в таких ситуациях возникают разговорные формы с суффиксами *-ка* или *-ша*: «Сава пытался пройти просто так, под честное слово..., но старушки „швейцарки“ и под честное слово не пустили» (И. Зверев, Всем лететь в космос); «В заключение Казенов проинструктировал *девицу-регистраторшу*» (М. Барышев, Кривая роста); «И Сапожников узнал *библиотекарку* из Дома пионеров. *Пожилую женщину*, лет двадцати» (М. Анчаров, Самшитовый лес).

Любопытно отметить саму социальную обусловленность номинации — образование парного имени женского рода, а иногда и мужского от имени женского рода: «Артисты цирка оказались благодарными примерными учениками. Кстати среди них одна женщина. Так что филологам надо уже сейчас подумать над образованием *женского рода* от слова *клоун*» (Советская культура, 1962, 26 апреля).

Когда механизированный труд привлек мужчин к работе, обычно выполняемой женщиной, то от наименований женского рода были образованы имена мужского рода: *свинарка* — *свинарь*, *доярка* — *дойр*. Проследим мотивированность дифференциации наименований в небольшом тексте: «Костя Хлебников — *оператор машинного доения*... А что, собственно, собой представляет? Обыкновенный *дойр*... Мать его, Мария Андреевна, долгое время работала *дойркой*..., отговаривала сына. Даже пыталась воздействовать на самолюбие, говоря, что на фермах племзавода ни один мужчина не работает *дойром*. Зоотехником — пожалуйста. Заведующий фермой тоже мужчина, а *дойр*?.. не такие уж безобидные реплики *женщин-дойрок*... Но, к счастью, все позади. У него большие планы, хорошие перспективы» (Правда, 1980, 25 июля). Современная специальность обозначена — *оператор машинного доения*, а вот в минувшее время, когда сомнения в выборе женской профессии были достаточно серьезны, само обозначение профессии представляет оппозицию: *дойр-мужчина* — *дойрки-женщины*.

Еще в начале века И. А. Бодуэн де Куртенэ поставил вопрос о связи миросозерцания с языковой категорией рода. Ему принадлежит слова о том, что категория грамматического рода как бы все время напоминает: *memento sexus!* [19]. Знаменателен и вывод автора «Грамматического учения о слове» В. В. Виноградова: «Суть в том, что категория рода и теперь оказывает влияние на семантическую судьбу слова. Прежде всего, при отнесении или применения слова к лицу, при персонализации имени остро сказывается несоответствие рода и пола» [20].

Это несоответствие, казалось бы, легко может быть сведено на нет благодаря развитой словообразующей системе русского языка. Но в живом речевом потоке в образовании парных наименований не так уж редки своеобразные перебои. Именно это позволило одному из исследователей категории рода прийти к такому заключению: «В русском языке существует целый ряд суффиксов для обозначения лиц женского пола... И тем не менее затруднений в образовании названий лиц женского пола немало» [3, с. 218—219]. Нет парных параллелей для имен *пловец*, *борец*, *враг*, *товарищ*. Хотя и существуют старая форма *врагиня*, устаревшая и стилистически ограниченная *товарка*, новая, но также стилистически ограниченная — *пловчиха*, все же указанные М. Я. Немировским имена не имеют

и в наше время общепринятых параллелей, как и многие другие старые и новые наименования. Ср.: *физик, химик, геолог, сталевар, стеклодув, доменщик, капитан, кибернетик* и др. (возможные параллели просторечно: *физичка, химичка* «преподавательница физики, химии», *геологиня*, возможные литературные сочетания *женщина-капитан, женщина-геолог*.)

Вряд ли все же эти затруднения можно отнести к непосредствительно-стям современной словообразовательной системы. Как мы могли заметить, перебой в словообразовании и словоупотреблении — отсутствие или даже исчезновение из речевого обихода парного имени или, наоборот, образования такого имени — ситуативно и социально мотивированы.

Однако обозначение действующих лиц без различия пола — явление столь распространенное в русском языке, что получило уже особое определение: *маскулизм* — «употребление названий социально-активных лиц мужского пола для обозначения лиц женского пола» [21, 18, с. 272—296]. Семантика категории социально-активного лица (ср.: *деиствующего лица* у Л. П. Якубинского) не предполагает дифференциации *sexus*.

Вот почему возможна замена имени женского рода именем мужского рода в наименованиях профессий. Маскулизмы обозначают и лиц женского пола. Но если имя называет лицо по какому-либо признаку (*соученик* — *соученица, родственник* — *родственница, узбек* — *узбечка, москвич* — *москвичка*), то здесь необходима *sexus*-дифференциация, свои особые наименования для лиц женского пола. Замена этих наименований маскулизмами невозможна.

3. Для номинации лиц женского пола — действующих, активно социальных лиц — часто даже нет потребности в особых наименованиях. *Sexus*-дифференциация, если в этом есть необходимость, выражается, как мы могли видеть, ситуативно, контекстно, лексически и грамматически. В последнем случае передача рода-пола происходит с помощью самой же категории рода. Лексическое значение получает особое грамматическое оформление благодаря *двоиственности* и функций категории рода: словообразующей и словоизменяющей. Категория рода для имен существительных, как известно, фактор словообразующий. Определенные флексии и суффиксы оформляют группы имен определенного же рода — *genus*, а также пола — *sexus*. Но есть части речи — прилагательные, местоимения, порядковые числительные, современные формы глагола в прошедшем времени, для которых, как известно, категория рода — фактор словоизменяющий. С помощью этих частей речи и словоизменяющей категории рода и выражается категория рода-пола в маскулизмах.

Тот же грамматический способ выражения рода-пола присущ именам общего рода (*плакса, сирота, ханжа*). Тем самым, казалось бы, маскулизмы и слова общего рода совпадают в своем грамматическом оформлении. Но это только сходство по способу выражения, но не в самом выражении. Сходство может служить отправной точкой для установления различий. Выделить род-пол маскулизма может только предикат (глагол прошедшего времени): *хирург, химик* — *опытный химик, но хирург вошел — вошла, провел — провела опыт, операцию*. В то время как слова общего рода согласуются и с предикатом, и с определенным: *плакса, сирота* — *настоящая плакса сидела и редела*! — *настоящий плакса сидел и редел, круглая сирота жила одна — круглый сирота жил один*. Однако в живой речи возможно согласование, противоречащее норме, но позволяющее выделить признак конкретного лица — женщины или мужчины. Ср.: «Худая до бледности секретарь суда с пальцами, узизанными дешевенькими перстнями и кольцами, сидела в стороне... Судья мгновенно, без точек и запятых»

скороговоркой прочла короткое заявление» (В. Липатов, Повесть без названия, сюжета и конца...).

Грамматические различия выявляют различия семантические. Маскулизмы означают активно-действующее лицо (специалиста, профессионала), слова общего рода, как правило, означают действующее лицо по какому-либо признаку, т. е. «носителя оценочной характеристики»³. В этом случае различие рода-пола становится необходимым, ситуативно важным. Вот почему представляется правомерным воспринимать слова общего рода как родоизменяющиеся [22]. «Сущность грамматической категории общего рода состоит в том, что существительные общего рода в отличие от „родонеизменяющихся“, прикрепленных к одному определенному грамматическому роду, — слова „родоизменяющиеся“» [23, с. 116], они хранят «...потенциальные возможности выражения в контексте одного грамматического рода — мужского или женского...» [23, с. 117].

Следует выделить и способ выражения рода-пола в метафорических по происхождению наименованиях лиц мужского пола именами женского рода. Назовем эти слова феминизмами. О специфике употребления таких имен писал еще А. И. Соболевский [24]. Их согласование формально совпадает с согласованием маскулизмов: согласовательная категория рода только в предикате может обозначить истинный род-пол. Определение согласуется только по грамматическому роду имени: *мокрая курица, настоящая шляпа — не смож ничего сделать*.

Выделяя имена со словообразовательной и словоизменительной категорией рода, мы подошли к сложной проблеме формы слова. Можно ли считать самостоятельными словами парные имена существительные, отличающиеся лишь родо-половыми значениями? Или это только члены парадигмы одного и того же слова [см. 25, 26]. В. В. Виноградов в этом вопросе присоединяется к А. А. Шахматову, полагая, что парные существительные — разные слова. Однако В. В. Виноградов обращает внимание на «...три разных типа парных соотносительных по родо-половому признаку имен существительных в категории лица» [27]. Это типы: 1) *муж — жена*, 2) *учитель — учительница*, 3) *причудник — причудница*.

Если первые две группы бесспорно включают парные, но самостоятельные слова, то в третьей группе каждая пара ближе к формам одного слова. В. В. Виноградов предлагает сравнить: *Она была такой же привередницей, как и ее брат*, но невозможно сказать **Она была такой же учительницей, как и ее брат*. Попытаемся объяснить это своеобразие.

Слова третьего типа (в классификации В. В. Виноградова) сообщают оценочную характеристику лица, а не называют собственно активно-действующее лицо, как слова первого и второго типов. Категория рода в парах, подобных *озорник — озорница, причудник — причудница*, формально словообразующая, но по семантике скорее словоизменяющая. Формальное сходство со вторым типом (словообразующая категория рода) побеждено лексической семантикой слова. Категория рода по значению (не по форме) здесь словоизменительная, как у имен прилагательных, также сообщающих оценочную характеристику лица. Отсюда в согласовании сходство имен третьего типа с прилагательными: *она была привередницей, была красная и возбужденная, как и ее брат*.

Семантико-грамматическое сходство имен оценочной характеристики и имен прилагательных позволило А. В. Миртову сделать интересные наблюдения [28]. Выделив группу имен *Substantiva adjectiva*, которые, можно определить и как имена оценочной характеристики, А. В. Миртов

³ Профессиональные наименования типа *судья* имеют в своем значении оценочную характеристику.

обращает внимание на их особую функцию. Называть предметы, как известно, — это основная функция имен существительных; характеризовать предмет по признаку — это основная функция прилагательных. Изменная функция имен существительных меняет содержание грамматических категорий. Категория рода в именах оценочной характеристики (*Substantiva adjectiva*), отдаляясь от словообразовательной функции, приближается к словоизменительной функции. А с изменением сущности категории рода меняется грамматическое содержание парных имен оценочной характеристики: намечаются, например, своеобразные степени сравнения (*такая красавица, раскрасавица, кра—а—а—савица* или *архиплут, он больше мне друг* и т. п.), в сочетании с именами неодушевленных предметов теряется категория одушевленности (ср.: *вижу красавца-атлета и вижу красавцу-город*).

Интересно заметить, что и наименования из групп *Substantiva adjectiva* могут как бы терять род-пол (*sexus*), в слове или словосочетании выделяется семантика оценки, качества, как бы безотносительная, безразличная к роду-полу. Так во время спортивных состязаний на Олимпиаде-80 можно было слышать скандирование слова «*мо-лод-цы*» относительно состязающихся баскетболисток, гандболисток, хоккеисток на траве. Имя *молодец* — *молодцы*, обычно связываемое с мужчинами, соотнесено с женщинами. Еще один наглядный пример употребления сочетаний *своей парень, хороший парень* с выделенной оценочной семантикой и стертой категорией рода — «...подумав, она промолчала, опыт подсказывал ей, что так лучше, что и с Рыцарем иногда не мешает быть хорошим парнем» (С. Залыгин, Южно-американский вариант), «И друзьям он говорил, что мать у него *своей парень*» (И. Гофф, Советы ближних). Так «неучитываемая» категория рода-пола сравниваемых объектов, «опущенное» согласование (*она — хороший парень, мать — своей парень*) выдвигает в самом сравнении семантику качества, оценки (*хороший парень, своей парень*). Если имена со значением действующего лица могут уравнивать категории рода-пола (*мастер, оператор, кандидат наук*), то имена со значением оценки в своем функционировании словно безразличны к категории рода-пола (*она — парень*).

Как видим, категория рода, та или иная ее форма, в современном русском языке мотивирована. Отсутствие семантической мотивации типично лишь для заимствованных слов, еще не ассимилированных русским языком, еще чужих. Здесь формальное согласование, скрытый конфликт между русифицированной формой и вещественным содержанием слова только подчеркивает инородность чужого слова. «Мы посидели с *Прочкиными мутером* и *фатером*. Окончательно выяснили отношения» (С. Залыгин, Южно-американский вариант). *Мутер* и *фатер* «мать и отец» употреблены как слова одного и того же грамматического рода (мужской род на твердый согласный), что поддерживает ироничный тон сообщения. Ассимилированные же чужие слова подчиняются семантико-грамматическим требованиям русского языка, как например, слова со значением активно-действующего лица: *мастер, оператор* и т. п.

4. Уже давно один из исследователей, Эд. Вольтер, заметил: «В отношении к полу (*sexus*) род грамматический (*genus*) есть распространение естественного рода на все предметы, дающие, по выражению Штейнталя, нашим представлениям пластическую форму, жизнь, пол и индивидуальность» [29]. Это замечание позволяет оценить силу экстралингвистических факторов, стремление соотнести с естественным родом абстрагированные грамматические категории, наполнить их живым логически прозрачным содержанием.

Рассуждая о грамматическом роде, А. А. Потехня заключал: «О том,

имеет ли род смысл, можно судить лишь по тем случаям, где мысли дана возможность на нем сосредоточиться, т. е. по произведениям поэтическим» [30]. Остановимся на этой мысли ученого несколько подробнее.

Ю. Нагибин стремится передать читателю свои ассоциативные представления: *Инесса — кентавр*, но мысль о *кентавре* как бы споткнулась о род имени *Инесса* — «женщина». И писатель делает такую оговорку: «В гнедом шерстяном туго обтягивающем платье, с могучим крупом и крепкими ногами, *Инесса* наводила на мысль, что *кентавр* не обязательно мужского пола» (Ю. Нагибин, Где-то возле консерватории). Однако, когда речь идет не о метафорической замене (*Инесса — кентавр*), а об оценочной характеристике образа, поступка, действия, то в ассоциативных связях сравниваемых имен категория рода может не учитываться. В том же рассказе Нагибина читаем: «Он должен найти ее так, как нашел далеким февральским днем, когда она [Таня] воробьем родилась из морозно синеющего воздуха (Ю. Нагибин, Где-то возле консерватории) (она — Таня — как воробей). Еще резче выступает безразличие к грамматическому роду в такой информации, напечатанной на русском языке о женщине-охотнике: «Бабушка-кедр... Смолоду прозвали ее кедром, за то, что наотрез отказалась выйти замуж на нелюбимого, ослушалась — неслыханное дело — старших» (М. Анисимова, Бабушка-кедр) (она — бабушка — как кедр). «На прием его записывала сестра, маленькая и компактная, как райское яблочко» (И. Грекова, Кафедра). Или еще такой пример с разительным смещением категорий рода-пола: «Фигура этого человека уже мелькала передо мной... Он был одним из тех людей, что держатся в жизни лишь привычкою жить... Мотылек, моль» (Ю. Нагибин, Итальянские тетради. Кондотьер). Этот человек — он — как мотылек, моль. Сравнение-метафора не замечает имени, но позволяет раскрыть характер, дать оценку лицу. Семантика качества подвывает семантику рода-пола. Следовательно, можно сказать, что категория рода принимается в расчет, когда есть взаимозаменяемость имен, прямая соотнесенность имени и сравнения (номинативная метафора). В сравнении, в оценочной характеристике поступка, действия какого-либо лица обычно не требуется согласования с родом-полом этого действующего лица (она — Таня — родилась воробьем «как воробей»).

Однако метафора может намеренно создать конфликт между грамматическим родом и вещественным содержанием слова (подразумеваемым лицом): «Они пришли к первой скрипке, той самой, которая более всех напугала Шульца... Первая скрипка сидела в халате в покойных креслах и едва привстала при виде посетителей» (В. А. Сологуб, История двух калаш). Первая скрипка — это скрипач, но изменение рода (sexus) при помощи метафорической персонификации создает комический эффект. Так грамматическая категория рода превращается в одно из средств создания комической характеристики.

Когда возникает потребность замещения имени действующего лица именем-метафорой, то обычно ощутимо стремление к совпадению грамматического рода обоих имен («*Инесса* наводила на мысль, что *кентавр* не обязательно мужского пола»). Именно в таких случаях явно обнаруживается конфликт или согласие между вещественным содержанием слова и его грамматическим родом. Конфликт наиболее обнажен, когда метафорические имена, имена-символы переводятся с одного языка на другой. Семантическая несогласованность, неоднородность, пестрота грамматических показателей рода ведет к трансформации имен-метафор, нарушению метафорической символики [31, 32]. Тем не менее каждый язык ищет свои соответствия, свои параллели — и семантические, и грамматические. Героиню повести П. Лэне «Кружевница» зовут *Помм* «яблоко». По-фран-

цузски имя *la rotte* женского рода. Вещественное содержание и грамматический род не вступают в конфликт: она — героиня повести — *Помм* — *la rotte*. Русское слово *яблоко* при буквальном соответствии создает конфликт своей формой среднего рода. Замена имени невозможна: *Помм* «яблоко» символизирует естественность героини, ее близость к природе. Избежать конфликта помогает уменьшительная форма *яблочко*, поясняющая имя *Помм*. (В переводе Н. Кудрявцевой). Почему в этом случае нет противоречия между формой имени и его содержанием, хотя оно и среднего рода? *La rotte* — *Помм* — *яблочко* — совершается переход от женского рода французского слова к русскому слову среднего рода. Форма имени *яблочко* — ласкательная, она как бы принадлежит ребенку, для которого категория рода-пола (sexus) безразлична [см. об этом 20, с. 63, 71]. Так русский язык избегает противоречия формы и сохраняет семантику имени *Помм* (*la rotte* — *яблочко*). Ср. аналогичные уменьшительно-ласкательные формы собственных имен *Верунчик*, *Ирунчик* и т. п., в которых несоответствие грамматического рода полу создает атмосферу детскости, особой ласки: «... все сместилось... [закрутился кинематограф: Никандров..., Аркашка с *Ирунчиком*, Мансуров-Курильский; старуха до сих пор ничего не поняла... Так, кажется, думала *Ирунчик*» (С. Залыгин, Южно-американский вариант).

Л. П. Якубинский обращает наше внимание на то, что «... первоначально система склонения и деклинационные группы, составлявшие ее костяк, не имели никакого отношения к категории рода. Но в дальнейшем дело меняется: категория рода тесно сплетается с типами склонения ...» [11, с. 168]. И далее очень важно в практике преподавания русского языка заключение: «Мы видим также, как неправы те, кто считает, что в истории русского языка категория рода сходит на нет. Она, действительно, теряет свое первоначальное содержание, но, сплетаясь с исчезающей системой древних деклинационных групп, она как бы переформирует ее, конструируя этим самым современную систему склонения, формируя современные типы склонения» [11, с. 169].

Попытаемся обобщить результаты наблюдений. На первый взгляд, грамматическая категория рода представляется в современном русском языке нелогичной. Однако история языка раскрывает путь развития этой грамматической категории, охватывающей разные лексико-семантические и грамматические явления. Значение лица и значение оценочной характеристики объясняют формальную пестроту в языковом выражении категории рода для одушевленных имен.

Исторически обусловленное разнообразие форм и функций категории рода в современном русском языке мотивировано и поддержано семантикой. Экстралингвистический план активно влияет на осмысление категории рода, на ее словообразовательные и словоизменительные возможности.

Категория рода оказывается своеобразным зеркалом социальных перемен и образных ассоциаций. Значение слова, его грамматическое оформление и функция взаимообусловлены. Парные имена одушевленные особенно наглядно демонстрируют функциональную живость категории рода в современном русском языке.

Исторический взгляд на грамматическую категорию рода как бы возвращает ей логичность, а современная жизнь общества наполняет ее живым содержанием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рожкова Г. И. Очерки практической грамматики русского языка. М., 1978.
2. Цуквич В. А. Существительные одушевленные и неодушевленные. в современном русском языке (Норма и тенденция). — ВЯ, 1980, № 4.

3. Немировский М. Я. Способы обозначения пола в языках мира.— В кн.: Памяти акад. Н. Я. Марра (1864—1934). М.— Л., 1938.
4. Meillet A. Linguistique historique et linguistique générale. 2 éd. Paris, 1926, p. 199—212.
5. Fodor I. The origin of grammatical gender.— *Lingua*, 1959, v. VIII, 1—2.
6. Семереньи О. Введение в сравнительное языковедение. М., 1980, с. 167—168.
7. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. 2-е изд. Т. I—II, Харьков, 1888, с. 31.
8. Будагов Р. А. Введение в науку о языке. 2-е изд. М., 1965, с. 251.
9. Будагов Р. А. К теории грамматики и языковых контактов.— ВЯ, 1979, № 2, с. 14.
10. Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей). Л., 1949, с. 215—216, 262.
11. Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953.
12. Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972, с. 401—404.
13. Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977, с. 221.
14. Панфилов А. К. Как склоняется слово *персонаж*? — Вопросы культуры речи, 1966, № 7.
15. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика. 2-е изд. Т. II, М., 1863, с. 187.
16. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. 2-е изд. Л., 1941, с. 446.
17. Чернышев В. И. Избранные труды. Т. I, М., 1970, с. 499.
18. Протченко И. Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. М., 1975.
19. Бодуэн де Куртене И. А. Лингвистические заметки.— ЖМНП, 1900, СССXXXI, с. 369.
20. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.— Л., 1947, с. 63.
21. Богуславский А. Обозначение женщины названием мужского рода в русском языке.— *Kwartalnik instytutu polsko — radzieckiego*, 1954, N 4, с. 120.
22. Шанская Т. В. Слова общего рода в русском языке.— РЯШ, 1959, № 5, с. 12.
23. Молдован И. Ф. О существительных общего рода.— В кн.: Вопросы практической лексикографии, Л., 1979, с. 116—117.
24. Соболевский А. И.— ЖМНП, 1882, ноябрь, с. 146 — рец. на кн.: Вольтер Эд., Разыскания по вопросу о грамматическом роде.
25. Щерба Л. В. Некоторые выводы из моих диалектологических лужицких наблюдений. Пг., 1915.
26. Шахматов А. А. Заметки по истории лужицких языков.— Изв. ОРЯС, 1916, т. XXI, кн. 2, с. 248.
27. Виноградов В. В. О формах слова.— В кн.: Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975, с. 40.
28. Миртов А. В. Родозменяемые существительные *Substantiva adjectiva*.— РЯШ, 1946, № 1.
29. Вольтер Эд. Разыскания по вопросу о грамматическом роде. СПб., 1882, с. 3.
30. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. III. Харьков, 1899, с. 616.
31. Щерба Л. В. Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. «Сосна» Лермонтова в сравнении с немецким прототипом.— В кн.: Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957, с. 97—106.
32. Смольников А. Восемь строк Гейне.— Литературная учеба, 1979, № 2.

ДАШКЕВИЧ Я. Р.

АРМЯНО-КЫПЧАКСКИЙ ЯЗЫК XV—XVII вв.
В ОСВЕЩЕНИИ СОВРЕМЕННОКОВ(Об использовании экстралингвистических данных
для истории тюркских языков)

Значительные успехи армяно-кыпчаковедения, столь ощутимые на протяжении последних двух десятилетий, заметно контрастируют с отсутствием сведений об армяно-кыпчакском языке в тюркологии конца XIX — начала XX вв. В связи с этим укрепилось несколько превратное представление о самом языке и путях его изучения. Казалось и кажется, что проблема исследования армяно-кыпчакского языка возникла только в последнее время как своеобразный *Deus ex machina*, что о языке этом решительно ничего не знали в предыдущих веках, что сам язык был чуть ли не секретным, а употребление его ограничивалось узким кругом осведомленных. И хотя этому поверхностному впечатлению противоречит значительное количество письменных памятников XVI—XVII вв. самых различных жанров, — армяно-кыпчакский язык приобрел ореол таинственности, который предстоит развеять современной тюркологии.

Несомненно, сам язык, его разнообразные памятники являются настоящей сокровищницей для тюркологов, изучающих историю западно-кыпчакских языков. Ответ на многие вопросы заключен в самом языке, исследование которого продвигается довольно быстро. Полностью осознавая это положение, нельзя, однако, игнорировать и тот факт (или, точнее, те многочисленные факты), что сведения о называемом сейчас нами армяно-кыпчакском языке проникали в литературу, нарративные и документальные источники еще в XV—XVII вв. Эти сведения имеют значительную ценность для современных исследователей. Если продолжать в плане таинственности — эти экстралингвистические данные помогают разрешить загадку языка, создают новые аспекты проблемы, заключающейся в необходимости определить функции армяно-кыпчакского языка, установить его генетические связи с другими тюркскими языками на фоне языковой ситуации XV—XVII вв. в Восточной Европе.

В литературе делались попытки собрать воедино высказывания авторов XVII в. об армяно-кыпчакском языке. Необходимо упомянуть в этом плане работы Э. Трыарского [74, с. 21—26] и Э. Щюца [72, с. 146—147]. На протяжении последнего десятилетия удалось значительно расширить источниковую базу, включить в поле зрения данные XV—XVI вв. В нашем распоряжении имеется более 40 сообщений, заключенных в источниках разных типов. Они позволяют более подробно рассмотреть функцию языка в среде армянских колоний Украины. Для того, чтобы избежать впечатления недосказанности, мы излагаем довольно подробно содержание всех этих сведений, одновременно считая, что таким образом будет достаточно наглядно показано значение экстралингвистических данных для истории тюркских языков вообще.

Неармянские источники

Самым ранним упоминанием о тюркофонии армян Северного Причерноморья можно считать сообщение французского миссионера Иоанна Галлифонского (ум. после 1412), известного посла французского короля Карла VI к Тимуру, отметившего в 1404 г. в «Книге познания земли», что большинство христиан этой области — среди них греки, много армян, черкесы, готы, таты, валахи, украинцы, леки, асы, аланы, авары, кумыки и др. — говорит на татарском языке [38, с. 121].

Об идентичности языков армян и татар писал — в своеобразно трансформированном виде — видный польский историк Ян Длугош (1415—1480). Он отметил в «Истории Польши» (в параграфе «Начало татарского народа и каким образом возросло его могущество», составленном в 60-х гг. XV в.), что «род и народ татар ведет начало от армян, с которыми они тождественны как лицом, так и языком» [34, с. 125]. Это высказывание нужно расценивать как наиболее раннее свидетельство пребывания армяно-тюркофонов на Руси. Оно примерно на 40—50 лет опережает известные памятники армяно-кыпчакской письменности.

В XVI в. вопрос о разговорном и, особенно, литургическом языке армян-поселенцев начинает привлекать внимание польских, а также других авторов. Стимулирующим моментом являлись попытки подчинить армяно-григорианскую церковь на Украине римскому папе.

Итальянский церковный деятель и дипломат Антонио-Мария Грациани (1537—1611) встретился — в качестве секретаря кардинала Дж. Ф. Коммендоне, объезжавшего Польшу и Украину — с армянами во Львове в 1564 г. Под свежим впечатлением от встречи он записал, что армяне «имеют кодексы и церковные песнопения, написанные армянскими буквами и [армянским] языком, однако их читают только некоторые священники. Сами вообще говорят на скифском и турецком языках» [36, с. 189]. Под скифским языком в данном случае нужно понимать татарский (что соответствовало культурно-историческим представлениям XVI—XVII вв.). Именно так понимал данное определение известный французский писатель и историк Валентин-Эспри Флешье, переведивший на французский язык латинский оригинал Грациани — цитируемое место он перевел как «говорят на турецком и татарском языках» [37, с. 204].

У представителя польского католического духовенства, львовского архиепископа Яна-Дмитрия Соликовского (1539—1603), обнаруживаем определенную осведомленность о мультилингвизме армян. В составленных ранее 1597 г. мемуарах «Краткие заметки о польских делах» он подчеркивал, что армяне Львова имеют «язык общий с турками» [53, с. 108]. В предложенных им же условиях компромисса между армянским и польским населением Львова (1597 г.) Соликовский устанавливал, что «все господа армяне понимают турецкий язык» и это облегчает им крупную торговлю с Турцией [48, с. 249]. Из этих сведений о языке Соликовский делал далеко идущие выводы. В проекте компромисса он утверждал, что армяне не могут иметь прав, равных с поляками, так как «прибыли со своим другим языком, которого нет в Европе, а только в Азии». Тогда же он указал, что армянам предполагается «сохранить все обряды на ихнем языке» [48, с. 249]. О том, что армяне во время литургии употребляют свой язык, архиепископ докладывал Риму в 1600 г. [49, с. 25]. В общности языка армян и турок Соликовский видел большую политическую опасность для Львова — армяне при поддержке турок могли бы в скором времени овладеть городом... [53, с. 108].

В своих рассуждениях Соликовский отразил идеи, господствовавшие в среде польского населения Львова. Ведь еще в 1578 г. городской совет

обращался к королю Стефану Баторию, требуя отмены равноправия армян, которым нельзя давать одинаковые права с поляками из-за различия в языке [29, с. 80].

Отзвуки тюркоязычности армян достигли русской литературы. В «Слове о арменех» (включенном, например, в состав рукописи конца XVI в. «Обыходник столовый и чинов разных») указывается, что армяне «с бесурменами бесурмени, с татарове татарове» [63, с. 2].

Значительный интерес — с точки зрения явных аналогий — вызывает сообщение о тюркофонии армян Турции в XVI в. Видный итальянский географ Джованни Ботеро (1533—1617) в своих «Всеобщих реляциях» (1591 г.) записал, что «армяне совершают богослужение на своем языке, между тем как в разных местностях говорят на различных языках, но в Константинополе они настолько привыкли к турецкому языку, что с большим трудом произносят Отче наш по-армянски» [30, с. 478].

Тем не менее необходимо отметить, что на тюркофонии армян Украины в XVI в. (столь хорошо подтверждаемую — начиная с 20-х гг. этого столетия — письменными памятниками [62, с. 160, 170]) не обратили внимания другие современники, писавшие о языке армян Украины.

Известный польский ученый Матвей Меховский (1459—1523) упомянул в 1517 г. о том, что армяне в своих церквях употребляют армянский язык [42, л. eiii]. К папскому дипломату Фульвио Руджьери проникли в 1565 г. только сведения о том, что армяне на Украине говорят собственным языком [71, с. 146]. Деятель польской реформации Ян Ласицкий (1534 — после 1599) писал в 1574—1580 гг. о том, что армяне совершают богослужение на родном языке [39, с. 59]. Видный польский историк Марцин Кромер (1512—1589) подчеркивал в 1577 г., что армяне говорят на своем языке, а также по-польски и по-украински — и свой собственный язык употребляют во время богослужений [32, с. 51].

Гораздо больше разнообразных сведений об армяно-кыпчакском языке сохранилось у польских, немецких, французских, голландских и других авторов XVII в.

Львовский немецкий хронист Иоганн Альнцех (ум. 1636), описывая в 1603—1605 гг. Львов, писал, что местные армяне отправляют богослужения в церкви на родном языке, однако «дома говорят исключительно по-татарски» [27, с. 20].

Известный польский философ Шимон Петрицы (1554—1626) в своем комментарии к переводу «Политики» Аристотеля (1605 г.) посвятил языку армян отдельный абзац, озаглавленный «Армяне употребляют языческий язык». Приводим цитату из него: «Те, которые употребляют язык врагов христиан, например, турок, татар и язычников, более подозрительны, чем те, которые не употребляют этого языка [...] Однако армяне употребляют язык турецкий, татарский, языческий, восхищаются им, между собой всегда на нем говорят, учатся ему нарочно еще в детстве. Не знают свой собственный армянский язык, [знают его] несовершенно и учатся ему в школе, как мы латинскому и греческому». В другом месте этого же сочинения Петрицы писал, что «армяне [...] поддерживают дружбу с нашими врагами, например, с турками, из-за идентичности языка» и подчеркивал, что армяне сохраняют язык, принесенный извне [46, с. СXXX, СXXXIII].

Немецкий географ Мартин Цейллер (1581—1661) в «Новом описании королевства Польши и Великого княжества Литовского» подчеркивал в 1657 г., что во Львове «язык армян общий с турецким» [58, с. 148]. Другой историк и географ голландец Андреас Целларий в подобном же «Новейшем описании» упомянул в 1659 г. о том, что армяне Украины «говорят на языке, соответствующем турецкому» [31, с. 315].

Французский востоковед, префект армянской коллегии ордена театинцев во Львове, в дальнейшем французский посланник в Иране Луи-Мари Пиду де Сент-Олон (1637—1717), который был неплохим языковедом, провел в среде армян Украины 15 лет (1663—1678 г.). Эти годы он описал в двух отчетах: «Краткая реляция о состоянии, начале и развитии апостольской миссии к армянам Польши и Валахии и соседних стран» (1669 г.) и «Сжатая реляция об объединении армяно-польского народа со святой римской церковью» (1676 г.)¹. Пиду неоднократно касался вопроса о разговорном языке, который он называл турецким или татарским, а также скифским в смысле татарского. В 1665—1669 гг. он упомянул армянского священника, львовянина Г. Бальзама, который «свободно владел турецким, татарским, латинским и книжным армянским» [47, с. 16, 37]. В 1666 г. он писал о монашке Марии в Каменце-Подольском, которая «говорила не только на родных языках, т. е. украинском и татарском, но и на итальянском и армянском». И. Балтароглу, уроженец Кафы, в 1668 г. «читал проповеди в церкви по-турецки», а К. Муратович из Каменца-Подольского, упомянутый в 1669 г., «знал татарский, украинский, польский и латинский языки» [47, с. 70, 109, 111].

В 1666 г. приехавшего в Каменец львовского армянского архиепископа Н. Торосовича местные армяне приветствовали «многочисленными речами по-татарски и по-польски» [48, с. 151]. Для того, чтобы огласить в каменецких церквях послание Погоса Тохатеци, нвирака эчмиадзинского католикоса, написанное в Килии по-армянски, архиепископ вынужден был перевести его в 1666 г. «на турецкий язык» [47, с. 77]. В армянской коллегии во Львове поочередно назначались дни, во время которых говорили исключительно «итальянским, латинским, турецким или обыкновенным армянским языком» [48, с. 209].

Пиду указывал на истоки этого явления. Он писал о том, что в древнейших армянских колониях на Руси (т. е. в Киеве, Владимире, Луцке, Львове, Каменце, Снятыне и Галиче), основанных армянами — выходцами из Крыма, «руководители армян до сих пор основательно знают скифский язык», а в более новых колониях «знают только обыкновенный армянский язык, отличающийся от армянского письменного языка почти так же, как итальянский от латыни» [48, с. 130].

Благодаря встрече с Пиду во Львове в 1670 г. фризийский путешественник и дипломат на французской службе Ульрих фон Вердум (1632—1681) записал в своем журнале, что среди армян Украины «нет почти никого, кто понимал бы древний письменный армянский язык, за исключением нескольких [армян], проживающих в Язловце [...], которые будто бы только сто лет тому назад прибыли из Армении. Их повседневный язык перемешан с множеством татарских слов» [56, с. 81].

Из этого же круга — миссионеров-театинцев — вышел отчет за 1679 г. префекта армянской коллегии во Львове итальянца Франческо Бонезана (1649—1709). В нем отмечено, что два воспитанника коллегии из Львова и два из Каменца знали турецкий язык [68, с. 94].

Ирландский мемуарист Бернард О'Коннор (1660—1698) располагал в 1698 г. только сведениями о том, что богослужения у армян совершаются на родном языке [44, с. 460]. Это, впрочем, вполне соответствовало истине — в это время армяно-кыпчакский язык был уже мертв.

¹ «Сжатая реляция» анонимна; принимаем авторство Пиду вслед за Г. Петровичем [71, с. XVII].

Армянские источники

Несколько важных подробностей о языке (независимо от грамматических и лексикографических пособий, созданных самими армянами для практического овладения армяно-кыпчакским языком) сообщили также армянские авторы XVI—XVII вв.

В колофонах армяно-кыпчакских рукописей XVI в. попеременно употребляются два названия языка — кыпчакский и татарский. Оба названия применялись как адекватные.

Так называемый «Львовский судебник» 1519 г. (кодекс, в соответствии с которым совершалось судопроизводство в армянских колониях) был переведен — как отмечается в колофоне — на татарский (*tatarč'a*) [40, с. 159]. Священник Микаел, сын Кости, упоминает в составленном в 1562 г. во Львове колофоне «Посланий апостола Павла», что перевод сделан на кыпчакский (*xarč'ak*) [70, с. 96]. Неизвестный копиист, изготoвивший в 1568 г. во Львове список «Львовского судебного», писал, что перевод осуществлен на татарский [33, с. 15, 73]. В колофоне саркавага Лусика, помещенном в «Псалтыри» 1581 г., указано, что перевод сделан на кыпчакский [18, л. 124 об.]. Саркаваг Андрий переписал в 1591 г. во Львове календарь и отметил, что рукопись составлена по-кыпчакски [55, с. 129, 141]. На еще одной недатированной (как кажется) «Псалтыри» того же времени в анонимном колофоне язык книги определяется как татарский [33, с. 73].

Видный армянский путешественник Симеон дпир Леади (Мартиросович, 1585— после 1639) с возмущением писал в 1618 г. в своих путевых записках, что «львовские армяне не знают армянского языка, говорят польски или по-кыпчакски (*xrč'agnan*), т. е. на языке татар (*t'at'ri*) [51, с. 346; 25, с. 248]. В сатирической поэме «История Никола» (1634 г.) Симеон высмеивал львовских армянских священников, которые «не знают армянского языка и не понимают, что читают [во время литургии. — Д. Я.]» [52, с. 202].

Языковая ситуация в среде армян Украины нашла отражение в юмористической интермедии, написанной на армянском и польском языках в 1669 г. одним из воспитанников армянской коллегии во Львове, возможно Аствацатуром (Деодатом) Нерсесовичем (1644—1709). В интермедии высмеиваются представители старшего поколения общины, не знающие армянского языка (нужно подразумевать — владеющие только турецким). Родному языку их должны научить студенты коллегии, изучившие в ней армянский язык [43, с. 102—103].

О том, что армянское духовенство, как и весь народ, в период до 60-х гг. XVII в. не знало армянского языка, писал в 1703 г. в своем послании армянам — жителям Токата [57, с. 127] львовский армянский архиепископ Вардан Унаиян (1644—1715).

В этноним *кыпчаки* армянские авторы вкладывали очень разнообразное содержание. Под названиями *xrč'alk'*, *xiwč'axk'*, *xwč'aj*, *ipč'aj*, *xarč'aj*, *k'arč'ak'* и др. понимали гуннов, хазар, тюрок-сельджуков, половцев (ср. сводку данных Дж. Фрассона [35, с. 299—300]). В XVI—XVII вв. этноним *кыпчаки*, однако, довольно стабильно употреблялся как идентичный этнониму *татары*. Из-за этого, как отмечалось выше, Симеон в 1618 г. ставил знак равенства между кыпчакским и татарским языками. Во второй половине XVII в. крымские армянские авторы Мартирос Кримици (Поэма «История Крымской земли», 1672), и Давид Кримици (колофон сиваксара, написанного в Кафе 1690 г.), описывая вторжение в Крым татар, писали, что туда ворвался народ магометанской религии, называемый кыпчаками (*xrč'ax* у Мартироса [41, с. 143], *ibč'ax* у Давида [67, с. 336]).

Важным источником определения названий армяно-кыпчакского языка в XVI—XVII вв. является та информация, которую представляли сами армяне в официальные учреждения Львова. Во Львове, начиная с 1521 г., вся документация общины, включая книги духовного суда, велась на армяно-кыпчакском языке. Из этих книг выдавались заинтересованным лицам заверенные выписи документов на армяно-кыпчакском языке с переводом их на польский. Выписи эти, а также отдельные частные документы на армяно-кыпчакском языке, представлялись в так называемый Армянский суд (в действительности — польский суд для армян) во Львове. При этом армянская сторона сообщала, на каком языке составлен оригинал документа. Эти данные писарь суда (не армянин, а поляк) иногда записывал в судебную книгу. Как правило, армяне указывали, что выписи изготовлены на армянском языке. Нами отобрано более 20 подобных случаев. Определение «армянский язык» из судебной книги нами проконтролировано сравнением с сохранившимися соответствующими оригинальными документами — все они оказались составленными на армяно-кыпчакском языке. Четыре из мнимых «армянских» документов опубликованы.

Изучение архивных материалов привело к следующим результатам:

1. В книге Армянского суда во Львове под 1581 г. упоминается инвентарная опись 1579 г. как написанная на «армянском наречии» (idiomate Armenico) [7, с. 678]. В действительности текст ее составлен на армяно-кыпчакском языке [16].
2. В книге того же суда под 1602 г. упоминается завещание 1571 г. как написанное также на «армянском наречии» [8, с. 260]. В действительности текст его составлен на армяно-кыпчакском языке [1].
3. Там же под 1607 г. упоминается свадебный договор 1595 г. как написанный на «армянском» [9, с. 103]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1].
4. Там же под 1608 г. упоминается свадебный договор 1601 г. как написанный «по-армянски» [9, с. 626]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1].
5. Там же под 1611 г. упоминается свадебный договор 1601—1602 г. как написанный «по-армянски» [10, с. 623]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1].
6. Там же под 1612 г. упоминается свадебный договор 1589 г. как написанный «по-армянски» [10, с. 563]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1].
7. Там же под 1612 г. упоминается свадебный договор 1607 г. как написанный «по-армянски» [10, с. 564]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1].
8. Там же под 1616 г. упоминается завещание 1615 г. как написанное на «армянском языке» [11, с. 7]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1].
9. Там же под 1616 г. упоминается свадебный договор 1572 г. как написанный на «армянском» [11, с. 122]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1], как об этом свидетельствует также его публикация [50, с. 274—275].
10. Там же под 1616 г. упоминается свадебный договор 1595 г. как написанный на «армянском языке» [11, с. 125]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1].
11. Там же под 1618 г. упоминается долговое обязательство 1615 г. как написанное на «армянском» [11, с. 969, 971, 972]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [5, л. 22], как об этом свидетельствует также его публикация [19, с. 48].
12. Там же под 1618 г. упоминается свадебный договор 1595 г. как написанный на «армянском наречии» [11, с. 978]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1].
13. Там же под 1619 г. упоминается завещание 1619 г. как написанное на «армянском» [11, с. 1502]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1].
14. Там же под 1620 г. упоминается долговое обязательство 1609 г. как написанное «по-армянски» [11, с. 1594]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [5, л. 15], как об этом свидетельствует также его публикация [19, с. 50].
15. Там же под 1621 г. упоминается свадебный договор 1599 г. как написанный на «армянском наречии» [12, с. 37]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1].
16. Там же под 1623 г. упоминается завещание 1622 г. как написанное на «армянском наречии» [12, с. 342]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [1].
17. Там же под 1632 г. упоминается завещание 1631 г. как написанное на «армянском наречии» [13, с. 1537]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [2].
18. Там же под 1633 г. упоминается недатированный свадебный договор как написанный на «армянском» [14, с. 76]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [2].

19. Там же под 1636 г. упоминается свадебный договор 1636 г. как написанный на «армянском наречии» [14, с. 545]. В действительности текст его на армяно-кыпчакском [2].

20. В одном из документов Армянского суда во Львове 1638 г. упоминается свадебный договор 1609 г. как написанный на «армянском языке» [4, с. 364]. В действительности текст его на армянско-кыпчакском [4, с. 357—359], как об этом свидетельствует его публикация [20, с. 73—75].

21. В книге Армянского суда во Львове под 1638 г. упоминается инвентарная опись 1638 г. как написанная «по-армянски» [15, с. 252] В действительности текст ее на армяно-кыпчакском.

Не было ни одного случая, чтобы в судебной книге указывался настоящий (татарский-кыпчакский) язык, на котором написаны документы. Мы уже отмечали ранее то странное явление, что армяно-кыпчакский язык во время официальных контактов с неармянами выдавали за армянский [19, с. 54—55]. В этом, непонятном на первый взгляд, самоназвании отразилось несколько моментов; 1) своеобразная мимикрия, вызванная нападками шовинистических кругов на армян как носителей татарского, т. е. враждебного, языка; 2) национальное самосознание — выражено армянское, для которого было досадно называть разговорным языком неармянский; 3) формальный фактор — ведь употреблялась армянская графика.

Можно указать на один курьезный случай, когда армяно-кыпчакский язык был назван (в книге Армянского суда во Львове, 1544 г.) сараценским, причем в соответствующей записи был проставлен знак равенства между армянским и сараценским языками (*Armenicis idiomate aut Sara-ceno*) [6, с. 291].

В конце XVII в. армяно-кыпчакский язык становится мертвым. В сознании армян XVIII в. он зафиксировался как татарский. Об этом свидетельствует, например, документ 1733 г., составленный писарем львовской армянской общины Я.-Н. Ваковским. В нем упоминается, что древние заветания во Львове писались на татарском наречии [3, с. 109]. В 1788 г. вардапет Серазкян (из венецианских мхитаристов) снабдил армяно-кыпчакский перевод «Посланий апостола Павла» надписью, что перевод выполнен на татарском языке [54, с. 269].

Традиционный взгляд на язык как на татарский или, в лучшем случае, как на особый армяно-татарский диалект татарского языка вошел в армянскую и европеийскую науку конца XVIII — начала XX вв. (О. Зограб, С. Гювер-Агонц, М. Бжшкянц, В. Бастамянц, Я. Ташян, Г. Алишан, а также Ф. Е. Корш, Х. И. Кучук-Иоаннесов, Ф. фон Крелици-Грейфенхорст; перечень работ см. [61, с. 79—80]). Только выступление Жана Дени в 1921 г. положило начало научному определению языка, благодаря которому армяно-кыпчакский язык обрел отдельное место в современной классификационной схеме тюркских языков.

Из приведенных выше сведений следует, что армяно-кыпчакский язык неоднократно привлекал внимание авторов XV—XVII вв. Ни в коем случае это не был какой-то таинственный язык. Наоборот, им интересовались многие современники, в том числе такие, которые также имели языковедческую подготовку.

Благодаря экстралингвистическим данным вырисовывается следующая картина.

Уже в начале XV (если не в конце XIV в.) заметная часть многочисленного армянского населения Крыма употребляла татарский язык в качестве разговорного. В середине XV в. эти армяне-тюркофоны были общеизвестны также на Руси. Пришедшие из Крыма тюркоязычные армяне обосновались в Киеве, Владимире, Луцке, Львове, Каменце-Подольском, Снятыне и Галиче. Тюркский язык поселенцев был не только разговорным,

но и считался родным. Его употребляли как дома, так и во время торжественных церемоний, в церквах — для непосредственных контактов с народом, не понимавшим как армянского книжного (грабар), так и разговорного (ашхарабар) языка. Армяне сохраняли тюркский язык, культивировали его, переводили на него основные законы, церковную литературу — тем более, что он облегчал им торговые связи со странами, зависевшими от Османской империи, и с самой Турцией.

Древнеармянский язык функционировал только как литургический, но его понимали далеко не все священники. Разговорный армянский язык знали плохо, его специально изучали в школах. Этот язык начали приносить с собой поселенцы более нового времени — со второй половины XVI в.

Употребление тюркского языка влекло за собой ряд неприятностей для армян — шовинистические круги обвиняли их из-за тюркофонии в государственной измене, в желании подчинить города Украины Турции, им отказывали в уравнении в правах с поляками. Это явилось причиной того, что при контактах с внешним миром армяне-тюркофоны упорно определяли свой язык как армянский.

Среди названий и самоназваний языка встречаются и явно фантастические (скифский, сарацинский), соответствующие, однако, культурно-историческим воззрениям XVI—XVII вв., и сознательно сбивающие с толку (армянский). Тем не менее основной характер языка определялся правильно — его считали турецким (или, как бы мы сказали сейчас, тюркским), точнее, татарским или кыпчакским, причем последний термин употреблялся исключительно армянскими авторами в качестве синонима татарского. Термин *татарский язык* употреблялся наиболее часто².

Необходимо подчеркнуть, что эти данные о функциях языка, его генетических связях ни в чем не расходятся с косвенными экстралингвистическими сведениями, которые можно почерпнуть из самих армяно-кыпчакскими памятников, так и с лингвистическим материалом, извлеченным из тех же памятников.

Данные нарративных и документальных источников XV—XVII вв. дают основание для некоторых, как кажется, заслуживающих внимания, хотя и несколько непривычных выводов. Не впадая в крайность, необходимо подчеркнуть тот факт, что даже более образованные и лингвистически подготовленные современники, включая самих армян, не ощущали принципиального различия между языком армян-тюркофонов, с одной стороны, и татарским (что — даже при некоторой неопределенности этого термина — в условиях Украины XV—XVII вв. соответствовало языку татар Крыма) — с другой.

К сожалению, в настоящее время сложилось довольно превратное представление об армяно-кыпчакском языке. Мы достаточно хорошо знаем язык периода его упадка, конвергенции к украинскому и польскому языкам. Частные выводы, относящиеся к стадии отмирания языка, распространяются на все время его функционирования [54]. Памятники, можно сказать, нормализованного и даже несколько пурифицированного литературного языка середины XVI — начала XVII вв. хотя частично и публиковались (армяно-кыпчакский перевод Львовского судебного, Хроника польского улуса, Венецианская хроника, армяно-кыпчакская часть Каменецкой хроники, армяно-кыпчакский вариант Сказания о Акире Премудром, переводы Псалтыри и других частей Ветхого и Нового заветов, молитвы и т. п.), однако все еще не привлекают должного внимания, остаются в тени. Увлечение памятниками деловой письменности — т. е. языком по своему характеру макароническим — привело к вульгаризо-

² На это в свое время обратил внимание Э. Трыарский [54, с. 21].

ванному представлению о том, что актовый язык (действительно очень отличающийся от синхронного крымскотатарского языка) — это разговорный и почти литературный. Это, конечно, далеко не так. Не подлежит сомнению, что объектом компаративистских исследований — для сравнения армяно-кыпчакского языка с другими западно- (и не только западно-) кыпчакскими языками — должны стать в первую очередь сочинения на литературном языке.

Независимо от всего этого, армяно-кыпчакский язык рассматривается в какой-то романтической дымке. Считается, что язык памятников XVI—XVII вв. — это законсервированный чуть ли не наживо язык кочевников-половцев, предшественников татар в Северном Причерноморье. Дать романтике была отдана самой методикой исследований — как-то затерялась хронологическая перспектива и последовательность явлений. Забыли о том, что между языком половцев, кочевников XI — первой половины XIII вв., и армяно-кыпчакским языком пролегает расстояние в три-четыре столетия. Забыли о том, что о половецком языке мы, откровенно говоря, знаем очень мало — и все утверждения о мнимой близости армяно-кыпчакского (и даже армяно-половецкого!) и половецкого языков висят, вследствие этого, в воздухе³.

Несколько дезориентирующее название Codex Cumanicus'a (казалось бы, кодекса куманов-половцев) сыграло также свою роль. Идентичность содержания этнонимов *половцы* (в восточнославянских источниках) и *куманы* (преимущественно в западных) как будто не подлежит сомнению. Тем не менее при использовании западных средневековых источников, употреблявших термин *команы* еще несколько столетий после разгрома половцев (= команов), не учитывается эта склонность многих западных авторов к непреднамеренной и преднамеренной анахронизации и архаизации, в соответствии с которыми татары идентифицировались с исчезнувшими с исторической арены команамы (=половцами) и даже скифами. А сравнивая армяно-кыпчакский язык с языком Codex Cumanicus'a, памятника разговорного не половецкого, а татарского языка XIV в. (как об этом, впрочем, говорится в самом кодексе, что редко упоминается только некоторыми исследователями), т. е. языка, который — часто под анахроническим названием команского — играл роль *lingua franca* на обширных территориях Евразии и Ближнего Востока⁴ — снова приходили к выводу о большой близости армяно-кыпчакского языка к половецкому... Как-то затерялось меткое замечание А. фон Габен о том, что «мы можем просто присоединиться к самоназванию Codex Cumanicus'a и определить его язык как „татарский“, т. е. „старотатарский“» [69, с. 48]. Перефразируя это высказывание, можно просто присоединиться к наиболее часто употребляемому названию для армяно-кыпчакского языка XVI—XVII вв. и определить его как «татарский», т. е. «армяно-татарский».

³ Применение более строгого хронологического мерилa необходимо при использовании даже таких работ, бесспорно очень близких к проблематике половецкого языка, как работы А. Зайончковского [75] и К. Г. Менгеса [64]. Известное «Толкование языка половецкого» отражает не половецкий язык, а татарский язык периода Золотой Орды XIV в. Пуганица возникла в связи с тем, что на Руси уже после исчезновения половцев этноним *половцы* идентифицировался с татарами (как на Западе *команы* = татары).

⁴ Монах Пасхалис писал в 1338 г. из Алмалыка о том, что в Сарае он «с Божьей помощью изучил команский (*chamanic*) язык и уйгурское письмо, ибо этот язык и письмо употребляются повсеместно во всех владениях или империях татар, персов, халдеев, мидян и в Китае» [45, с. 504]. Подобным образом Ф. Бальдуччи-Пеголотти, составитель торгового пособия в середине XIV в., подчеркивал, что купцам в Причерноморье необходимо иметь переводчиков, владеющих команским, для того, чтобы вести торговлю с жителями «стеней» [28, с. 21—22].

На всей проблематике отрицательно сказывается неразработанность этнической истории тюркских народностей Восточной Европы в период Средневековья. Отсутствует последовательная научная этнонимия, сопоставимая с этнонимией источников (зачастую интерпретируемой очень субъективно), соответствующая этнолингвистической терминологии. Ведь К. Томсен, например, считает, что название *татарский язык* «употребляется уже около 1300 г. в Codex Sumanicus'e для кыпчакских языков команов, которыми говорили на территории бывшей Золотой Орды» [73, с. 407]. А команы у Томсена и других авторов нашего времени — это половцы... Получается заколдованный круг, за пределы которого выхода нет.

Неразработанность общепринятой этнонимической и этнолингвистической терминологии (несмотря на разнообразие, более или менее продуманные классификационные схемы языков) ощущается особенно в области кыпчаковедения. Этнонимы *половцы*, *команы*, *кыпчаки* употребляются то как совершенно адекватные синонимы, то как нетождественные понятия. Еще больше осложнений возникает при употреблении производных терминов. Если *половцы*, *команы*, *кыпчаки* — часто адекватные синонимы, то термины *половецкий*, *команский* и *кыпчакский язык* (а тем более *кыпчакские языки*) далеко не синонимичны. Как известно, термин *кыпчакский язык* выступает в роли то видового, то группового понятия, а присоединение к названию *кыпчакский* определяющего детерминанта не всегда спасает положение. Именно таким образом татары (тюркское — но не монгольское⁵ — население) периода Золотой Орды начали говорить по-половецки (но, по неизвестным причинам, не по-татарски, хотя об этом прямо говорит Codex Sumanicus), на половецком остаются говорить в XVI—XVII вв. армяне-тюркофоны Украины.

Этническая история тюрков Восточной Европы в период XIII—XVII вв. очень непростая. В ней нашли отражение динамика кочевничьего быта, частичная и постепенная урбанизация, полиэтнические контакты, ассимиляционные и диссимиляционные процессы, далеко не всегда понятные родоплеменные взаимоотношения — и все это на фоне социально-экономических и политических перемен. Но и эти обстоятельства вряд ли могут служить оправданием для сохранения архаизированной этнолингвистической терминологии. Развитие тюркских языков происходило в конкретно-исторических условиях, которые все еще недостаточно учитываются при изучении истории языков кыпчакской группы и приводят к таким необоснованным выводам, как возможность сохранения половецкого языка в языковой практике армян-тюркофонов Украины. Утверждения такого типа, что в армяно-кыпчакских памятниках XVI—XVII вв. «нашел отражение язык разговорный, принадлежавший одному из древних этнолингвистических ответвлений куманов-половцев» [59, с. 87], невозможно подкрепить вескими научными доводами.

Необходимо отказаться от оторванных от конкретно-исторической ситуации эклектических воззрений, что, хотя половцы как квазигосударственное образование прекратили свое существование под ударами монголо-татар в середине XIII в., язык их сохранился и даже превратился в господствующий в Золотой Орде. Из-за отсутствия памятников языка половцев подобное положение доказать невозможно. Известно, что монголо-татары с особым неистовством преследовали и физически уничтожали половцев, спасавшихся бегством в сопредельные страны. За пятнад-

⁵ Трудности в определении содержания этнонима *татары* в источниках ограничиваются XIII в. (тогда под татарами могли подразумеваться как монголы, так и тюрки, или, что соответствовало действительности, монголы и тюрки вместе). Начиная с XVI в. татары — это почти исключительно тюрки.

цатилетие 1222—1237 гг. монголо-татары «обезлюдили большинство их (половцев.— *Д. Я.*) местностей» в Северном Причерноморье, — писал персидский историк Рашид-ад-Дин (1247—1317) [24, с. 229], половцев на Северном Кавказе «перебили всех, кого нашли» [24, с. 229]. Монголо-татары истребили половцев Поволжья, как об этом рассказал другой современник Джувейни (1226—1283) [21, с. 24]. В 1236—1237 гг. монголо-татары устроили гигантскую облаву, охватившую территорию от Волги до западных пределов расселения половцев. Огромное количество половцев оказалось прижатым к морю на территории Крыма, где они массово гибли от голода и «пожирали друг друга взаимно, живые мертвых», как описывал папский посол к монгольскому хану Гильом Рубрук (1215—1220 — ок. 1270) [23, с. 90]. Он и другой папский нунций Джованни дель ПIANO Карпини (ум. 1248—1252) рисуют мрачную картину истребления половцев. «Команов перебили татары», «их истребили татары и живут в их земле», а на бескрайних обезлюдненных пространствах степи остались только «многочисленные головы и кости мертвых людей», — писал в 1246 г. Карпини [23, с. 72]. На степных просторах «до занятия их татарами жили команы капчат», там «прежде пасли свои стада команы», а сейчас осталось только «огромное количество могил команов», — реляционировал в 1253 г. Рубрук [23, с. 111, 108, 104]. «Кыпчаки уничтожены», — сообщил Джувейни [21, с. 26]. Половцы спасались, убегая в пределы Руси, приволжской Булгарии, Венгрии, куда, преследуя их, врвались монголо-татары. Из Венгрии они устремились на Балканы, в Малую Азию [65, с. 211], а на ту часть половцев, которая возвратилась в евразийские степи, монголо-татары по-прежнему смотрели как на «холопы и на конюсы свое» (по словам Новгородской летописи [22, с. 62]). «Рабы мои команы», — писал в 1237 г. Бату к венгерскому королю Беле IV, требуя их выдачи [26, с. 88, 107]. Оставшиеся в степи половцы были «обращены ими (монголо-татарами.— *Д. Я.*) в рабов», — писал Карпини [23, с. 72]. Их массами продавали в Египет, где они со временем создали влиятельную прослойку мамелюков. В свете тех и других сведений источников вполне обоснованным является вывод о том, что «создается картина такой радикальной чистки, которая сделала кыпчаков Золотой Орды отличными по составу и географическому распространению от половцев домонгольских времен» [66, с. 42].

Представляется более чем сомнительным, чтобы немногочисленные реликты половцев, низведенные в лучшем случае до уровня париев, могли сыграть заметную роль в формировании языка тюрок Золотой Орды. Место половцев в обезлюдненной степи постепенно заняли пришедшие из-за Волги другие тюркские племена, также кыпчакофоны. В Золотой Орде начал развиваться свой татарский (=старотатарский) язык с различными территориальными и социальными диалектами и литературными вариациями, возможно, впитавшими отдельные элементы языка остатков половцев или, что более правдоподобно, элементы языков, близких не существующему уже половецкому. И это был не старый половецкий (=команский), а нововозникающий татарский язык с различными соотношениями кыпчакских и огузских элементов.

Армянские колонии на Украине не были изолированы от столь близкого им — по территориальному расположению — тюркского мира. Связи — личные, торговые, культовые — с соплеменниками, проживающими в ареале господства татарского языка, в первую очередь в Крыму, были очень оживленными. На протяжении столетий оттуда, как из своеобразного резервуара, прибывали все новые и новые поколения переселенцев-армян, носителей современного им татарского языка. Если считать, что в самых ранних армяно-кыпчакских памятниках середины XVI в. нашли отраже-

ние черты половецкого языка (поддающиеся, скажем, удовлетворительной и обоснованной реконструкции), языка Codex Cumanicus'a, — то аналогичные черты наблюдались и в тогдашнем крымскотатарском языке, древнейшие памятники которого изучены все еще недостаточно. Армяно-кыпчакский язык возник, развивался и менялся в первую очередь под влиянием изменений, происходивших в крымскотатарском языке. Для развития по собственному изолированному пути условий не было.

Здесь, по-видимому, уместно упомянуть язык караимов со столь характерной эволюцией этого языка в условиях тюркского окружения в Крыму — и гальванизацией древних языковых явлений в изолированных от тюркского мира караимских колониях Литвы и Западной Украины. А вот развитие мамелюкско-(арабско-)кыпчакского языка (половецкие источники которого не подлежат сомнению), происходившее изолированно в Египте, пошло путем, отличным от языка татар Крыма, связи с которым оказались прерванными в XIV в. О развитии половецкого (кунского) языка в Венгрии, где он сохранялся в качестве разговорного будто бы до середины XVIII в., сказать что-нибудь определенное затруднительно, так как письменные памятники этого языка почти не дошли до наших времен.

Армянские колонии Украины и Польши никогда не достигали той степени обособленности от тюркского мира, которая была характерна для западных караимов и мамелюков-кыпчакофонов — поэтому не возникала ситуация для гальванизации языка на хронологическом уровне половецкого языка или хотя бы языка Codex Cumanicus'a.

Иными словами, памятники армяно-кыпчакского языка XVI—XVII вв., особенно его литературного варианта, — это, в первую очередь, важнейшие источники для изучения синхронного им татарского языка, а только во вторую очередь они могут служить материалом — как и все памятники западных среднетюркских языков — для реконструкции (если она возможна) половецкого языка.

Сведения источников XV—XVII вв. — это, конечно, данные экстралингвистического порядка, но, вместе с этим, и наблюдения современников, которые невозможно игнорировать. Они позволяют выдвинуть приведенные выше выводы в качестве рабочей гипотезы, нуждающейся в проверке и заполнении конкретным лингвистическим содержанием.

Исследования подобного типа имеют большое значение для решения не только языковедческих, но и более общих этногенетических и культурно-исторических вопросов.

ИСТОЧНИКИ

1. Книга Армянского духовного суда во Львове за 1572—1630 гг. — Библиотека мхитаристов, Вена, отд. рукописей, № 441.
2. То же за 1630—1642 гг. — Библиотека мхитаристов, Венеция, отд. рукописей, № 1788.
3. Сборник документов львовского армянского архикафедрального собора. — Научная библиотека Академии наук УССР, Львов, отд. рукописей, ф. Оссолинских, № 1657.
4. Сборник документов Армянского суда во Львове за 1595—1654 гг. — Центральный государственный исторический архив УССР во Львове, ф. 52, оп. 2, т. 545.
5. Сборник документов по истории армянской колонии во Львове. — Там же, ф. 52, оп. 1, д. 889.
6. Судебная книга Армянского суда во Львове за 1537—1561 гг. — Там же, ф. 52, оп. 2, т. 513.
7. То же за 1561—1585 гг. — Там же, ф. 52, оп. 2, т. 514.
8. То же за 1601—1604 гг. — Там же, ф. 52, оп. 2, т. 517.
9. То же за 1607—1610 гг. — Там же, ф. 52, оп. 2, т. 519.
10. То же за 1611—1615 гг. — Там же, ф. 52, оп. 2, т. 520.

11. То же за 1616—1621 гг.— Там же, ф. 52, оп. 2, т. 521.
12. То же за 1621—1628 гг.— Там же, ф. 52, оп. 2, т. 522.
13. То же за 1629—1633 гг.— Там же, ф. 52, оп. 2, т. 523.
14. То же за 1634—1636 гг.— Там же, ф. 52, оп. 2, т. 524.
15. То же за 1638—1639 гг.— Там же, ф. 52, оп. 2, т. 525.
16. Судебно-административная книга Армянского войводства в Каменне-Подольском.— Центральный государственный исторический архив УССР в Киеве, ф. 39, оп. 1, т. 11.
17. *Salmosagan*, копия 1581 г.— Библиотека мхитаристов, Венеция, отд. рукописей, № 359.
18. *Solikowski J. D.* Szrodki do zgody podane między panu rajce i miescany catholiki a p. Ormiany.— Центральный государственный исторический архив УССР во Львове, ф. 52, оп. 1, д. 136.
19. *Дашкевич Я. Р., Трьярски Э.* Армяно-кыпчакские долговые обязательства из Эдирне (1609 г.) и Львова (1615 г.).— РО, 1974, т. 37, zes. 1.
20. *Дашкевич Я. Р., Трьярски Э.* Армяно-кыпчакские предбрачные договоры из Львова (1598—1638 гг.).— РО, 1970, т. 33, zes. 2.
21. *Джувейни.* Из «Истории завоевания мира». — В кн.: *Тизенгаузен В. Г.* Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 2. М.— Л., 1941.
22. Новгородская летопись старшего и младшего изводов. Под ред. *Насонова А. Н.* М.— Л., 1950.
23. *Дж. дель ПIANO Карпини.* История монгалов. *Г. де Рубрук.* Путешествие в восточные страны. Под ред. Шатиной Н. П. М., 1957.
24. *Рашид-ад-Дин.* Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. Перев. с перс. Смирновой О. П. М.— Л., 1952.
25. *Симеон Лежацц.* Путевые заметки. Перев. с арм. Дарбинян М. О. М., 1965.
26. *Юлиан.* Письмо о монгольской войне.— Исторический архив. Т. 3. М., 1940.
27. *Alnpekus J.* Topographia civitatis Leopolitanae.— In: *Rachwał S.* Jan Alnpek i jego «Opis miasta Lwowa» z początku XVII w. Lwów, 1930.
28. *Balducci — Pegolotti F.* La pratica della mercatura. Ed. by Ewans A. Cambridge (Mass.), 1936.
29. *Bischoff F.* Urkunden zur Geschichte der Armenier in Lemberg. Wien, 1895.
30. *Botero G.* Relationi universali divise in IV parti. P. 1. Venetia, 1640.
31. *Celliarius A.* Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lituaniae omniumque regionum juri Polonico subjectorum novissima descriptio. Amstelodami, 1659.
32. *Cromerus M.* Polonia sive de ritu, populis, moribus et republica regni Polonici. Coloniae, 1577.
33. *Deny J.* L'arméno-coman et les «Éphémérides» de Kamieniec. Wiesbaden, 1957.
34. *Długosz J.* Historiae Polonicae libri XII, t. 2. Ed. *Przeździecki A.* Cracovia, 1873.
35. *Frasson G.* Pseudo Epiphaniai Sermo de Antichristo (Armeniaca de fine temporum). Venezia, 1976.
36. *Gratiani A. M.* De vita Joannis Francisci Commendoni cardinalis libri IV. Patavii, 1685.
37. *Gratiani A. M.* La vie du cardinal Jean François Commendon divisée en IV livres. Paris, 1671.
38. *Kern A.* Der «Libellus de Notitia Orbis» Johannes' III (de Galonifontibus?) OP, Erzbischof von Sultanyeh.— Archivum Fratrum Praedicatorum. Roma, 1938, v. 8.
39. *Lasicius J.* De religione Armeniorum.— In: Michalonis Lituani De moribus Tartarorum, Litanorum et Moschorum. Basileae, 1615.
40. *Lewicki T., Kohnowa R.* La version turque-kiptchak du «Code des lois des Arméniens polonais».— RO, 1957, t. 21.
41. *Martiros Erimec'i.* Patmut'iw'n İrimay erkri.— In: Martirosyan A. A. Martiros Erimec'i. Erevan, 1958.
42. *Mathias de Meychow.* Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana et de contentis in eis. Augustae Vindelicorum, 1518.
43. *Nersesowicz D.* Dwa intermedia do tragedii x. Alojzego Pidou «Sancta Pulcheria» (1669 r.).— Pamiętnik Literacki, Lwów, 1938, rocz. 35.
44. *O'Connor B.* The History of Poland in several letters to persons of quality. V. 1. London, 1698.
45. *Paschalis de Victoria.* Epistola.— In: Sinnica Franciscana. V. 1. Quaracchi, 1929.
46. *Petrycy S.* Jeśli Żydowie więcej podeyrzani y gorszy sa Rzeczypospolitey niżli Ormianie.— In: Aristoteles. Polityki to iest Rządu rzeczypospolitej z dokładem... księg VIII, cz. 1. Kraków, 1601.
47. *Pidou L. M.* Breve relatione dello stato, principii e progressi della missione apostolica agli Armeni di Polonia e Valachia. — In: *Źródła dziejowe.* T. 2. Warszawa, 1876.
48. *(Pidou L. M.)* Compendiosa relatio unionis nationis Armeno-Polone cum. s. ecclesia Romana.— In: *Źródła dziejowe.* T. 2. Warszawa, 1876.
49. Relacje arcybiskupów lwowskich 1595—1794. Wyd. *Długosz T.* Lwów, 1947.

50. *Schütz E.* Armeno-kiptschakische Ehekontrakte und Testamente.— *Acta Orientalia Hung.* Budapest, 1971, t. 24, fasc. 3.
51. *Simeon dpri Leahac'woy Uiegrut'iwn taregrut'iwn.* Ed. Akinean N. Vienna, 1936.
52. (*Simeon dpri Leahac'woy*) *Vipasanut'iwn Nikolakan.*— In: *Ališan Ė. M. Kamenic'.* Venetik, 1896.
53. *Sulicovius J. D.* Commentarius brevis rerum Polonicarum a morte Sigismundi Augusti Poloniae regis. Dantisci, 1647.
54. *Tryjarski E.* Der zweite Brief des Paulus an die Korinther in armeno-kiptschakischer Version und seine Sprache.— *Altaica collecta.* Wiesbaden, 1976.
55. *Tryjarski E.* Zodyak bölge burçlarının bir ermenikiptçak listesi.— In: XI. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler. Ankara, 1968.
56. *Werdum W., von.* Journal der Reysen, die ich durch die Königreiche Polen, Frankreich, Engellandt gethan.— In: *Liske X.* Cudzoziemcy w Polsce. Lwów, 1876.
57. *Younanean V. I.* t'it'oc' af Evdokiac'is.— In: *Ališan Ė. M. Kamenic'.* Venetik, 1896.
58. *Zeiller M.* Anderte Beschreibung des Königreichs Polen und Grosshertzogthums Litauen. Ulm, 1657.

ЛИТЕРАТУРА

59. *Гаркавец А. Н.* Армяно-кыпчакские письменные памятники XVI—XVIII вв.— В кн.: Средневековый Восток. История, культура, источникведение. М., 1980.
60. *Гаркавец А. Н.* Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским в XVI—XVII вв. Киев, 1979.
61. *Дашкевич Я. Р.* Армяно-кыпчакский язык. Библиография литературы 1802—1977.— *RO*, 1979, t. 40, zesz. 2.
62. *Дашкевич Я. Р.* Львовские армяно-кыпчакские документы XVI—XVII вв. как исторический источник.— *Историко-филологический журнал.* Ереван, 1977, № 2.
63. [*Кавелин Л. А.*] Греческие сказки об армянской вере, перешедшие в нашу древнюю русскую письменность.— Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских. М., 1878, кн. 1.
64. *Менгес К. Г.* Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979.
65. *Пашуто В. Т.* Монгольский поход в глубь Европы.— В кн.: Татаро-монголы в Азии и Европе: Сб. статей. 2-е изд. М., 1977.
66. *Bžškeanc' M.* Sanaparhordut'iwn 'i Lehastan. Venetik, 1830.
67. *Ciampi S.* Bibliografia critica delle antice reciproce corrispondenze... dell' Italia. V. 2. Firenze, 1834.
68. *Gabain A., von.* Die Sprache des Codex Cumanicus.— In: *Philologiae Turcicae fundamenta*, t. 1. Aquis Mattiacis, 1959.
69. *Giwvër Agonc' S.* Ašxarhagrut'iwn čoric' masanc' ašxarhi..., t. 2, hat. 2. Venetik, 1802.
70. *Petrowicz G.* La chiesa armena in Polonia. Roma, 1971.
71. *Schütz E.* Notes on the Armeno-Kipçak Script and its Historical Background.— In: *Aspects of Altaic Civilisation.* Bloomington — The Hague, 1963.
72. *Thomsen K.* Das Kasantatarische und die westsibirischen Dialekte.— In: *Philologiae Turcicae fundamenta*, t. 1. Aquis Mattiacis, 1959.

МУРЬЯНОВ М. Ф.

О РАБОТЕ И. В. ЯГИЧА НАД СЛУЖЕБНЫМИ
МИНЕЯМИ 1095—1097 гг.

В начале 1882 г. И. В. Ягич представил в Отделение русского языка и словесности петербургской Академии наук записку, со старомодной простотой излагающую его взгляды на то, что в терминологической карнавальности наших дней называется то текстологией, то лингвистическим источниковедением, то лингвотекстологией: «Мне кажется делом достойным II Отделения императорской Академии наук, если оно возьмет на себя полное издание древнейших памятников русской письменности, на первый случай памятников XI и XII века, с точно определенными годами их написания». В числе рукописей, заслуживающих первоочередного издания, И. В. Ягич назвал служебные Минеи конца XI в. и Мстиславо-во Евангелие начала XII в. Обсудив записку, академики решили: «Отделение, вполне одобрив предложение И. В. Ягича, определило предоставить ему, совместно с А. Ф. Бычковым, приступить, когда он найдет возможным, к приговорительным для означенной цели работам» [1].

Летом 1886 г. вышел в свет первый результат этого решения: «Памятники древнерусского языка. Том I. Служебные Минеи» за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 г. Труд орд. акад. И. В. Ягича. СПб., 1886», объемом почти в тысячу страниц. В предисловии автор труда писал, что «с любовью посвятил ему немало дней и ночей, ободряемый сознанием, что он необходим для исторического освещения могучего русского языка».

В годичном отчете Отделения, с которым А. Ф. Бычков выступил на торжественном собрании Академии наук 29 декабря 1886 г., Минеи И. В. Ягича получили следующую оценку: «Отпечатан громадный и в высшей степени важный труд... Почти три года академик посвятил на издание этих Минеи, и оно, без преувеличения, может быть названо образцовым» [2].

Когда произносилась эта похвала, И. В. Ягича уже не было в России, в сентябре 1886 г. он занял кафедру своего учителя Ф. Миклошича в Венском университете. Фактически это было respectable формой отставки в Петербурге, где великий труженик И. В. Ягич болезненно ощущал свою ненужность и, когда за ним закрылись двери величественного здания Академии, заплакал [3]. Серия «Памятники древнерусского языка» прекратилась на первом томе.

Сегодня место изданного И. В. Ягичем памятника в ряду древнейших датированных русских рукописей видно вполне отчетливо. Он занимает пятое место по старшинству (после двух Евангелий и двух Изборников) [4] и едва ли не первое место по достоверности локализации, мнение о его новгородском происхождении общепризнано. И тем не менее с Минеями 1095—1097 гг. произошло нечто необычное. Роль изданной И. В. Ягичем книги в последующем развитии русистики оказалась значительно меньшей, чем ожидалось.

Для оптимизма можно возразить, что в 1910 г. анализ языка этого гимнографического памятника стал первой научной работой студента С. П. Обнорского, впоследствии академика, основателя и первого директора Института русского языка АН СССР [5], и многие поколения студентов-русистов пользуются «Хрестоматией» С. П. Обнорского и С. Г. Бархударова, где помещены две стихиры, из служб архистратигу Михаилу и Георгию Победоносцу [6], выбранные с безудержным вкусом, и смотрясь они, будто словесные иконы той эпохи, когда новгородская София стояла еще нерасписанной и местная живопись еще не выработала таких черт, по которым искусствовед мог бы отличить новгородское от неовгородского. А лингвисты на своем материале это сделать сумели! Можно также добавить, что отдельные факты из Минеи 1095—1097 гг. использованы в университетском учебнике В. В. Иванова «Историческая грамматика русского языка» (1964).

Но оказалось возможным без материала Минеи 1095—1097 гг. и без объяснения его отсутствия построить для древнерусского языка генеральную синтаксическую концепцию, авторы которой «стремились к тому, чтобы осветить историю синтаксической системы русского языка на протяжении XI—XVII вв. на основании исчерпывающих выписок из возможно большего числа памятников разных жанров» [7, 8]¹. Разрабатывавший другие аспекты истории языка П. С. Кузнецов в монографии, изданной Институтом русского языка АН СССР, написал странное: «В большом количестве дошла до нас житийная литература, т. е. жития святых. Древнейшие датированные собрания житий — Новгородские минеи 1095, 1096 и 1097 гг.» [9]. Составители пражского «Словаря старославянского языка» заинтересовались только песнопениями службы чешскому национальному святому Вячеславу, занимающей в книге И. В. Ягича 4 страницы [10]. А в будущий «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.» войдет из Минеи 1095—1097 гг. только лексика приписок и записей до XIV в., т. е. все, кроме собственно Минеи [11].

Когда Институтом русского языка АН СССР выяснялось для перспективного планирования, какие памятники нужно издать в первую очередь, руководитель сектора древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР Д. С. Лихачев указал на Путятину Минею XI в. [12]. Это обещало качественно новый размах большого дела, начатого И. В. Ягичем и остановленного условиями политической реакции 1880-х годов, эпохи Победоносцева. Однако вскоре в своей «Текстологии» (1962), цитирующей памятники как древние, так и новые, Д. С. Лихачев о фундаментальных трудах И. В. Ягича даже не упомянул; сейчас, больше двадцати лет спустя, Путятинская Минея остается неопубликованной, а Д. С. Лихачевым переиздан памятник пародийной гимнографии XVII в. — «Служба кабаку» [13], компонент так называемой смеховой культуры древней Руси. Это и есть единственный гимнографический текст, подхваченный нашей генеральной синтаксической концепцией, да и то по устаревшему первому изданию [7, с. 441; 8, с. 456].

Исследование Л. П. Жуковской о языке древнейших славянских памятников, написанное «в свете положений „Текстологии“ Д. С. Лихачева» [14], анализирует не Минеи 1095—1097 гг., а другие русские рукописи, вплоть до XV в. включительно. Последнее слово нашей палеославистики, лексикологическое исследование Р. М. Цейтлин, Минеи тоже не касается [15].

¹ Сверх «Списка источников» Минея 1095 г. все же процитирована [7, с. 7], но со ссылкой на «Очерки по исторической грамматике русского языка» М. А. Соколовой, а не на И. В. Ягича, упомянутого по другому поводу [7, с. 8, 446].

Как обстоит дело с освоением труда И. В. Ягича в западной науке? Казалось бы, там должны знать цену такому памятнику: ведь романо-германская филология, вследствие куда меньшей роли гимнодии в структуре ритуалов западной церкви и в силу наднационального языкового статуса последней, обязавшего поэтов писать только по-латыни, не располагает старофранцузскими или древненемецкими гимнографическими текстами и была бы счастлива обладать хоть сотой долей славянского богатства эпохи старших служебных Миней².

Считается, что на книгу И. В. Ягича имеется одна рецензия, причем появившаяся на Западе [16]. Ее автор А. Брюкнер, в то время 30-летний профессор Берлинского университета, в византийско-славянской гимнографии исследовательского опыта не имел. К тому же источник, назвавший рецензента, в виде исключения не указал, где именно рецензия увидела свет, а в персональной библиографии А. Брюкнера [17, 18] она не числится.

При первом же случае, когда книга И. В. Ягича могла бы принести реальную пользу, — византологам, готовившим под руководством кардинала Ж. Питра римское издание греческих Миней (1888—1901), — ее не использовали, хотя русский академик, зная бытующее на Западе правило *russica non leguntur*, весь авторский текст главы «Указатель греческих источников» написал на латинском языке. Покажем на одном только примере, что потеряли итальянские византологи. В их издании, как и во всех греческих, принято одни и те же ирмосы, если они применяются неоднократно, давать полным текстом не каждый раз, а для экономии места ограничиваться кратким зачалом — в расчете на то, что текст или общеизвестен, или в крайнем случае может быть найден на другой странице. На какой именно и в котором томе — никогда не указывается, это остается маленьким секретом практиков. Отсутствие системы отсылок не могло не привести к издержкам: случилось так, что на каком-то этапе традиции полный текст одного ирмоса был вместе со всем канонам исключен из Миней, а зачал этого ирмоса в других местах осталось невосполненным. Это произошло с ирмосом первой песни восьмого гласа (четвертого плагального, по греческому счету), имеющим зачалο Τῷ ἐκτινάξαντι. Оно фигурирует в минейной службе на 2 сентября [19] и в предтеченском каноне Октоиха во вторник утра [20]. Налицо дефект и Миней, и Октоиха — зачал ирмоса не есть ирмос, а ирмоса нигде нет! Его полный текст можно было найти только в аппарате книги И. В. Ягича. Имея в ноябрьской Минее 1097 г. только зачалο *истрАсѣшаа* (с. 301, 5), ученый сумел обнаружить полный греческий текст — в рукописной греческой Минее XII в. петербургской Публичной библиотеки (в книге — с. 585). Примечательно, что церковнославянские печатные Миней и Октоих всегда имели этот ирмос в полном виде:

*ИстрАсѣмому въ мори
моучительство Фараоне
и Израїла соушею наставльшемю
пѣимъ Христу
яко прослави сѧ во вѣки*

Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσῃ
τὴν τυραννίδα Φαραὼ
καὶ τὸν Ἰσραὴλ διὰ ξηρᾶς ὁδηγήσαντι
ἄσωμεν Χριστῷ
ὅτι δεδόξαται εἰς τοὺς αἰῶνας [21],

а византология датирует его открытие 1932 годом [22] — появлением публикации С. Евстратиадиса.

² Секвенция о св. Евлалии (IX в.), успенский гимн *Quant li solleiz* (XI—XII вв.), Мурбахские гимны и др.-в.-нем. *Carmen ad Deum* — все это по объему немногим больше рядовой славянской минейной службы одного дня из имеющихся 356, к которым вужно добавить тексты Триодей и Октоиха.

Неведение о книге И. В. Ягича остается в силе и поныне, изданная Римским университетом 12-томная серия *Analecta Hymnica Graeca* (1966—1980) на некоторых своих страницах выглядела бы иначе, если бы не открывались заново первоисточники, найденные И. В. Ягичем. Так, в соответствии с принятым в этой серии принципом не брать каноны, где-либо публиковавшиеся, можно было не включать в издание каноны св. Сусанне и пророку Ионе (АНГ I), Петру Капитолийскому, Евлампию и Евлампии, Карпу и Папиле (АНГ II), Акепсиму, Галактиону и Иоанну Милостивому (АНГ III) — все эти восемь обширных произведений опубликовал И. В. Ягич по рукописным греческим Минеям Петербурга и Москвы.

Ситуация, в которой оказался первый и единственный том «Памятников древнерусского языка» в истории науки, необъяснима. Наибольшую головоломку представляет собой отношение самого И. В. Ягича к своему детищу. «Историю возникновения церковнославянского языка» (1913) он построил на материале многих первоисточников, в том числе и очень поздних, но только не Миней 1095—1097 гг.; нет об этой книге ничего и в мемуарах ученого. Лишь работа с А. А. Шахматовым над «Энциклопедией славянской филологии» дала ему повод отметить в ней: «Мое желание, чтобы в хронологическом порядке издавались все важнейшие памятники с точно обозначенными годами XI—XIV стол., в силу которого изданы были мною Миней за сентябрь, октябрь и ноябрь, не нашло, к сожалению, последователей» [23]; печатая стихометрические материалы Р. Абихта, он сопровождал их редакторским замечанием, что заодно «нужно было бы тщательно исследовать историю славянского перевода Октоиха и, как это имеет место с евангельским текстом, попытаться реконструировать его древнейший облик, донныне это однако не сделано» [24].

Феномен книги И. В. Ягича представляет для русистики не только архивный интерес. Опубликована первая четверть годового круга Миней, вопрос о доведении дела до конца рано или поздно станет актуальным. Если целое будет иметь ту же участь, что и его первая четверть, то незачем приниматься за работу, нужно согласиться с новейшим, подлинно научным, лингвистическим источниковедением, где считается первоочередной задачей публикация рукописей не древнейших, как полагало ОРЯС, а более поздних, особенно XVI—XVII вв., имеющих в несметном количестве. Если же в Ягичевом решении задачи достаточно что-то изменить, и тогда годовой круг Миней, в том числе его первая четверть, начнет давать полезную отдачу, то необходимо уяснить, в чем должны заключаться эти изменения. И. В. Ягич отдавал себе отчет в их возможности, когда сказал в предисловии к Минеям: «Насколько мой труд удался, об этом судить не мое дело; я и сам сознаю, что он далек от идеального совершенства». Относилась эта самооценка прежде всего к результативности отыскания греческих первоисточников, где оставлено «немало пробелов» (с. 515), и ученый указал путь для конструктивной критики своего труда, пригласив читателей заняться восполнением лакун.

Суть проблемы лакун заключается в том, что минейный текст — это последовательность множества произведений (в годовом исчислении — десятки тысяч), написанных в разных жанрах многими авторами на протяжении V—X вв. Стабильности состава Миней, структурно сложившихся к X в., не было, каждый культурный центр и его периферия имели в этом отношении свое лицо, как имели его живопись, прикладное искусство, архитектура, музыка, обслуживавшие нужды культа. Искусствоведы-византологи эти лица различать умеют довольно хорошо, но для Миней

филологические критерии не выработаны. Основным источником для сличений, отвечающим примерно на три четверти вопросов при отыскании греческих текстов к славянским переводам, остается греческое церковное издание годового круга Миней. И. В. Ягич пользовался «печатной венецианской редакцией 1843 года — первою вышедшею в исправленном виде, трудом Варфоломея Кутлумусиана» (с. 516), личности известной [25]. Что это были за исправления, поведал нам лучший знаток византийских рукописей епископ Порфирий Успенский, объезжавший в это время Грецию. Он отмечает, что в печатании Миней «принимал деятельное участие ученый иеромонах Варфоломей, прозываемый Кутлумусианос по имени монастыря Афоно-Кутлумусского. Я в том же году 6 и 7 октября гостил у него на острове Халки, где под начальством его состояло греческое народное училище. Он, печатая Миней, в своем предисловии к ним преткровенно высказался, что „дерзнул заменить многие подлинные речения древних составителей Миней речениями и глаголами своими“, „ради гладкости и сладости притической речи“. Смелый, отважный справщик церковных книг!» [26].

Что непосредственное обращение к греческим рукописям было бы лучше для составления примечаний к новгородским Минеям, И. В. Ягичу было ясно. Но тогда подготовке примечаний не было бы видно конца, и ученый поступил правильно, воспользовавшись редакцией Варфоломея Кутлумусиана. На нее византологи вынуждены ссылаться и поныне (наряду с упоминавшимся выше римским изданием), а когда в 1933 г. вселенский патриарх назначил комиссию для выработки филологически корректного официального текста греческих Миней, то после нескольких сессий она вынесла единогласное решение о нереальности своей задачи ввиду полного отсутствия предварительных исследований [27].

Оспаривать можно только способ подачи И. В. Ягичем греческих текстов, найденных им в Минеях редакции 1843 г. Он счел достаточным все такие первоисточники обозначить кратким зачалом и указанием на страницу печатной Миней, где находится полный текст. Экономия за счет этого приема: 740 страницам славянского текста соответствует всего 90 страниц «Указателя греческих источников». Но эта же экономия способствовала понижению коэффициента полезного действия книги И. В. Ягича до того уровня, на котором он находится. Что в Маринском Евангелии или Болонской Псалтыри, изданных И. В. Ягичем, вообще нет греческого текста, никого не затрудняет, греческий Новый завет и Септуагинта имеются в количестве, которое во много раз превосходит тираж Маринского Евангелия и Болонской Псалтыри. Но нет пользы от ссылки на греческую печатную Миней, если она практически недоступна. Так было даже в 1913 г.: «У нас на Руси достать греческую богослужбную книгу — это все равно что найти клад», — сетует современник. Их не было не только в столичных университетских библиотеках, но и в духовных семинариях, где «полки библиотек гнутся не под книгами Романа Сладкопевца, Космы Майюмского, Иоанна Дамаскина и т. д., а под учебными изданиями Геродота, Гомера, Ксенофонта» [28]. Верится с трудом, если принять во внимание возможности синодального ведомства царской России и довольно широкий круг заинтересованных читателей³, но это факт, причина которого кроется в том, что казенное православие

³В предназначенной для высших учебных заведений «Хрестоматии» Н. М. Каринского взятый у И. В. Ягича фрагмент службы Воздвижению сопровождается рекомендацией привлечь к сравнению «соответствующие греческие тексты песнопений» [29]. К стихирам «Хрестоматии» С. П. Обнорского и С. Г. Бархударова такого совета нет, по отношению к первой стихире он был бы неосуществим, для нее византология располагает только зачалом: *Μιχαὴλ Ἀρχιστράτηγος τῶν πρυβάν λειτουργῶν* [30].

извлекло свои выводы из исторического урока раскола, возникшего как раз по поводу исправления богослужебных книг, и, не имея права формально запретить греческие Минеи, сумело создать невозможные условия для сопоставления греческих оригиналов и не всегда исправных церковно-славянских переводов⁴. В числе пострадавших оказался и И. В. Ягич — ведь он вынужден был пользоваться Минеей 1843 г., зная о существовании девятого издания 1880 г. (с. 516), Триодь ему была доступна в изданиях 1724 г. и 1862 г., тогда как наиболее совершенное римское издание 1879 г. могло бы предостеречь своим новшеством, стихометрическим членением текста, недооценку стиховой природы минейного материала, безразличной для древних переводчиков. Впрочем, И. В. Ягич видел первые образцы стихометрического анализа в работах Ж. Питра и В. Криста — М. Параникаса, признал, что так прочесть текст — это значит выкинуть в суть его поэтической формы (с. LXXVII), но оставил это без последствий для своего издания. Проявилось это, естественно, не там, где И. В. Ягич цитирует зачала по печатным источникам, а где он дает полный текст гимнов, найденных им в греческих рукописях. В этих случаях допущена непоследовательность: тексты даются либо вообще без пунктуации, либо с такой пунктуацией, которая соответствует синтаксическим представлениям XIX в., но всегда игнорируются стихометрические колонны, поставленные в самих рукописях.

Что было сделано И. В. Ягичем для восполнения текстов, в печатных греческих книгах им не найденных? Он упомянул, что греческими рукописями «мог пользоваться по библиотекам Петербурга, Москвы, Вены, Венеции» (с. 515). Но из венских рукописей в «Указателе греческих источников» не процитировано ничего; единственная венецианская рукопись, соф. CLXVI библиотеки св. Марка, XIII в., дала всего семь строчек — найти их было очень непросто, судя по тому, что итальянское византиноведение до сих пор считает эти две стихирь службы 7 ноября неопубликованными, известными только по зачалам *Αὐτός καὶ Ταύριωνος Χριστός* и *Μάστιξι: ξέμενοι, σοφοί* [30, т. 1, с. 203, т. 2, с. 380], напечатанным в 1939 г. в александрийском журнале, свои источники не назвавшем [31]. Таким образом, греческие рукописи Петербурга и Москвы — основа, на которой велось рукописные разыскания И. В. Ягича; кроме того, ему удалось выявить по косвенным данным те рукописи Италии, которые остались ему недоступными, но содержат греческие оригиналы к шести канонам.

I. То, что на 1 сентября в новгородской Минее называется вторым канонам, св. Симеону (с. 09—015), имеет только этому произведению присущие особенности, в которые И. В. Ягич вдаваться не стал, хотя материал для наблюдений выявил. Прежде всего, он установил на примере греческой Минеи московского Румянцевского музея (ныне Библиотека им. Ленина), что может быть такое: канон как целое отсутствует, но несколько тропарей из него — *nonnulla stichera*, как он выразился не совсем точно, поскольку тропарь и стихира не есть одно и то же, — имеются. Случай ощущения некоторых тропарей — не редкость как в славянских, так и в греческих рукописях, но никогда не бывает, чтобы редукция заходила так далеко, до того, что остались всего несколько тропарей. Второй особенностью является маргинальное *же*^н, по одному разу в первых пяти песнях канона (при тропарях 010,7—010,20—011,5—011,18—012,5), принадлежащих первой тетради, написанной «в конце XII или еще вероятнее в начале XIII в.» (с. 03). Такого знака нет нигде больше во всей книге, объяснения ему не дано.

⁴ Сейчас единственным учреждением в нашей стране, имеющим полный комплект греческих богослужебных книг в лучших изданиях, является Институт рукописей им. К. С. Кекелидзе АН ГрузССР (Тбилиси).

В настоящее время этот канон, на наличие которого в греческой криптоферратской Минее И. В. Ягичем указано (с. 606), издан [32, с. 1—20] и называется он канонем индикту, Симеону Столпнику и святым женам, in Indictionem, in S. Symeonem Stylitam, in Ss. Mulieres. Из этого становится ясным, что маргинальная помета *же^н* обозначает те тропари, в которых речь идет о святых женах, а необычно краткий набор гимнов Румянцевской Минее является одним из компонентов, на каком-то этапе эволюции текста слившихся в единый большой канон. Критическое издание в АНГ и расчленение его традиции на несколько редакций отнюдь не решило всех вопросов истории текста: славянский перевод содержит восемь тропарей, во всех привлеченных пяти греческих рукописях канона отсутствующих! Отсутствуют греческие тексты следующих тропарей: 010,9—010,18—010,20—011,20—013,12—014,3—014,5—014,24. Попутно отметим, что к одному из этих мест, к строке 013,12, относится палеографическое недоумение И. В. Ягича: «Только в сентябрьской Минее иногда попадаетея какой-то знак, похожий на лежащую или наклонную фиту, или на рыбку» (с. XXXIII, XLI). Это — маргинальный знак, который во многих известных мне греческих рукописях Минее обозначается троичен (*τριάκον*), то есть тропарь, в котором речь идет о Троице.

II. Недоступный И. В. Ягичу, но известный ему по косвенным данным (с. 606) греческий оригинал канона св. Кириллу Гортунскому, 6 сентября (с. 055—060), теперь опубликован [32, с. 98—107], структура критического текста полностью совпадает с той, какая есть в славянском переводе, она закреплена акростихом.

Появилась возможность снять вопросительный знак, поставленный И. В. Ягичем в примечании к испорченному переводчиком или писцами тропарю 057,18. В издании: *Народы, вѣрныи бѣмоудрѣне, многоцѣльныи лѣчьшоу дѣиоу приносѣ, дѣло блѣгообнѣма сѣ и жьртѣвою самовольноу творьчо себе принесѣ еси*, с примечанием к первому слову: *марды в Минее первой половины XII в. новгородского Софийского собора, не на рзды ли?* Эмendaция, в том числе и расстановка знаков препинания, оказалась неудачной, оригинал гласит:

Νάρδου πιστιχῆς,
 θεόφρον, πολυτίμου
 κρείττονα ψυχῆς
 προσφέρων ἐργασίαν,
 εὐωδίασθης καὶ θύμα
 ἐθειλουσίως
 τῷ ποιητῇ σαυτὸν προσήγαγας.

Иосиф Гимнограф имел в виду не *народы*, а благовоение из драгоценного *нарда* (ср. Мк 14,3; Ин 12,3)!

III. Канон кресту (с. 0127—0133, поспразднество Воздвижения⁵, 15 сентября), для которого И. В. Ягич на с. 531 назвал греческий источник — криптоферратскую рукопись Δ.α.Ι, сейчас издан по пяти рукописям [32, с. 251—262], три из которых относятся к XVI—XVII вв., а одна обозначена как недатированные фрагменты Ватиканской библиотеки. Лучшей остается Δ.α.Ι, рукопись конца XI или начала XII в. Но и она не полностью удовлетворит русиста — наша новгородская Минеея 1095 г. происходила от другой, более полной ветви греческой традиции. Текст И. В. Ягича содержит 12 тропарей, в критическом издании текста АНГ отсутствующих: 0127,25—0128,3—0128,19—0129,13—0129,16—0130,5—

⁵ О символизме Воздвижения см. [33].

0130,7—0130,9—0131,24—0131,26—0132,1—0132,25. Первоначальное число тропарей оригинала неопределимо, так как акростиха в каноне нет, известно только имя гимнографа — Андрей.

IV. Канон мученика Савиниану, Павлу и Татте, 25 сентября (с. 0198—0202), на наличие которого в криптофerratской Минее указано И. В. Ягичем (с. 544), в АНГ не вошел. Он был опубликован до этого [34], его зачало — *Εἰδωλοῦ καὶ κρυπνομένου κλύδωνος*.

V. Канон мученице Епихарии, 27 сентября (с. 0209—0212), отмечен И. В. Ягичем в той же Минее. Критический текст [32, с. 349—359] содержит все, что есть в славянском переводе, и сверх этого вторую песнь и один дополнительный тропарь четвертой песни. Канон имеет акростих и автора — Иосифа Гимнографа.

VI. Канон мученикам Авкту, Тавриону и Фессалоники, 7 ноября (с. 313—317). И. В. Ягич имел возможность сослаться только на криптофerratскую Минее XII в. (с. 588), но сейчас имеется критический текст [35], основанный на пяти рукописях, две из которых относятся к XI в. По структуре он полностью совпадает со славянским переводом, имеет акростих и автора — Иосифа Гимнографа.

Особым случаем является служба 12 сентября, по «Указателю греческих источников» — *Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀυτονόμου καὶ Κορυνούτου* (с. 529). В каноне И. В. Ягич выявил четыре тропаря, отсутствующие в печатном тексте, и обозначил их условными обратными переводами: 1) в песни 3: *Sequitur troparium, cuius initium Ὠρθησας πρὸς θεόν*; 2) в песни 4: *Sequitur stich. Θεσίαν*; 3) в песни 6: *Abest graece troparium, quod incipit Πόνους*; 4) в песни 8: *Interpres slav. addit troparium Καθαρώς*.

Есть возможность объяснить это приращение. Оно является не продуктом творчества славянского переводчика, а результатом контаминации. В основной канон мученику Автоному, четвертого гласа, имеющийся в печатной Минее, были влиты тропари, взятые из канона мученику Коронату, восьмого гласа⁶, критический текст которого сейчас издан по трем рукописям — Ватиканской конца X или начала XI в., Бодлеянской библиотеки (Оксфорд) XI в. и криптофerratской конца XI или начала XII в. [32, с. 212—216]. Вот так выглядит это приращение:

1) В песни 3:

Оурани къ боу,
къ истиньномуу слапоу,
миче моудре
многобезбожик
мракъ разгъналъ еси.

Ὠρθησας πρὸς κύριον
τὸν ἀληθέστατον ἥλιον,
μάρτυς σοφέ,
καὶ πολυθείας
τὴν ἀχλὺν ἐξηράνισας.

2) В песни 4:

Жьртвоу како непорочноу
словеси пожре ся, самъ ся принесе
пострадавъ же крѣпѣѣ
и безбожие низложилъ еси.

Ἐρετων ὡς ἄμωμον
ἐλόγῳ τῷ τυθέντι σαυτὸν προσήγαγες
να θλήσας καρτερώτατα
καὶ τὴν ἀνείαν τροπωσάμενος.

3) В песни 6:

Болѣзньми ти мнози подвигы,
поты же и биения, миче,
и раны
многое търпѣшик
и прѣсловоуцоую, славне, съмьреть
възъмъ избавитель,
бесъмьретьнѣи тѣ слаѣ съподоби.

Τοὺς πόνοους σου, τοὺς μυρίους ἰδρώτας,
τὰ παλαισμάτα, τὰ στίγματα, μάρτυς,
τοὺς αἰτισμούς,
τὴν πολλὴν καρτερίαν
καὶ τὸν ἀσθιμὸν, ἐνδοξε, θανάτου
ἀγάμενος ὁ λυτρωτής
ἀθανάτου σε ὀδῆξ ἡξίωσε.

⁶ О славянском соединении этих гласов и его причинах см. [36].

4) В песни 8:

Что побѣдныа вънща исплете
 побѣаемъ мечьма
 и чстѣ оудьръжаемъ,
 стрѣче Корнате,
 мчникомъ сидание.

Ἱερωνίκους στεφάνου ἀνεπλήξω
 τριμπαρίζμενος εἶπει
 καὶ ἱερῶς κλειζόμενος,
 ἀθλητὰ Κορωνάτε,
 μαρτύρων ἀγλαίσμα.

Исчерпав свои возможности находить греческие источники, И. В. Ягич остающийся славянский материал отразил в «Указателе» как неопознанный, «с попыткой передать по-гречески первое слово или начало каждой стихиры или песни, чтобы будущим исследователям облегчить задачу отыскивания» (с. 516). Строго говоря, это сделано не для каждой стихиры или песни; облегчения первые исследователи не испытали, отыскивание могло осуществляться в основном на дополнительных греческих рукописях Миней, и если такие рукописи оказались бы доступными, то отыскание недостающего целесообразно вести путем простого сопоставления самих текстов, минуя условные обратные переводы начал, которые даже при очень хорошем знании языка и чувстве стиля чаще не совпадут, чем совпадут с реальным оригиналом, в чем мы только что убедились на интерполяциях из канона Коронату. Но все же расчет И. В. Ягича оказался в дальней перспективе правильным: к нашему времени создан справочник Э. Фоллиери, дающий возможность как раз по греческому началу гимна найти все сведения о нем. В результате этого, даже не вводя в науку новые рукописи, некоторое количество лакун «Указателя греческих источников» можно заполнить, руководствуясь обратными переводами И. В. Ягича. Приведем несколько примеров.

1. К воздвиженской стихире *Възнесе а на крстѣ, Хѣ бѣ и спсе, члѣвскыи родѣ слави мѣ страсти твоа* (с. 0121,7) в «Указателе» дана помета *graece* поп invenī и зачало в обратном переводе: Ὑψώθης ἐν τῷ σταυρῷ (с. 530). Через посредство Follieri (IV, 456) устанавливаем, где этот гимн находится, хотя и с несколько иным зачалом: Октоих, глас 8, во вторник вечера и в четверток вечера, крестная стихира на стиховне. Полный текст: Ὑψώθης ἐν σταυρῷ Χριστῆ ὁ Θεός, καὶ ἔσωσας τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος δοξάζομέν σου τὰ παθήματα. По греческому тексту корректируем славянскую пунктуацию: запятая после *спсе* неуместна, так как это слово является не существительным в звательном падеже, как полагал И. В. Ягич, а глаголом, имеющим в качестве прямого дополнения *родѣ*; запятую нужно перенести на ее место перед союзом *и*.

2. Там же отыскивается уникальный феотокион канона Павлу Исповеднику, 6 ноября (с. 308, 20), обозначенный в «Указателе» корректным зачалом Σὲ τὴν ἀειπάρθενον (с. 588). Его место в Октоихе — крестовоскресный канон четвертого гласа. Неиспользование Октоиха в разыскании греческих источников было упущением, особенно досадным потому, что И. В. Ягич знал этот источник — и как рецензент труда архимандрита Амфилохия «О самодревнейшем Октоихе XI века югославянского юсового письма» (М., 1874) [37], и как автор обстоятельного исследования о загребском Октоихе [38].

3. К службе преподобному Аверкию, 22 октября, «Указатель» отмечает, что *tria quae deinceps excipiunt stichera, graece absunt*: «Ὅσιε πάτερ Ἀβέρκιε ἱεραρχίας τὴν στολήν — «О. п. ᾿Α. ταῖς σαῖς θερμότηταις — «О. п. ᾿Α. ἀγρίαις (с. 570). Удачным в этих обратных переводах оказалось только обращение «Ὅσιε πάτερ Ἀβέρκιε, но и этого достаточно, чтобы обнаружить искомые стихиры, которые начинаются так: «О. п. ᾿Α., ἱερωσύνης στολήν — «О. п. ᾿Α., σοῦ ταῖς θερμαῖς πρὸς Θεόν — «О. п. ᾿Α., τὸν ἱταμῶς κατὰ σοῦ [39]. Для критики славянского текста особенно интересна вторая из них:

Прѣне оче Аверкиѣ,
 тоюими теплыми вѣже къ боу
 и чьстными молени
 на болащизѣ врачеваник
 и старас избавленик
 теплыхъ водѣ
 источникъ источникъ кси,
 недоугомь
 оуставляюща вары,
 бѣсы погоубилъ кси,
 и трѣбища раздроушилъ кси
 идольская,
 приводя въ разоумъ
 Хво стадо.

“Ὅσιε πάτερ Ἀβέρκιε,
 σοῦ ταῖς θερμαῖς πρὸς θεὸν
 καὶ σεπταῖς παρακλήσεσιν,
 εἰς νοσοῦντων ἰαση
 καὶ παθῶν ἀπολύτρωσιν
 θερμῶν ὑδάτων
 πηγᾶς ἀνέβλυσας,
 ἀρρώστημάτων
 παρούσας καύσωνα·
 δαίμονας ἄλεσας,
 καὶ βωμῶς κατέαξας
 εἰδωλικούς,
 ἄγων πρὸς ἐπίγνωνσιν
 Χριστοῦ τὸ ποιῆμιον.

К стиху 9 И. В. Ягич дал разночтение: вместо *вары* в двух новгородских рукописях, первой половины XII в. и 1370 г., написано *враги*; «лучше так, как в нашем тексте, потому что речь идет о источниках теплых вод» (с. 155). Теперь становится ясно, что *вары* — не просто лучшее, а единственно правильное чтение. Вместо утраченного возникает новое сомнение: такую ли подразумевал энергетическую контрастность византийский стихирарный пнит, что у недугов греховности — *варь* «жар» (*καύσων*), а у молений и избавительного источника — только теплота? Может быть, их символическая температура по меньшей мере равна, если принять во внимание семантическую применимость прилагательного *θερμός* к серафимам (букв. «пылающим»), засвидетельствованную в языке Дионисия Ареопагита? [40].

4. К одной из стихир мученику Акиндину и иже с ним, 2 ноября, в «Указателе» значится: Stich. quod sequitur abest, habet sic: Μάρτυρες θεομακάριστοι (с. 581). Стихира эта опубликована учеными болландистами — иезуитами, специализировавшимися по агиографии [41]. Из их издания явствует, что в славянском тексте речь идет о первой строфе стихир, состоящей из трех строф; новгородская Миней 1097 г. содержит строфы первую и третью, для которой И. В. Ягичем греческое соответствие найдено в рукописной Минее XII в. собрания Порфирия Успенского, а греческая первая строфа выглядит так:

Мчници бгоблжнии
 многовидимыя раны
 бжиа ради любве
 крѣпцѣ подѣ ксте,
 и точеникмъ же крове
 всю идольскою лъсть ѡмывъше,
 съвършена
 жертважививъше ся
 въсьвѣшному
 и чисты юноткы,
 и насъ ради
 страсти прѣтрьпѣвше
 достодивнии.

Μάρτυρες θεομακάριστοι,
 πολυειδεῖς αἰκισμοῦς
 διὰ πόθον τὸν ἐνθεον
 καρτερῶς ἠνέγκατε·
 καὶ τοῖς ρείθροις τοῦ αἵματος
 πᾶσαν εἰδῶλων πλάνην ἐκπλύναντες
 τελειοτάτη
 θυσία ὤφθητε
 τοῦ ἀνατεῖλαντος
 ἐξ ἀγνῆς Θεόπαιδος
 καὶ δι' ἡμᾶς
 πάθη ὑπομείναντος,
 ἀξιοθαύμαστοι.

Теперь многовидимыя раны стали понятными, это не что иное, как «разнообразные истязания»; предпринятое И. В. Ягичем исправление рукописного *теченикъмъ* на *точеникъмъ* приходится отклонить, *ρεῖθρον* — понятие предметное, а не название процесса; в стихе 10 и является предлогом *из*, с позиционно обусловленным выпадением согласного.

Не заинтересовал И. В. Ягича певческий аспект Минеи, отсюда невозможный обратный перевод нумерации гласов, когда, например, *гласъ ѱ* передается через $\tilde{\eta}\chi\omicron\varsigma \eta'$, вопреки тому, что византийцы считали гласы в ином порядке, с применением фактора плагальности [36]. Невнимание к музыкальному началу отрицательно сказалось на филологическом качестве проработки ирмологийных интерполяций минейного текста. Они не объяснены, зачала не получили восполнений, некоторые оставлены без перевода. Что представляет собой надписание, обязывающее певцов петь светилен так, как поется *жены оуслыш(у)*, на с. LXVI и 0237? Читатель должен пройти не краткий путь самостоятельных разысканий, прежде чем он догадается взять цветную Триодь и найти в ней экзастиларий канона мюроносцам, в неделю третью по Пасхе: $\Gamma\upsilon\upsilon\alpha\tilde{\iota}\chi\epsilon\varsigma, \acute{\alpha}\kappa\omicron\upsilon\tau\acute{\iota}\sigma\theta\eta\tau\epsilon \varphi\omega\tilde{\nu}\eta\eta \acute{\alpha}\gamma\alpha\lambda\lambda\acute{\iota}\alpha\sigma\epsilon\omega\varsigma$, *Жены, оуслышите гласъ радованиа*.

Достаточно сложная для типографского исполнения книга И. В. Ягича печаталась не в том порядке, какой обычен в наше время. В академическую типографию была сдана рукопись книги, в которую входили Минеи за октябрь и ноябрь. После этого автору довелось ознакомиться с сентябрьской Минеей, присланной ему в Петербург из Москвы, и он пришел к выводу, что она имеет равное основание быть включенной в книгу. В спешном порядке было подготовлено добавление, которое нужно поставить в начале книги. Менять пагинацию отпечатанных октябрьских листов было невозможно, сентябрьская часть тома получила собственную пагинацию. Новые материалы для сличений, новые идеи по усовершенствованию примечаний возникали по ходу печатания листов. Автор добавляет: «Когда уже полный текст октябрьской служебной Минеи по вышеупомянутым источникам и пособиям был напечатан (всех 15 листов, только 15-й был еще в корректуре), доставлено мне из московской синодальной библиотеки еще одно важное пособие: октябрьская Минея № 160, рукопись XII века, 241 лл.». На этом основании срочно пишутся дополнения к дополнениям (с. 241). Затем еще радостная новость: «В синодальной Минее за месяц ноябрь я нашел неожиданно под 9 числом полный канон св. Иакова Алфеева, тот самый, который мною уже отпечатан выше... Отметим все более замечательные разночтения, сказав предварительно, что синодальный октябрьский текст этого канона тот же самый» (с. 262). Такой же характер имеют «Дополнения и поправки» к ноябрьской части: «Не имея возможности в начале печатания этого месяца воспользоваться для разночтений также синодальнотипографским списком..., мы должны здесь дополнить из него кое-что полезное по отношению к критике текста или к истории языка» (с. 505). Привлечение византолога состоялось на той стадии, когда уже мало что можно было изменить — академик Август Наук принял «любезное участие в чтении корректур» (с. 11). Обширное «Введение» писалось (или переделывалось?) в последнюю очередь и нагляднее всего показывает, как опасно совмещать во времени процесс написания книги и процесс типографский. «Введение» по самой своей структуре хаотично, в нем нет даже списка принятых сокращений, взгляды автора на проблемы пунктуации древней и новой развиваются в конце тома, в главке «Опечатки» (с. 607), хотя их естественным местом было бы «Введение», где есть немало страниц, насыщенных материалом интереснейшим, но совершенно не относящимся к теме. Таковы пространные куски текста из Минеи январских, февральских, майских, июньских — ранних и поздних, с публикуемыми Минеями сентября — ноября по содержанию не связанные. «Я ручаюсь только за точную передачу славянского текста», есть такая фраза в книге (с. XCIII—XCIV). Но когда печаталась работа М. И. Карнеевой «Язык служебной Минеи 1095 г.», ее руководитель счел нужным представиться читателям приме-

чанием на первой странице: «При корректуре примеры из Минеи проверены мною по рукописи. *Николай Дурново*» [42].

Что чему должно предшествовать, исследование текста его изданию или издание — исследованию? Оба принципа имеют своих сторонников и осуществлены на практике. Один крайний случай — когда исследование рукописи длится столько, что лексикографы не могут дожидаться изданного текста и вынуждены наполнять свои картотеки выписками непосредственно из рукописи литературного памятника, этим словаря древнерусского языка отличаются от словарей древне немецкого, старофранцузского, древнеанглийского и некоторых других языков. Противоположные примеры — воспроизведение рукописи наборным текстом «буква в букву», когда в аппарате подстрочных примечаний описывается каждый паерок и его графические варианты и закоординирована каждая капля воска от древней свечи, упавшая на страницу, но нет никаких вторжений в запретную область смысла текста.

Изданное И. В. Ягичем имеет другой характер. Оно построено с учетом того, что процесс познания бесконечен и, чтобы исследовать текст, исследователи должны его иметь, а закончив свое дело на данном витке спирали познания, они переиздадут этот текст более совершенно. Памятник, если он того заслуживает, издается не один раз. Древнейший документ славянского письма, Киевские глаголические листки, И. В. Ягич издал лучше, чем до него И. И. Срезневский, а в наши дни Иосип Хамм издал его лучше, чем это сделано И. В. Ягичем, что отнюдь не закрыло возможности дальнейших усовершенствований. На сегодня созрели условия для того, чтобы и новгородские Минеи 1095—1097 гг. можно было издать совершеннее, чем сто лет тому назад. Главное из этих условий — сам факт существования монументального труда И. В. Ягича.

ЛИТЕРАТУРА

1. Извлечения из протоколов Имп. Академии наук. Заседания ОРЯС (январь — май 1882 г.). В кн.: Сборник ОРЯС Имп. АН, СПб., 1882, т. 30, с. II—III.
2. Отчет о деятельности II Отделения Имп. АН за 1886 год, составленный А. Ф. Бычковым. СПб., 1887 (= Сборник ОРЯС Имп. АН, т. 41), с. 5—6.
3. Письма И. В. Ягича к русским ученым. 1865—1886. Под ред. Виноградова В. В. и Блока Г. П. М.—Л., 1963.
4. *Дурново И. И.* Введение в историю русского языка. М., 1969, с. 52—54.
5. *Обнорский С. П.* Исследование о языке Минеи за ноябрь 1097 г. «Известия ОРЯС», Пг., 1924, т. 29.
6. *Обнорский С. П. и Баргударов С. Г.* Хрестоматия по истории русского языка: Пособие для студентов педагогических институтов и университетов. Ч. I, М., 1952, с. 30.
7. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. Под ред. Борковского В. И., М., 1978, с. 4.
8. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение. Под ред. Борковского В. И. М., 1979, с. 3.
9. *Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. М., 1965, с. 18.
10. *Slovník jazyka staroslověnkého*, 2. Praha, 1959, с. LXVI.
11. Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи. Под ред. Аванесова Р. И. М., 1966, с. 133—134.
12. *Жуковская Л. П., Котков С. И.* О публикации памятников русского языка и письменности.— ВЯ, 1960, № 4, с. 136.
13. Русская демократическая сатира XVII в. М., 1977.
14. *Жуковская Л. П.* Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976, с. 17.
15. *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. М., 1977.
16. Материалы для биографического словаря действительных членов Имп. АН. Ч. 2. Пг., 1917, с. 261.
17. *Wisłocki W.* Bibliografia prac A. Brücknera.— In: *Studia staropolskie. Księga ku czci A. Brücknera.* Kraków, 1928.

18. *Berbelicki W.* Uzupełnienia do Wislockiego.— In: W trzydziestolecie śmierci A. Brücknera. Kraków, 1971.
19. Μηνιαία τοῦ ἐλαυ ἐνιαυτοῦ, I. Ἐν Ῥώμῃ, 1888, с. 28.
20. Παρακλητικὴ ἴτοι Ὀκτώηχος ἡ μεγάλη. Ἐν Ῥώμῃ, 1885, с. 648.
21. *Eustratiades S.* Εἰρηολόγιον. Chennevières-sur-Marne, 1932, с. 229.
22. *Follieri H.* Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae. T. IV. Città del Vaticano, 1963, с. 326.
23. Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910 (= Энциклопедия славянской филологии, вып. 1), с. 891.
24. *AfsIph*, Bd. 36, с. 428.
25. Τομαδάκη Ν. Β. Εἰσαγωγή εἰς τὴν Βυζαντινὴν Φιλολογίαν. Ἐν Ἀθήναις, 1958, с. 98-100.
26. Порфирий Успенский. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты в 1846 году. Ч. 2, отделение I. Киев. 1877, с. 444.
27. *Ledi J. Marie* dans la liturgie de Byzance. Paris, 1976, с. 22.
28. *Мироносицкий П.* Ясное и сокровенное в богослужебных песнопениях. СПб., 1913, с. 13.
29. *Каринский Н. М.* Хрестоматия по древнецерковнославянскому и русскому языкам. Ч. I. СПб., 1911, с. 150—154.
30. *Follieri H.* Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae. T. I—V. Città del Vaticano, 1960—1966.
31. «Ἐκκλησιαστικὸς Φόρος» 38. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, 1939, 161.
32. *Analecta Hymnica Graeca*. I. Roma, 1966.
33. *Мурьянов М. Ф.* Статья Тита Бострского.— В кн.: Изборник Святослава 1073 г. М., 1977, с. 313.
34. «Νέα Σιών», 28. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1933.
35. *Analecta Hymnica Graeca*. III. Roma, 1972, с. 189-207.
36. *Мурьянов М. Ф.* О старославянском *искръ* и его производных.— ВЯ, 1981, № 2.
37. *AfsIph*, 1877, Bd. 3.
38. *Jagić V.* Opisi i izvodi iz nekoliko južnoslovanskih rukopisa.— *Starine*, Zagreb, 1878, t. 10.
39. *Pitra J. B.* *Analecta Sacra* spicilegio Solesmensi parata. T. II. Paris, 1884, с. 187.
40. *Lampe G. A.* *Patristic Greek Lexicon*. Oxford, 1968, с. 645.
41. *Acta Sanctorum*. Novembris t. I. Paris, 1887, с. 508.
42. Русский филологический вестник. 1916. т. LXXV, № 1-2, с. 158.

МАРОЕВИЧ Р.

ОППОЗИЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ФОРМ
ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ(К вопросу о природе имен типа *Vъsevoloža ja*
в древнерусском языке)

При оппозиции определенных (полных) и неопределенных (кратких) форм прилагательных притяжательные прилагательные, использующиеся для выражения индивидуальной принадлежности, выступали в древнерусском языке как нейтральные. Формально, с учетом своего именного склонения, притяжательные прилагательные на *-jъ, -ьn'ъ, -ovъ, -inъ* могли быть только неопределенными (краткими). Н. И. Толстой справедливо отмечает в этой связи, что и в старославянском языке у притяжательных прилагательных «корреляция полных и кратких форм полностью отсутствует и употребляется исключительно краткая форма» [1, с. 91].

Принимая во внимание указанную оппозицию, можно объяснить, почему притяжательные прилагательные являются нейтральными. Так, А. Белич считает, что притяжательные прилагательные «означают не особенность, которая может быть известна или впервые открыта, но отношение и при этом определенное отношение по принадлежности». При отсутствии анафорического местоимения имя существительное «обозначается достаточно» уже самим притяжательным прилагательным [2, с. 216]. Сходные объяснения дают и другие ученые. Л. П. Якубинский пишет: «Притяжательные прилагательные не нуждались, собственно, ни в каком дополнительном оформлении в виде члена для выражения определенности — по той причине, что они сами по себе, по своему значению, характеризовали предмет как вполне определенный» [3, с. 214]; Н. И. Толстой указывает, что «индивидуализация, обособляющая указание на принадлежность единичному обладателю, делает, естественно, излишним еще какое-либо формальное указание на нее. Лексическая определенность притяжательных прилагательных была столь ярка, что не возникла необходимость в грамматическом оформлении определенности» [1, с. 93].

Между тем, и притяжательные прилагательные довольно рано претерпели влияние склонения полных прилагательных. Раньше всего окончания полных, определенных прилагательных были перенесены в древнерусском языке на форму твор. падежа ед. числа муж. и ср. рода, а также на формы род., дат., твор. и местн. падежей мн. числа всех трех родов [ср. 4, с. 102а, 107; 5, с. 170; 6, с. 400—401]. В древнерусских памятниках XI—XIV вв., в соответствии с данными исследования В. З. Санникова, прилагательные на *-ovъ, -inъ* и *-jъ* имеют в 98,8% случаев окончания именного склонения [5, с. 171]. С. Я. Макарова приводит отдельные примеры именного склонения в указанных падежах, показывающие более раннее языковое состояние — именное склонение притяжательных прилагательных во всех падежах [4, с. 102а, 105—106].

Однако в одном специальном значении и синтаксическом употреблении представлены субстантивированные притяжательные прилагательные с местоименным склонением: речь идет о категории имен по мужу типа *Vъsevoložaja*. На эти формы указывал еще А. А. Потебня: «... членность была одним из средств субстантивирования. Отсюда в стар., в цсл. и русск. правило, что жена по мужу обозначается прилагательным притяжательным членным» [6, с. 401]. А. А. Шахматов указывал, что формы типа *жордеевая* и *Васковая* «являлись при употреблении прилагательного в субъекте» [7, с. 296—297]. На субстантивную природу форм типа *Vъsevoložaja* указывает и В. И. Борковский: «Это прилагательное субстантивируется в данном синтаксическом его употреблении. Однако здесь намечается и переход имени прилагательного в имя существительное, поскольку при этом прилагательном нет необходимости восстанавливать определяемое слово — существительное. На определенное лицо (именно на жену, а не на мать, дочь, сноху) указывает сама местоименная форма (при словах *мать, дочь, сноха* была бы именная форма)» [8, с. 252].

Существуют и другие объяснения форм местоименного склонения притяжательных прилагательных. Так, П. С. Кузнецов высказал мнение, что употребление форм именного и местоименного склонения прилагательных зависит от рода того существительного, при котором употреблено притяжательное прилагательное: «Суффиксы — одни и те же — могли являться в составе как именных, так и местоименных прилагательных. И даже от притяжательных прилагательных типа *володимирь, всеволожь* могли употребляться те и другие формы. Местоименные формы обычны в женском роде (при именных в мужском, ср. в Лаврентьевской летописи: Ярославъ снъ стбполчъ (л. 96); за ярославича ростислава внука всеволожа олговича (л. 137); снѧ ярославля внука всеволожа (л. 168); послаша всеволожю¹⁰ и митрополита никола (л. 88 об.); всеволожая же и митрополить придоста... (л. 89); ... преставися княгыни изяславляя (л. 112 об.); а ростиславлюю мтръ... прияша (л. 127об.)» [9, с. 241].

Последний пример, которым П. С. Кузнецов подкрепляет свою точку зрения, мог бы означать, во-первых, что притяжательные прилагательные в определенной форме использовались не только для наименования жены по мужу, но имели более широкое значение, и, во-вторых, что они использовались не только в значении имени существительного, но имели бы и чисто адъективную функцию (из примера, приведенного П. С. Кузнецовым, следует, что *Ростиславлюю* является согласованным определением при вин. падеже существительного *матерь*). Тем самым высказанная ранее точка зрения могла бы быть поставлена под сомнение, как в отношении значения форм типа *Vъsevoložaja*, так и в отношении их грамматической природы. Между тем пример, на котором П. С. Кузнецов основывает свою концепцию, дается вне контекста и интерпретирован ошибочно. Приведем его полностью: «Мстиславъ же бѣжа Новугороду. а Ярополкъ Рязаню. а *Ростиславлюю* мтръ их. с снохома прияша володимерци» [ЛЛ. 1377, л. 127об. (1176)]¹. В приведенном примере форма *Ростиславлюю* не является, таким образом, объектным определением при вин. падеже *матерь* [формы *Ростиславлюю* и *матерь* представляют собой два однотипных прямых объекта: Мстислав бежал в Новгород, а Ярополк в Рязань, а Ростиславицу (=жену Ростислава), их мать (т. е. мать Мсти-

¹ Материал, не подтвержденный специальной ссылкой на источник, приводится по данным Картотеки древнерусского языка XI—XIV вв. Данные об источниках и их сокращениях см. в [10, 11]. Относительно сокращения ГрБ см. также [12]. Примеры из памятников даются в упрощенной графике аналогично тому, как это имеет место в [24]; сокращением ДКУ обозначаются «Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв.» (М., 1976).

слава и Ярополка) с (двумя) снохами захватили владимирич]. Форма *Ростиславлюю* является самостоятельно употребленным субстантивированным притяжательным прилагательным в определенной форме и имеет значение специфического имени по мужу, как и в трех предшествующих примерах, приводимых П. С. Кузнецовым².

Наше толкование подтверждают и другие примеры из древнерусских летописей: въ ть же дѣнь *Мѣстиславляя* мѣти его. иде Вышегороду [ЛИ ок. 1425, л. 190об (1169)]; приеха... кнѣз Рюрикъ... со сѣомъ Ростиславомъ и Володимеромъ. и съ дочерью своею Передѣславою. и со снохою. *Ростиславлюю* [ЛИ ок. 1425 л. 243об (1199)]; и тако побѣже Стѣславъ... и жена и дѣти и ятровъ свою *Игоревую* поя со собою [ЛИ, ок. 1425, л. 123 об (1146)]. В первом примере синтагма *мѣти его* является приложением при подлежащем *Мѣстиславляя*, во втором примере перед нами два однотипных косвенных объекта (*снохою*; *Ростиславлюю*), а в третьем — два однотипных прямых объекта (*ятровъ свою*; *Игоревую*).

Некоторые авторы подчеркивают, что формы типа *Vъsevoložaja* имели, наряду с наименованием жены по мужу, и патронимичное значение [14, с. 327; 15, с. 107] или что они использовались только как патронимы [16, с. 159]. В качестве примера с патронимичной функцией Н. И. Букатевич и О. А. Волкова приводят *Варвару Гюргевою*, упоминающуюся в Новгородской летописи, в то время как С. В. Фролова не утверждает категорично, что в каких-либо примерах представлено именно такое значение. Рассмотрим пример, который используют Н. И. Букатевич и О. А. Волкова для иллюстрации патронимичного значения: преставися раба бѣжия Хръстна сѣтя Варвары. и поставиша на мѣстѣ ей избра влѣдка и сестры все. кротьку и сѣмѣрену именьмъ *Варвару. Гюргевою. Олекшиница*. и постави во влѣдка на сборъ сѣтя Еуфимие [ЛН XIII, л. 55об (1195)].

В издании Новгородской первой летописи в индексе собственных имен в качестве игуменьи Варваринского монастыря указывается *Варвара Юрьевна*. Издатель летописи, как и названные выше авторы, возможно, на основе контекста делает вывод, что *Гюргевою* является не именем по мужу, а именем по отцу (отчеству). Мы позволим себе не согласиться с указанными мнениями. Во-первых, трудно предположить, что формы типа *Vъsevoložaja* использовались в древнерусском языке и как имена по мужу, и как имена по отцу, тем более что в патронимичном значении употреблялся суффикс *-ьна*. Во-вторых, имя по мужу жена сохраняла как после смерти мужа, так и после развода (прекращения брачных отношений). Таким образом, именем *Vъsevoložaja* могли быть обозначены: 1) жена Всеволода, 2) жена покойного Всеволода и 3) бывшая жена Всеволода. Судя по следующим словам, в приведенном примере речь идет о бывшей жене: челоуали бо бяху хрестъ честныи... *Гюрги Олекшиниць*. Гаврильць Милятиницъ. и съ женами и съ дѣтми [ЛН XIII, л. 83об (1216)].

Какова грамматическая природа форм типа *Vъsevoložaja*? При самостоятельном употреблении приведенных форм не подлежит сомнению их субстантивная природа: *Иванля* молвила Фимь [ГрБ, № 11 (Старая Русса), XII в.]; а *Радоквая*... едуци со *Давыжею* (ГрБ, № 227, XII—XIII вв.); у *Яръшековее* двяте (ГрБ, № 228, XII—XIII вв.); и. ѿ. кунъ въдай *Волотъковати* (ГрБ, № 293, 30—60 гг. XIII в.); у попадеу у *Павлоее* ѿ гриве— (ГрБ, № 212, XIII—XIV вв.); поклоно о Якова: ко- -силью: и ко *Васильеви*. и (ГрБ, № 67, XIII—XIV вв.); а *Стѣславлюю* прияша Новѣ-

² На основе ошибочной интерпретации этого примера и С. В. Фролова приходит к ошибочному заключению: «По грамматической аналогии членные формы притяжательных прилагательных встречаются не только при определении жены по мужу, но и матери по сыну, т. е. в определении, относящемся к женщине вообще» [13, с. 88—89].

городѣ съ лучшими мужи [ЛН XIII, л. 190б20 (1138)]; князь пукъ нимъ жены *Бориѣвую*, *Глѣбѣую*, *Миѣнную* [ЛН, XIII, л. 116 (1232)]; преставися Василко Ростиславичъ, и *Стѣполчя* преставися [ЛЛ 1377, л. 97об (1124)]; *Володимеря* с дѣтymi... затворися в цркви стѣи бѣа [ЛЛ 1377, л. 161 (1237)]; приде *Гюргевая* ись Суждаля, Смоленську [ЛЛ ок. 1425, л. 172об (1155)]; товаръ весь оя. иже бѣ принесла изъ Угорь. *Мѣстиславля* [ЛЛ ок. 1425, л. 174 (1156)]; и иде тамо а жену остави с дѣтятама. въ Глуховѣ у *Всеволожи* [ЛЛ, ок. 1425, л. 191об (1169)]; и потомъ посла Стѣславъ. жены ихъ. *Михалкову* и *Всеволожю* [ЛЛ, ок. 1425, л. 212 (1176)].

Формы типа *Vsevoložja* употреблялись и с именами существительными, обозначающими профессию, звание, титул: раба бѣия *Настасия* попадѣя *Сменовая*. преставися къ бѣ [Молитвен XIV, л. 1 (помета 1342 г.)]; теща бо его бѣше вѣрна Судиславу кормильчя *Нездиловаа*. матерью бо си нарѣчашеть ю [ЛЛ ок. 1425, л. 259 (1231)]. Особенно часто встречаются примеры с титулом *княгини*: а Ростовѣ сѣде княгини *Василковая* съ сѣма Борисомъ и Глѣббомъ (РН 1280, л. 575а); постави цркви княгини *Ярославля* [ЛН XIII, л. 61об (1199)]; и я княгню кюръ *Михайловую* (ЛН XIII, л. 74); прѣставися княгини *Всеволожая* [ЛН XIII, л. 72об (1205)]; и княгню *Герденевую* взяша [ЛН, I пол. XIV в., л. 142 (1266)];

преставися княгини *Изяславля* [ЛЛ 1377, л. 112об (1151)]; о... княгини *Андреево* и о е дети [Гр к. XIV (7, полоцк.)]; преставися княгини *Стѣполчя* [ЛЛ ок. 1325, л. 108 (1125)]; просиша *Романовы* княгини, и дѣтии [ЛЛ ок. 1425, л. 246 (1204)]; умре княгини *Миндовговая*... и посла Миндовгъ... по свою свестъ [ЛЛ, ок. 1425, л. 286 (1262)]; и ятровь своя облупи. княгню *Кондратовую*. и сновлицю свою облупи. и учини соромоту велику брату своему *Коньдратови* [ЛЛ ок. 1425, л. 293об (1281)].

О подобных примерах А. А. Потебня пишет: «уже ставши существительным в местоименной форме, такое притяжательное в этой самой форме употребляется и атрибутивно: приѣха княгини великая Романовая, Ип. лет.» [6, с. 401]. С. Я. Макарова же полностью отрицает субстантивную природу у этих форм: «Одни из приведенных притяжательных прилагательных сохраняют свою связь с существительным и определяют их (*царица Володимеря, княгини Изяславля, княгини Ярославля, княгини Андреево*), другие субстантивировались (*Всеволожая, Володимеря, Святополчя*)» [4, с. 102].

Указанные выше взгляды не представляются правомерными. С нашей точки зрения, формы типа *Vsevoložaja* имеют функцию существительного в обоих случаях — и тогда, когда они употреблены самостоятельно, и тогда, когда они имеют приложение (*кнѣгун'и, car'ica*). В качестве одного из доказательств может послужить исследование С. В. Фроловой, в котором она указывает, что «в древнерусском языке наименования женщин типа *княгини Всеволожая* по показаниям памятников более молодые, чем просто *Всеволожая, Володимеря*» [14, с. 327—328]. По нашему мнению, формы типа *Vsevoložaja* никогда не употреблялись в адъективной атрибутивной функции. Если принять теорию А. Белича, согласно которой употребление местоимений *i, ja, je* при прилагательном первоначально «должно было быть без имени существительного» и что из такого употребления «развились функция субстантивизации: сложная форма начала означать имя существительное с особенностями, характерными для прилагательного» [2, с. 215], то можно предположить параллельное развитие и у притяжательных прилагательных. Прежде всего, при притяжательном прилагательном жен. рода сначала использовалось анафорическое указательное местоимение жен. рода ед. числа: *Vsevoložja ja* (*Всеволодова та,*

т. е. жена). Затем путем субстантивации было получено имя по мужу *Vъsevoložaja*. Но в то время как качественные прилагательные с указательным местоимением могли при дальнейшем развитии употребляться в качестве атрибута, что привело к оформлению адъективных форм, см. [2, с. 215—216], формы типа *Vъsevoložaja* не употреблялись как атрибуты (**Vъsevoložaja žena*), потому что субстантивированная форма прилагательного местоименного склонения *Vъsevoložaja* сама по себе означала то же самое, что и синтагма *Vъsevoloža žena*.

В древнерусских женских антропонимах можно различить: личное имя, имя по отцу и имя по мужу: преставился Софья. Ярославна. *Ростиславля*. Глѣбовича [ЛИ, ок. 1425, л. 176 (1158)].

В указанном примере *Софья* — личное имя, *Ярославна* — имя по отцу (= дочь Ярослава), *Ростиславля* — имя по мужу (= жена или вдова Ростислава), в то время как форма *Глѣбовича* является формой патронима мужа в род. падеже принадлежности. Мужа звали *Ростиславъ Глѣбовичь*. В древнерусских памятниках довольно редко женщина называется и по отцу, и по мужу, как в приведенном выше примере. Гораздо чаще упоминается только патроним (для девушки) или только имя по мужу (для замужней женщины). При имени по мужу иногда указывается и собственное имя: прѣставися *Мъстиславля Хръстина* [ЛН XIII, л. 10 (1122)]; преставися *Яневая*. именем Мрѣя [ЛЛ 1377, л. 71 (1091)]; преставися блговѣрна великая княгини *Всеволожая*. именем Мрѣя [ЛЛ 1377, л. 143 (1206)]; преставися великая княгинѣ *Василковая*, именем *Олена* [ЛИ, ок. 1425, л. 287об (1265)].

Имена по мужу, как и патронимы, хотя и являются по своей функции именами существительными, довольно специфично входят в систему категорий принадлежности древнерусского языка. С суффиксальными категориями принадлежности их связывает не только происхождение, но и синтаксическое использование. Формы типа *Vъsevoložaja* имеют такое же синтаксическое употребление, как и синтагмы с притяжательным прилагательным типа *Vъsevoloža žena*. Подобно тому как при притяжательном прилагательном, образованном от личного имени, мог стоять патроним в форме род. падежа принадлежности (раньше и от патронима употреблялось притяжательное прилагательное, см. [17, с. 15—17]), получила употребление и синтагма: имя по мужу в форме субстантивированного прилагательного притяжательного с местоименным склонением + патроним мужа в форме род. п. принадлежности: постави монастырь. ...*Полужая Городышница*. Жиروشкина дъци [ЛН XIII, л. 59 (1097)]; створи монастырь у сѣго Павла, *Семенова Борисовича* [ЛН I пол. XIV, л. 121 (1238)]; *Якимовая Столбовича*. постави црѣвь [ЛН I пол. XIV, л. 155об (1308)]; преставися *Глѣбовая Гюргевича* [ЛЛ 1377, л. 114 (1154)]; прѣстави^с блѣйна княгини *Глѣбовая, Всеславича*. дочи Ярополча *Изяславича*. сѣдѣвши по кнзи своемъ. вдовою лѣт .м. [ЛИ ок. 1425, л. 176об (1158)].

Имя по мужу *Глѣбовая* в последнем примере имеет то же самое синтаксическое употребление, что и синтагма *дочи Ярополча: Глѣбовая Всеславича* (= жена Глеба Всеславича), *дочи Ярополча Изяславича* (= дочь Ярополка Изяславича). Вместо патронима мужа при имени по мужу могла быть употреблена форма род. падежа какого-либо другого (нарицательно) имени существительного, которая указывала на профессию мужа или на его общественное положение: игумению поставиша. *Завижю посадника* [ЛН XIII, л. 61об (1199)]. Бывший муж вновь поставленной игуменьи звался *Завидъ* и был он *посадникъ*; от его личного имени образовано имя по мужу *Завижая*, а от нарицательного имени существительного — род. падеж принадлежности *посадника*.

На другую тенденцию в развитии форм типа *Vsevoložaja* указывает следующий пример: преставися *Глѣбовая Рязаньская* [ЛИ ок. 1425, л. 215об (1178)]. Относительное прилагательное с суффиксом *-ьsk-* согласуется с именем по мужу. Для притяжательных прилагательных и в этом случае характерно употребление род. падежа принадлежности (см. примеры [17, с. 130—132]). Приведенный выше пример свидетельствует, по нашему мнению, что субстантивные элементы по мужу усиливались, в то время как их связь с категорией притяжательных прилагательных ослабевала.

Имена по мужу и женские имена по отцу имели и некоторые общие особенности, но кое в чем они и отличались. И те и другие имена употреблялись в функции имени существительного (хотя по происхождению они были притяжательными прилагательными), но сохраняли связь с притяжательными прилагательными (аналогичное синтаксическое употребление: *Ростиславляя Глѣбовича — Даниловна Романовича*; ср. примеры [17, с. 285]). Но в то время как патронимы типа *Danilovъna* имели именное склонение и тем самым и формально включались в категорию имен существительных, имена по мужу относились к местоименному склонению прилагательных. От первых, как и от остальных имен существительных с основой на *а*, довольно рано начали образовываться притяжательные прилагательные посредством суффикса *-inъ* (ср. *Ярославинъ* и *царевинъ* в [17, с. 288]). Имена по мужу, как и прилагательные, употреблялись только в род. падеже принадлежности: явися знаменье... надъ *гробомъ* княгининомъ *Ярославѣ*. Володимирича [ЛН I пол. XIV, л. 130—130об (1243)]; и положенъ бы^с в цркви стья бѣа. в монастыри великѣ княгини *Всеволожиѣ*. [ЛЛ, 1377, л. 156об (1230)]; Изяславъ... взя *городъ* княгини^н на щитъ *Стѣславѣ* [ЛИ ок. 1425, л. 179об (1159)]; княжаше Всеволодъ в Киевѣ *Стѣславичъ*. имѣя велику любовь к *детемъ Романовое* [ЛИ, ок. 1425, л. 248об (1211)]; [*Мстиславъ*] созда *гробыню* камену. надъ *гробомъ*. бабы своеи *Романовои*. в монастырѣ [ЛИ ок. 1425, л. 304об (1291)].

Употреблялись ли в качестве имен по мужу и притяжательные прилагательные именного склонения? Какова грамматическая природа притяжательных прилагательных в синтагмах типа *княгини Володимеря*?

А. А. Потебня считает, что форма *Володимеря* в синтагмах типа *княгини Володимеря* представляет собой «прилагательное как атрибут — в бесчленной форме» [6, с. 401]. По нашему же мнению, притяжательные прилагательные жен. рода *Всеволожа*, *Ярославля*, *Михайлова* и др. в синтагмах *княгини Всеволожа*, *княгини Ярославля*, *княгини Михайлова* также являются именами по мужу, т. е. субстантивированными притяжательными прилагательными. Имена по мужу с именным склонением возникли от имен по мужу с местоименным склонением прилагательных: *Всеволожая (-aja)* > *Всеволожаа* (утрата *j* в интервокальном положении) > *Всеволожа* (стяжение двух гласных *a*). Приведем конкретные языковые факты, подтверждающие нашу точку зрения.

1) Развитие *княгини Всеволожая* > *княгини Всеволожаа* > *княгини Всеволожа* не только было возможным, но его подтверждают и памятники: крыла землю княгини Бояню *Всеволожаа* передъ стѣю Софиєю [Надп сер. XII (32)]; преставися великаго князя Всеволода дщи. именемъ Елена. и положена бы^с в цркви стья бѣа. в монастыри юже бѣ создала великая *княгини*. и блжнная *Всеволожа* [ЛЛ 1377, л. 142 (1205)].

2) Зафиксированы примеры, в которых имя по мужу имеет именное склонение без титула *княгини*: (*Ростиславъ*) приказа *Мстиславли*.

мѣре своей [ЛИ, ок. 1425, л. 170 (1154)]; тогда же и Володимерь Мьстиславичъ. пусти матеръ свою *Мьстиславу* въ Угры [ЛИ, ок. 1425, лл. 173—173об (1155)]. В этих примерах имя по мужу *Мьстислава* и синтагма *мать своя* представляют односторонние объекты.

3) Имя по мужу жена сохраняла и после смерти мужа. И в этих случаях употреблялось притяжательное прилагательное именного склонения: княгини же *Костянтинова* ту и пострижеса на гробѣ мужа своего. и нарекоша имя еи Огафья [ЛЛ 1377, л. 152 (1218)]; преставися княгини *Костянтинова*. Огафья. черноризица [ЛЛ 1377, л. 152об (1220)].

4) В одном из списков летописи указана форма с именным склонением, а в другом дана форма с местоименным склонением: приде *Гюргевая* исъ Суждала. Смоленску [ЛИ ок. 1425, л. 172об (1155)]; приде княгини *Гюргева* в Кыевъ и Суждала [ЛЛ, 1377, л. 115об (1155)].

5) В пределах одного и того же памятника в односторонних синтаксических условиях чередуются формы местоименного склонения имен по мужу и синтагма «княгини + форма именного склонения имен по мужу»: княгини *Юрьева*. съ дочерью. и съ снохами. и со внучаты. и прочиѣ княгини. *Володимеря* съ дѣтми... затворишася в цркви стѣя бѣа. и тако огне безъ милости запалени быша [ЛЛ 1377, л. 161 (1237)].

6) Имя по мужу, изменяющееся по именному склонению, употреблялось в синтаксических условиях, параллельных употреблению патронима: *Василко*... и *Борисъ Василкови* и княгини *Василкова* [ЛЛ 1377, л. 159 (1231)].

7) Формы именного склонения имен по мужу употреблялись с личным именем жены и с формой род. падежа патронима мужа, т. е. как и формы имен по мужу местоименного склонения: преставися княгини *Михалкова*. *Февронья* [ЛЛ 1377, л. 141—141об (1202)]; се язъ княгини *Федорова*. *Федосья* продала есмь [Гр после 1389]; приставися княгини *Стослава* *Олговича* [ЛИ ок. 1425, л. 187об (1166)].

8) Мы не считаем, что сочетание титула княгини и притяжательного прилагательного со значением индивидуальной принадлежности было обычным явлением и для древнерусского языка. Следует отметить, что имя существительное княгини не имело значения конкретного отношения родства. Если же было необходимо подчеркнуть, чьей женой была княгиня, а не о какой княгине идет речь, тогда употреблялась синтагма: «притяжательное прилагательное от собственного имени + жена», как в следующем примере: преставися жена *Ярослава* княгини [ЛЛ 1377, л. 52об (1050)].

О какой княгине идет речь, подчеркивалось иногда указанием на то, чьей дочерью, сестрой или матерью она являлась: преставися блговѣрнѣя княгини *Марица*. дщи *Володимеря* [ЛЛ 1377, л. 105 (1146)]; оженися *Ярополкъ*... поя за ся княгыню. *Всеславу* дочерь. князя *Витепскаго* [ЛЛ 1377, л. 126об (1175)]; преставися княгини *Стополча* мти [ЛЛ 1377, л. 95 (1107)]; преставися блговѣрная княгини *Ольга*. сестра *Всеволожа*. великого нареченая чернѣцкы *Офросѣня* [ЛИ ок. 1425, л. 219 (1181)].

9) В то время как притяжательные прилагательные в атрибутивной функции могли находиться и в препозиции, и в постпозиции (см. приведенные выше примеры), имена по мужу (типа *Всеволожа* и *Всеволожа*) употреблялись в препозиции по отношению к титулу княгини (случаи инверсии редки: просима *Романовны* княгини. и дѣтми [ЛИ ок. 1425, л. 246]). Это соответствовало общепринятому порядку слов в славянских языках: «*nomem appellativum + nomem proprium*». Наряду с указанными примерами в качестве иллюстрации можно привести и следующие: преставися

княгини *Мстислава* [ЛЛ 1377, л. 97 (1122)]; Ярославь... кн^ягыню *Мишаилову*. со множеством^м полона приведе в своя си [ЛЛ 1377, л. 164об (1239)]; татарове... и княгыню *Ярославу* яша [ЛЛ 1377, л. 166 (1252)]; преставися княгини *Володимеря* [ЛИ ок. 1425, л. 108об (1127)]; прислаша князи литовьскии. к великой княгини *Романовъ* [ЛИ, ок. 1425, л. 250об (1215)].

На основе всего сказанного можно сделать вывод, что в синтагмах типа княгини *Всеволожа* форма *Всеволожа* представляет собой субстантивированное притяжательное прилагательное в значении имени по мужу, в то время как имя существительное *княгини* является приложением к имени по мужу.

Самый ранний пример использования имен по мужу с именным склонением, который мы нашли в Картолке древнерусского словаря, относится к первой половине XIV в.: и кн^ягыню *Юрьеву* яша, [ЛН I пол. XIV, л. 161 (1318)]. Все остальные примеры относятся ко второй половине XIV в. или к XV в. Это означает что завершением изменения *Всеволожа* > *Всеволожа* можно считать XIV в.

Мы подчеркивали, что имена по мужу употреблялись не в значении прилагательного, а в значении существительного. В примере пани Хонька. *Васковая Дядьковича жена*. и зъ дѣтми своими... продала естъ. тотъ мунастырь [Гр. 1378 (2, ю.-р.)] имя по мужу *Васковая* могло бы быть воспринято как притяжательное прилагательное — атрибут к имени существительному *жена* (в [18, 1, с. 155] форма *Васковая* в указанном примере служит иллюстрацией притяжательного прилагательного от *Васковъ*). В соответствии с нашим объяснением, *Васковая* является именем по мужу в значении имени существительного, как и во всех других примерах, которые мы привели выше, в то время как *Дядьковича жена* является притяжательной синтагмой, где засвидетельствовано притяжательное прилагательное *ча -ь* от патронима на *-иць*, которое в новом языковом восприятии, после утраты прилагательных на *-ь*, могло быть понято как родительный принадлежности (ср. объяснения в [17, с. 15—17, 24—30, 132]). Что касается замены конструкций типа *Глбвовая Гюргевица* конструкциями типа *Васковая Дядьковича жена*, то это означает, что субстантивный элемент имени по мужу типа *Vsevoložaja* усиливался все больше, связь же с притяжательными прилагательными, наоборот, ослабевала.

Имена по мужу в категории *nomina propria* образовывались от притяжательных прилагательных на *-jь*, *-ovъ/-evъ*, *-inъ*. Имена по мужу, образованные от сложных собственных имен на *-slavъ*, получали суффикс *-j(a)a*; *Ярославаля*, *Изяславаля*, *Ростиславаля*, *Святославаля*, *Мстиславаля*. Этот же суффикс имелся в образованиях от собственных имен на *-dъ* (*Давыжая*, *Завыжая*, *Положая*, *Всеволожая*) и на *-къ* (*Святополчая*).

Конкуренция притяжательных суффиксов *-jь* и *-ovъ* распространяется и на имена по мужу — *nomina propria* на *-nъ*: *Иваная* (XII в.), *Романовая* (1204—1215 гг., ЛИ ок. 1425), *Семеновая* [(1238)ЛИ I пол. XIV], Якуновая (о Якуновъи о Фомине снохы [ГрБ к. XIV № 263]); *nomina propria* на *-гъ*: *Володимеря* [(1237) ЛЛ 1377], *Петровая* (княгини *Петрова*, 1507 г.), см. [6, с. 401].

Суффикс *-ev(a)a* получали имена по мужу, образованные от собственных имен с основой на *йб*: *Андреевая*, *Васильева*, *Гюргеевая*, *Герденеевая*, *Яневая*, *Игореевая*.

Уменьшительно-ласкательные имена на *-ло*, *-ъко* и *ько* получали суффиксальный вариант *-ov(a)a*: *Нездиловаа*, *Волотъковая*, *Василковая*, *Михалковая*, *Васковая*, *Ягофъковаја* (род. падеж *Яръшековее*, в берестяной

грамоте смешиваются буквы *ъ* и *о*, *ь* и *е*), *Radъkovaja* (им. падеж *Радокова*, в берестяной грамоте наблюдается смешение написания *ъ* и *о*; для имени *Радко*, *Радъко* ср. [19, с. 388]; Н. В. Подольская полагает, что в примере зафиксировано имя *Radъкъ*, см. [20, с. 61]). Тот же самый суффикс зафиксирован и от собственных имен на *ь* (*Михайлова*, *Павлова*), *-съ* (*Борисова*), *-тъ* (*Кондратова*), *-оъ* (*Миндовговая*), *-тъ* (*Якимовая*), *-въ* (*Глаббовая*) и на *-ръ* [*Сылова*]; *о Сылови* (ГрБ к. XIV, № 264)].

Только одно имя по мужу зафиксировано с суффиксом *-in(a)a*: *Миш(и)-ная* — от личного имени *Миша* (уменьшительное имя от *Михаилъ*, ср.: *Миша*, род. падеж *Михаила Мишинича* [21, с. 99—110]; *Неклюд Мишин* [22, с. 342]).

Из форм род. падежа *Яръшековее*, *Павлоеве* и дат. падежа *Волотъковети* А. В. Арциховский ошибочно выводит формы им. падежа: *Павловей*, *Яръшековей*, *Волотъковей* [ср. 23, с. 33, 52, 123].

Образовывались ли имена по мужу и от притяжательных прилагательных на *-ьн'ъ*? Что касается категории *nomina propria*, то суффикс *-ьн'ъ* был из нее окончательно вытеснен и только в топонимии сохраняются следы бывшего употребления [ср. 17, с. 73—74, 79]. Поэтому имена по мужу с суффиксом *-ьн'(a)a*, образованные от имен собственных, не зафиксированы в древнерусских памятниках.

Иначе обстоит дело с категорией *nomina appellativa*, в которой долго сохранялся суффикс *-ьн'ъ*, хотя и в ограниченном кругу имен существительных.

В категории *nomina appellativa* для наименования жены по мужу использовались притяжательные прилагательные на *-ьн'ъ*, *-ьн'*, *-овъ/-евъ*, *-инъ*, выступавшие в функции существительного.

1. Суффикс *-ьн'ъ*.

а) (*stryjn'a*) > *stryjn'a*. От имени существительного *stryjъ*, *strojъ* (ср. серб.-хорв. *стриц* «дядя») зафиксировано притяжательное прилагательное на *-ьн'ъ* в своей исконной функции [см. 17, с. 66] и как имя существительное жен. рода *stryjn'a* (ср. серб.-хорв. *стрина* «жена дяди»): ни насъ родъша. ни о насъ рдшася и того* роду и корене нашего приобъщающесе яко же се бра^т сестра. *стринина* тетка. *сестричичь* сестрична. *брату* чадъ брату^чядя (КР 1284, л. 2826.); о съгршающимъ съ *стрининою* о Левитика (КР 1284, л. 261в); приде Гюргева и съ Суждаля Смоленську. и с дѣтми своими к Ростиславу. Ростиславъ же поима *стрининю* свою съ собою. и поиде къ строеви своему [ЛИ ок. 1425, л. 172об (1155)]. Форма *стрининою* может представлять форму твор. падежа от *stryjn'a*, но также и от **stryjn'a*.

б) *svojn'a*. От субстантивированного притяжательного местоимения *svojъ* (в значении «родственник жены или мужа») мы обнаружили форму жен. рода притяжательного прилагательного на *-ьн'ъ* в форме прилагательного определенной формы в субстантивной функции — *svojn'a*: что бо аще будетъ *своинѣ* мужю своя жены. паче же и своя плъти. нѣста бо двѣ нъ плъть едина. яко жены ради сестра къ свойству мужа приходитъ. яко мѣре женья не поиметь. ни дѣчере женья. имъже ни своя мѣре. ни своя дѣчере. тако ни сестры женья. имъже ни сестры своя, и се паки подобаетъ. ни женѣ съ *своими* мужа примѣшати. обща бо на обоихъ съродия правды (КЕ XII, л. 203б).

В приведенном выше примере отчетливо разграничены формы мн. числа: муж. род *свои* (мужские родственники мужа по отношению к жене) и жен. рода *своинѣ* (женские родственники жены по отношению к мужу).

в) *rodьn'a*. Имя существительное *родня*, имевшее, по нашему мнению, в древнерусском языке значение существительного жен. рода по отношению к существительному *rodъ*, возникло путем субстантивации притяжательного прилагательного на *-ьn'*: не может никто же пояти своя бабы. ни своя внуки. аще *родни* суть (МПр XIV, л. 245об). Из примера видно, что имя существительное *родня* означало лицо женского пола, которое находилось в близком родственном отношении с кем-то (ср. серб.-хорв. *roђака* «родственница») и имело форму мн. числа. Ю. С. Азарх рассматривает имя существительное *родня* как субстантивированное притяжательное прилагательное с суффиксом *-ьn'* [24, с. 69], но она исходит из собирательного значения существительного, причем впервые обнаруживает это слово в русских памятниках конца XVI — начала XVII в.

г) *vozirьn'a*. Имя существительное *возыреня* «жена везиря» представляет собой по происхождению субстантивированное притяжательное прилагательное на *-ьn'* > *-en'* от имени существительного *возырь* («везирь») с измененным суффиксальным элементом (см. объяснение в [17, с. 241—247]). Засвидетельствовано оно в памятниках более позднего периода: два везиря. да 10 *възыреней* (Х. Афан. Никит., 26.1472 г., сп. XV—XIV в. [25, II, с. 307]).

2. Суффикс *-ь*.

а) *дыаѣаја*. Имя существительное *дыачая* «жена дьякона» представляет собой по происхождению притяжательное прилагательное на *-ь* с местоименным склонением (в субстантивной функции имени по мужу) от имени существительного *дыакъ* (в значении «дьякон»).

б) *дыакоп'аја*. Имя по мужу *дыакопья*, или *дыакопья* «жена дьякона» зафиксировано в примере: иже черницъ, или попады, или *дыакопизъ* оскверняющей ихъ, носы ихъ урѣзаны будутъ (Кн. законные, 73. XII—XIII вв., сп. XV в. [25, IV, с. 398]).

3. Суффикс *-овъ*.

а) *дыакоповаја* > *дыакоповаа* > *дыакопова*: митрополичи люди *дрѣквѣнныя*... дьяконъ, *дыакопоева* [Церк. устав Влад., сп. XV—XVI вв. (ДКУ, с. 16)]; А се люди съборныя... дьяконъ, *дыакопоева* [Церк. устав. Влад. сп. середины XV в. (ДКУ с. 19)]; или черницы доходилъ еси, или попад(ь)и, или *дыакопоевы* (Требник, 46об XVI в. [25, IV, с. 399]).

б) *пороваја*. Имя по мужу *поповая* «жена попа» встречается в примере: сун бо различна (блуда) рабынѣ, блудницѣ, вдовицѣ, мужатицѣ, черноризицѣ и ошцены^а, *диачия* и *поповыя* [26, I, с. 669; II, с. 1194].

в) *братоваја* > *братова*. Имя по мужу *братовая* «жена брата» отмечено словарями XVII — начала XVIII в.: *братовая* [Барс. Словарь, 17. XVII в. (Карт. РЯ XI—XVII вв.)]; *братовая*, братова жена (ЛП 33. 1704 г. (Карт. РЯ XVIII в.)). С тем же значением находим в русских диалектах имя существительное *братова* [27, II, с. 152; 28, I, с. 126].

г) *корол'еваја* > *корол'ева*. Имя по мужу *королева* «жена короля» находим в грамоте XIV в. с чертами украинского языка: гдѣрь. нашъ. король... и его *королева* [Гр 1393 (2, ю.-р.)] (тот же пример см. и в [18, I, с. 515]; ср. и род. падеж *королевое* и дат. падеж *королевои* [18, I, с. 498], на основе которых составители без основания выводят им. падеж *королева*). В современном русском языке имя существительное *королева* имеет полностью именное склонение. От него может образовываться притяжательное прилагательное на *-ин-* (ср.: *королевинъ* [28, II, с. 170]).

4. Суффикс *-инъ*:

а) *војеводинаја* > *војеводина*. Имя по мужу *воеводина* «жена воеводы» зафиксировано в украинской грамоте II половины XV в.: пре(д) княгиною Иляша *воеводиную* (1459—1460 гг.) [18, I, с. 185]; по-видимому, для составителей словаря форма *воеводиную* была необычной, поэтому перед

ней был поставлен восклицательный знак; без основания имя по мужу приведено в качестве иллюстрации для притяжательного прилагательного *воеводинъ*. Имя по мужу *воеводина* находим и в русском языке XVII в.: не Ъа ни с кѣмъ, толко особно, или с воеводою, или с *воеводиною* (СГД II, 229. 1605 г. [25, II, с. 262]). Из формы твор. падежа можно было бы вывести и им. падеж *воеводиная*.

б) *d'adinaja* > *d'adina*. Имя по мужу *дядина* «тетка, жена брата отца или матери» подтверждается многочисленными примерами в украинском языке XV в., ср.: *дядина* моя княгини Семенова Марья (1482 г.) [18, I, с. 341]. В русском языке конца XVII в. *дядина* является уже именем существительным не только по значению, но и по склонению: имя... *дядини* ево Ксѣнии Арх. Он. 1688 г. [25, IV, с. 401]. Имя существительное *дядина* находим и в диалектах (ср.: *дядина, дедина* [28, I, с. 527, 437]).

Следовательно, в категории *nomina appellativa* находим субстантивированные притяжательные прилагательные («неопределенной формы» (именное склонение) и «определенной формы» (местоименное склонение)). Каково их взаимоотношение?

Этому вопросу в специальной литературе почти не уделено никакого внимания. Лишь С. Я. Макарова пытается объяснить развитие субстантивированного притяжательного прилагательного *королевая* следующим образом: *королевая* > *королеваа* > *королева* (утрата *i* в интервокальном положении и стяжение двух гласных *a*). Для формы *королеваа* автор приводит пример из «Грамматики церковнославянского языка» А. Х. Востокова [см. 4, с. 100, примеч.]. По нашему мнению, С. Я. Макарова только показала, каким образом шел процесс, но не объяснила, почему он прошел таким образом. Ибо остается неясным, почему же формы прилагательных типа *добрая* не дали аналогичных результатов? Основную причину изменений в исследуемой категории мы видим в следующем. Во-первых, все меньше ощущалась связь между именами по мужу и притяжательными прилагательными, от которых они возникли. Субстантивный элемент в них настолько усилился, что они, все больше воспринимаясь как имена существительные и по форме, постепенно стали принимать именное склонение. В современном русском языке *королева* и диалектн. *братова* склоняются, как и другие имена существительные в им. падеже на *-а* (род. падеж *королевы, братовы* и т. п.). Во-вторых, категория определенности в древнерусском языке находилась в стадии разложения [см. 5, с. 163—173 и указанную там литературу]. Бывшая определенная (или так называемая полная или местоименная) форма прилагательного все больше начинала представлять прилагательные в качестве грамматической категории [3, с. 216]. Субстантивированные прилагательные типа *Vъsevoložaja* и *korol'evaja* (являющиеся по форме полными прилагательными) пришли в столкновение с общим развитием прилагательных. При этом больше уже не существовало неопределенных форм прилагательных, которые их поддерживали.

Оба указанных момента оказали влияние на судьбу имен по мужу в категории *nomina appellativa*; в категории же *nomina propria* решающим был второй из них. Какова дальнейшая судьба имен по мужу типа *Vъsevoložaja*? Отдельные их примеры можно найти еще в памятниках XV в. и даже XVI в., отражавших язык юго-западных диалектов [см. 6, с. 401—402]. В украинском языке XV в. имена по мужу с местоименным склонением прилагательных представляли собой еще живую и продуктивную категорию (ср. *Басильевая, Ивановая, Михайловая, Петрашовая, Семеновая, Федоровая* и др. в [18]); об ошибочной интерпретации имен по мужу [см. 29, с. 204—206]. В древнебелорусском языке имена по мужу были живой и продуктивной категорией (ср.: *воеводиная, Кузминая, писаровая,*

Станиславовая и другие примеры в [30, с. 12—14]³). В течение XV в. имена по мужу в русском языке вытесняются и заменяются синтагмами типа *Ивановская жена* [см. 17, с. 396—399]. В XVI в. в связи с появлением фамилий на *-ov*, *-ev*, *-in* возникшая омонимия между именем по мужу, изменявшимся по именному склонению (*Михайлова* > *Михайлова*), и фамилией (жен. род. или род. падеж муж. рода) обусловила окончательный выход из живого употребления имен по мужу типа *Михайлова*. В категории же *nomina appellativa* имена по мужу утратились или же полностью перешли (и формально) в категорию имен существительных.

ЛИТЕРАТУРА

1. Толстой Н. И. Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке (на материале евангельских кодексов).— ВСЯ, вып. 2. М., 1957.
2. Белый А.— *Ужнословенски филолог*, 1933—1934, кн. XIII, с. 211 и сл.— Рец. на кн.: Gunnarson G. Recherches syntaxiques sur la décadence de l'adjectif nominal dans les langues slaves et particulièrement dans le russe. Stockholm, 1931.
3. Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953.
4. Макарова С. Я. Выражение принадлежности в русском языке XI—XVII вв.: Дисс. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1952.
5. Саников В. З. Согласованное определение.— В кн.: Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. М., 1978.
6. Потехина А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 3. М., 1968.
7. Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957.
8. Борковский В. И. Лингвистические данные новгородских грамот на бересте.— В кн.: Арциховский А. В. и Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963.
9. Кузнецов П. С. Морфология.— В кн.: Борковский В. И. и Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. 2-е изд. М., 1965.
10. Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкции, список источников, пробные статьи. Под ред. Аванесова Р. И. М., 1966, с. 90—169.
11. Словарь русского языка XI—XVII вв. Указатель источников в порядке алфавита сокращенных обозначений. М., 1975.
12. Арциховский А. В., и Янин В. Л. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1962—1976 гг.). М., 1978.
13. Фролова С. В. История образования притяжательных и притяжательно-относительных прилагательных с суффиксами *-j/-ьj* и *-ov/-ev* в русском языке: Дисс. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Т. I. Куйбышев, 1962.
14. Фролова С. В. К вопросу о природе и генезисе притяжательных прилагательных русского языка.— Уч. зап. Куйбышевского пед. ин-та, 1960, т. 32.
15. Волкова О. А. Интерфикс *-ov-* в русском языке.— В кн.: Вопросы грамматики. Тарту, 1974.
16. Букатевиц Н. И. Главнейшие суффиксы прилагательных в древнерусском литературном языке.— В кн.: Тр. Одесского ун-та, 1959, № 149, сер.—филол. наук, вып. 9.
17. Маројевич Р. Посесивне категорије у руском језику (у своме историјском развоју и данас). Докторска дисертација. Београд, 1979.
18. Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. Т. I—II.
19. Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен.— Зап. отделения русск. и слав. археологии Имп. русск. археолог. об-ва, т. VI. СПб., 1903.
20. Подольская Н. В. Некоторые вопросы исторической ономастики в связи с анализом берестяных грамот.— В кн.: Историческая ономастика. М., 1977.
21. Толачев А. И. К истории словообразования форм со значением субъективной оценки (квалитативов) личных собственных имен греческого происхождения в древнерусском языке XI—XV вв.— В кн.: Этимология. 1975. М., 1977.
22. Веселовский С. В. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974.
23. Арциховский А. В. и Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963.
24. Азарх Ю. С. К истории словообразовательных типов вторичных собирательных в русском языке. Имена с суффиксами *-ste(o)*, *-in(a)*, *-чин(a)*, *-от(a)*, *-н(я)*. — В кн.: Исследования по исторической морфологии русского языка. М., 1978.

³ Автор слишком подчеркивает влияние польского языка в формировании и функционировании категории имен по мужу в белорусском языке и (неизвестно почему) приходит к выводу, что эта категория «была несвойственна древнерусскому языку» [30, с. 13—14].

25. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1. М., 1975.
26. *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Т. I—III. Дополнения. СПб., 1893—1912.
27. Псковский областной словарь с историческими данными. Т. I. Л., 1967.
28. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. 2-е изд. СПб.— М., 1880—1882.
29. *Маројевич Р.* — Јужнословенски филолог, 1980, књ. XXXVI.— Рец. на кн.: Словник староукраїнської мови XIV—XV ст., Київ., 1977—1978.
30. *Павленко Н. А.* Развитие белорусского субстантивного словообразования (Фемининативы. XVI—XX вв.): Автореф. дисс. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Минск, 1979.

ОРЛОВ Г. А.

К ПРОБЛЕМЕ ГРАНИЦ ОБИХОДНО-БЫТОВОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

Понятие «разговорная речь»¹ (РР) в современном языкознании опирается, в общем, на признание некоторых «инвариантных» моментов. Для удобства обозначим их римскими цифрами (в скобках). РР — это феномен, существующий главным образом (или исключительно) в рамках устной разновидности этноязыка² (I). При определении функций РР обычно исходят из того, что ее основные (главные) функции направлены на удовлетворение непосредственных потребностей повседневного общения людей (отсюда: ограниченность функционирования РР рамками так называемой обиходно-бытовой коммуникативной сферы) (II). Поскольку, однако, в рамках устной разновидности этноязыка функционируют и другие формы — от строго нормированных (кодифицированных) до просторечия и арго, — понятие «разговорности», как правило, ассоциируется с различной степенью «сниженности», нелитературности, неправильности на разных уровнях языка (фонетическом, словообразовательном, грамматическом, лексико-семантическом) в противовес нормированности, «престижности», правильности строго литературной речи (верхняя граница РР).¹

Менее четко очерченными представляются отличия РР от внелитературных образований (нижняя граница РР) (III).

Предполагается далее, что РР рассчитана на непосредственное «сиюминутное» восприятие, поэтому она контактна (обязательность собеседника), обычно диалогична, спонтанна и т. д. Среди других обязательных экстралингвистических характеристик и условий появления РР справедливо упоминаются ситуативность, непринужденность обстановки, отсутствие установки на официальное сообщение и некоторые другие моменты.

Указанной «внешней структуре» РР соответствуют и собственно лингвистические характеристики РР, проявляющиеся в различных формах компрессии и избыточности речи, в использовании усеченных конструкций и эллипсов, умолчаний, повторов, дублирования, «сбивчивых» структур, «заполнителей пустоты» и «слов-паразитов», индивидуализированного звукового, лексического и пр. оформления высказывания.

Описываемые взгляды на суть РР (или аналогичные, с некоторыми модификациями концепции) достаточно типичны, считаются вполне устойчивыми, в чем нетрудно убедиться, если проанализировать многие имеющиеся работы (и у нас и за рубежом), посвященные проблемам функционально-стилистического расслоения языка, описанию роли и места в нем РР [2]; ср. также известные исследования Ю. М. Скробнева, В. Г. Костомарова, О. А. Лаптевой, О. Г. Сиротининой, И. Р. Гальперина, Д. Аберкрэмби, Д. Кристала, Дж. Тэрнера и др.

Напрашивается вопрос: насколько адекватно устоявшийся подход

¹ Соответственно «разговорный язык», «разговорный стиль речи» и т. п., если последние используются в аналогичном смысле.

² В понимании этноязыка мы присоединяемся к мнению Ф. М. Березина и Б. Н. Головина [1, с. 50—70].

отражает суть разговорной речи, в какой степени правомерны и актуальны попытки иного подхода к рассмотрению РР и, в частности, ее места и роли в современных условиях коммуникации?

Общепринятый подход, видимо, вполне адекватен при объяснении тех явлений, которые рассматриваются в качестве типичных образцов «обиходно-разговорной речи», т. е. речи, преимущественной сферой функционирования которой является быт во всех проявлениях. Разговорная речь в таком понимании, конечно, существовала и существует в рамках современных развитых языков, хотя так называемый «быт» претерпел за последнее десятилетие серьезные изменения в мире. В связи с огромным расширением возможностей устной коммуникации в условиях НТР, неуклонной урбанизацией населения, повышением уровня образования и т. д., а также возрастанием роли средств массовой информации в формировании стилистических норм в рамках литературных языков [3] на авансцену устного общения все заметнее и в массовых масштабах выходят речевые явления, которые, с одной стороны, какими-то чертами заметно отличаются от традиционно-кодифицированных форм устно-литературного языка, а с другой — не могут квалифицироваться как некие субстандартные (просторечные или обиходно-разговорные) образования. Эти явления явно не укладываются в рамки тех определений, которые упоминались выше. Претерпели изменения и некоторые функции, выполняемые указанными речевыми явлениями. Это подмечают многие лингвисты и у нас и за рубежом. По мнению Р. А. Будагова, «если разговорная речь (= разговорный стиль) уже давно, задолго до НТР приобрела в самых разнообразных языках свои специфические черты, отличающие ее от стиля письменного изложения, то в эпоху НТР черты, дифференцирующие эти два стиля, стали более отчетливыми: убыстрялись темпы развития разговорной речи, она стала выполнять более разнообразные функции...» [4, с. 180—181].

Условия коммуникации, требования нормы в разных странах и, соответственно, роль и место РР в связи с этим, конечно, различны [5, с. 5]. Между тем в развитии современных языков довольно четко прослеживаются некоторые общие тенденции, характерные, в частности, для английского, немецкого, испанского и других языков. Симптоматичным в этом смысле является утверждение известного австралийского лингвиста Дж. Торнера, по мнению которого «...даже язык австралийских фермеров (*agricultural language*)... все больше становится похожим на язык науки и техники, и при этом он лишен ограниченности профессиональных языков, замкнутых групп кустарей или ремесленников» [6, с. 142].

Наблюдения показывают, что подобные явления (в смысле интеллектуализации речи) в значительной мере присущи и русскому языку. Я. Горецкий называет подобные формы существования национального языка, вызванные к жизни условиями массовой устной коммуникации и отличающиеся от кодифицированных устно-литературных форм меньшей регламентацией, «стандартным языком». К ним он относит, в частности, чешский общеразговорный язык (*obecná čeština*) и русскую разговорную речь. Я. Горецкий уточняет, что «...имеется в виду не какая-нибудь „низшая“, „деградированная“ форма, а очень распространенная, характеризующаяся значительной степенью нормированности» [7, с. 57—59].

Определение статуса указанных форм, адекватно отражающего суть явления, было бы делом весьма заманчивым. Подобные попытки, в частности, делаются Я. Горецким. Однако приходится считаться *co status quo* в этой области на сегодняшний день: по единодушному признанию лингвистов, проблемы РР, включая некоторые кардинальные, по существу лишь только начинают разрабатываться.

Сложность идентификации РР усугубляется еще и тем, что национальный язык, по образному выражению Ф. П. Филина, — «не мешок, в который свалены все разновидности речи» [8, с. 3], последние взаимосвязаны, взаимопроникают друг в друга и т. п.

Поскольку, однако, указанные речевые явления в каких-то (возможно, существенных) чертах совпадают с традиционно понимаемой обиходно-бытовой речью, а с другой, — не выходят за рамки кодифицированной устно-литературной речи [9, гл. 1], можно было бы попытаться рассмотреть эти явления (назовем их современной литературной речью) через призму инвариантных черт и характеристик, данных в начале статьи. В этом случае можно было бы констатировать, какими моментами или свойствами РР вписывается в установившиеся представления о ней, а в каких отношениях ее эволюция привела к появлению новых качеств и свойств, выводящих ее за рамки установившихся представлений.

Как уже говорилось, РР рассматривается обычно в качестве феномена, существующего главным образом (или исключительно) в рамках устной разновидности этноязыка. Количественно-качественные изменения в устной сфере общения и ее расширение в силу НТР, видимо, не опровергают в принципе указанного положения. Новые технические возможности (радио, телевидение и видеотехника, телефон, звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура и пр.) привела к серьезному увеличению удельного веса и степени воздействия на массы у с т н о г о с л о в а, хотя само по себе это автоматически еще не влечет за собой усиление роли РР, например, в странах с достаточно высоким уровнем развития книжно-письменного языка. Ситуация, однако, резко меняется в странах, сравнительно недавно сбросивших оковы колониализма, оставившего в наследство низкий уровень грамотности населения. В этих условиях потребности быстрого оперативного доведения актуальной (политической) информации до миллионов масс средствами радио и телевидения могут уживаться (и действительно уживаются) с использованием форм речи, наиболее доходчивых, в лучшем смысле слова популярных, не канонизированных, но и не «деградированных», — т. е. в формах современной живой разговорной речи. С другой стороны, значительно расширились технические, эстетические, воздействующие возможности печатного слова (быстродействующая полиграфическая и множительная техника, ксерокопирование, совершенствование форм и методов печатной пропаганды).

Эти условия (плюс соответствующая языковая политика и изменившиеся условия «типичных» разговорных ситуаций, т. е. ситуаций, ограниченных сферой быта) объективно не могли не привести к перераспределению функций основных составляющих языка, проявляющихся в устной форме (от кодифицированных «престижных» форм до использования внелитературных образований). Проблемы подобных, по сути стратификационных сдвигов языков фактически только начинают разрабатываться, но уже сейчас не вызывает сомнения наличие объективных тенденций к демократизации современных развитых языков, проявляющихся, в частности, в определенной экспансии разговорных форм устно-литературной речи. Весьма существенно при этом, что РР начинает использоваться в тех областях и на тех уровнях, которые традиционно отводились кодифицированным формам (например, область публичных выступлений, особенно транслируемых по радио, телевидению и т. п.). Сказанное можно подтвердить следующим примером. Как отмечает Дж. Н. Юр, немецкие студенты, обучавшиеся в Эдинбурге, были буквально поражены сугубо разговорным языком (coffee talk), на котором им читался курс английской литературы. В то же время изменение формы реализации языка (с устной на письменную) даже при сохранении плана содержания, как правило,

вызывало серьезную перестройку, использование более «регламентированных форм» [10, ср. 1, с. 9—12]. Эти выводы подтверждаются наблюдениями советских преподавателей и студентов ряда московских вузов, выезжавших на стажировку в Шотландию за последние годы.

Заметно «потеснены» кодифицированные формы русского языка за счет все более широкого использования РР, — к такому выводу нельзя не прийти по результатам наблюдений за устным словом по Центральному радио и телевидению. Один пример: во время экспериментального перехода к новой системе единиц измерения атмосферного давления по Всесоюзной радиопрограмме «Маяк» 13 марта 1980 г. было передано следующее сообщение: «Товарищи! В нашу редакцию поступает много писем, в которых вы спрашиваете, что такое гектопаскаль. Так вот, гектопаскаль — это 100 паскалей... А что такое паскаль? (следует научное объяснение). Так вот к этой цифре надо и привыкать. Если давление больше 1013 г/п, то давление повышенное...» и т. д.

Не вызывает сомнения, что перед нами образец литературной речи. Однако речи не канонизированной («смягченной» разговорными индикаторами), доверительной по тональности, выдержанной в соответствующей структуре. Следует также учесть разговорную (словно обращение адресовано каждому радиослушателю лично) интонацию, как бы приглашающую к ответным репликам. Особый интерес вызывает и то обстоятельство, что РР находит проявление в дикторском тексте, за которым функционально (и традиционно) закреплены строго регламентированные формы речи.

Наконец, следовало бы сказать, и о том, что РР проявляется и в письменных формах (личная переписка, записки, письменные реплики, безбрежный корпус стилизованной РР в художественной литературе и т. д.). В этой области также есть существенное перераспределение функций, вызванное, в частности, новыми возможностями фиксации речи. Например, в англоговорящих странах в массовых масштабах используются поздравительные открытки (на все случаи жизни), составленные в шуточной, обычно разговорной (а отчасти сленговой) форме.

Таким образом, РР функционирует как в устной, так и в письменной форме, хотя устная форма, бесспорно, наиболее естественна для РР. Вместе с тем в рамках устной формы происходит перераспределение функций, роль РР в ней возрастает.

Если положение о том, что РР — феномен, существующий главным образом в рамках устной разновидности этноязыка, видимо, может (с указанными модификациями) быть принято для идентификации современной РР, то при рассмотрении (II) («основные функции РР — удовлетворение непосредственных потребностей повседневного общения в рамках так называемой обиходно-бытовой сферы») возникают довольно серьезные «во». Действительно, большинство исследователей (даже в новейших работах) склонны привязывать РР к «быту». Правда, некоторые лингвисты согласны с тем, что РР ныне используется («частично») в научной (научно-популярной), публицистической и некоторых других сферах, но эти утверждения довольно робки, недостаточно аргументированы. Нет и специальных серьезных исследований на эту тему, хотя отдельные аспекты этой проблемы все чаще обсуждаются в литературе [11, 12]. Между тем даже если взять уже приводившуюся выше сферу устной публицистики, то некоторые данные о ее роли в общественной жизни (и в языке) заставляют задуматься. В самом деле, по данным ЮНЕСКО, на планете насчитывается свыше 1 млрд. радиоприемников, около 25 тыс. крупных радиостанций, более 400 млн. телевизоров. Европейцы, как свидетельствует статистика, ежедневно проводят у телевизоров более трех часов. 60% жителей Европы

получают информацию из передач радио. На тысячу человек в среднем приходится в мировом масштабе 225 приемников [13].

В среднем на одного горожанина в СССР в сутки приходится около 30 условных часов информации [14], значительная часть которой передается по радио и телевидению.

Было бы неоправданным упрощением приравнять весь этот «речевой поток» к устной реализации кодифицированного литературного языка. Каждый из нас по собственному опыту знает, что это не так. В этом смысле любопытен один пример. Недавно, отвечая на вопрос телекорреспондента о самочувствии космонавтов, известный академик сказал: «Ну, что тут можно сказать? Пока, славу богу, все в порядке...», — сугубо разговорная форма, которая два-три десятилетия тому назад, возможно, покорила бы ревнителей «кодифицированной речи», ориентированной на миллионы телезрителей. В подобном ключе ныне строится значительное количество центральных теле- и радиопередач. Это становится нормой общения с миллионами телезрителей и радиослушателей. Очевидно, не требуется специальных исследований, чтобы доказать, что подобные «речевые» формы массовой коммуникации более доходчивы, близки и понятны массам. Кристаллизуются и типы передач, использование РР в которых не только предсказуемы, но и естественны. К ним прежде всего относятся доверительная беседа, диалог и умело проведенное интервью. Многое зависит, конечно, от особенностей индивидуального стиля и языковых привычек автора.

Другим примером использования РР в массовой информации может служить так называемый «язык науки». Некоторые лингвисты утверждают, что наука наших дней ушла настолько далеко вперед, что требует создания какого-то «искусственного кода». По этому поводу Р. А. Будагов отмечает: «сознательное отношение к языку недопустимо отождествлять с искусственностью» [4, с. 135]. В этой связи Р. А. Будагов указывает на высказывание А. Эйнштейна, который считал, что «большинство фундаментальных научных идей в сущности просты и могут быть выражены понятным каждому литературным языком». Р. А. Будагов приводит также слова известного физика В. Гейзенберга, который утверждал, что для физики возможность описания на обычном языке является критерием того, какая степень понимания достигнута в соответствующей области [4, с. 137]. Эти положения весьма интересны и симптоматичны, если учесть, что язык науки издавна ориентировался и ориентируется прежде всего на книжно-письменную речь и еще сравнительно недавно и за рубежом и у нас в науке считалось чуть ли не достоинством не только писать, но и говорить усложненным языком (несмотря на энергичные протесты языковедов). Если тенденция к понятности (совершенно не обязательно связанная со стилистическим «снижением») все более пробивает себе дорогу в письменной форме научной речи, то в устном проявлении она прослеживается совершенно отчетливо. Устное выступление вообще, научное (научно-популярное) в частности, должно строиться иначе, чем письменный трактат, поскольку стремление к усложненности языка всегда воспринимается слушателем как нечто негативное, затрудняющее адекватное понимание информации.

Разумеется, все это вовсе не означает, что указанные тенденции не могут быть реализованы средствами кодифицированной устно-литературной речи современного литературного языка, отличающегося, как мы знаем, богатством возможностей и многообразием способов выражения «одного и того же». Важно констатировать другое: достаточно сложные в понятийном отношении концепции и идеи м о г у т выразиться менее регла-

ментированным, в известной мере упрощенным, разговорным языком н а р я д у с традиционными кодифицированными формами.

Симптоматичны в этом смысле фрагменты интервью с космонавтами из нового телефильма «Космический век»:

Г. С. Титов: «...Так вроде бы определилось, что вот Юрий Алексеевич и я должны остаться на финишной прямой...».

В. И. Севастьянов: «...Я шел на станцию метро поехать в центр управления. Смотрю: все спокойно идут. Еще ничего не знают. Что будет потом? Что было потом — все помнят...».

Для меня, — вот я воспринимаю так: когда Гагарин сказал: „А земля-то такая маленькая...“, — ясно одно: ее надо беречь...».

Здесь отчетливо прослеживаются типичные для устно-разговорной формы черты (стремление к установлению наиболее тесного контакта с аудиторией, непринужденный тон, побудительная интонация и соответствующие структурно-семантические особенности высказывания) [15].

Тенденции к разговорности научной речи довольно рельефно прослеживаются в ряде циклов передач ЦТ СССР («Очевидное-невероятное», «В мире животных» и др.). С другой стороны, некоторые программы телевидения базируются на строго регламентированной литературной речи («Человек и закон», дикторская часть программы «Время» и т. п.). Конечно, ответ на вопрос об отнесении того или иного акта массовой коммуникации к области РР может быть получен на основе серьезного изучения экстра- и интралингвистических характеристик конкретных образцов речи, выработки достаточно четких критериев различий между письменной и устной формами устной речи. Судя по масштабам использования РР в устных средствах массовой информации, социальный ранг этих форм в указанных сферах достаточно высок. Нечто подобное наблюдается и в устных формах информации в англоговорящих странах. При этом нельзя не отметить, что там имеет место значительно большая экспансия РР (если не сказать «разговорной стихии»). Так, по наблюдению А. Митчелла, А. Делбриджа и др. австраловедов, общеавстралийский разговорный вариант английского языка на южном континенте используется повсеместно и на различных уровнях, вплоть до парламентских дебатов и дикторской речи, на нем осуществляется, в основном, обучение в школах и т. д. [16, гл. 1].

Не менее интересна между тем и другая сторона проблемы — изменения, происходящие в рамках так называемого повседневного-бытового общения, т. е. той сферы, с которой традиционно связывается использование РР. Использование РР в функции бытового общения вполне естественно и имеет давнюю историю, хотя РР — не единственное средство общения в быту. Альтернативой могут быть кодифицированный литературный язык (с оговоркой, однако, что использование его в этой функции, по выражению П. Сгалла, «отдает педантизмом») или субстандартные разновидности: диалект, просторечие, сленг. Изменения последнего времени коснулись прежде всего тематики (плана содержания) РР.

В наше время, как уже неоднократно указывалось ранее, определенная интеллектуализация языка становится универсальной для развитых языков мира. Одним из экстралингвистических проявлений интеллектуализации является вовлечение вопросов и проблем политики, науки, международных отношений, военного дела, спорта и др. в область повседневного общения людей.

Игнорировать наличие подобных изменений и тенденций в сфере повседневного-бытового общения и традиционно (или интуитивно) ограничивать РР областью типизированных разговоров «о погоде», о «житье-бытье», «о том, о сем» и т. п. — значит заведомо искажать и обеднять подлинную картину РР, используемую современными «коллективами сношений».

Интеллектуализация сферы повседневного общения не может не вызывать внутренней перестройки имеющихся функционально-стилистических ответвлений языка, перераспределения его стилистических ресурсов. В рамках AuE³ это проявляется, например, в том, что, с одной стороны, РР обогащается все новыми терминами и лексическими инновациями (в том числе теми, которые считались более типичными для функционально-стилистических ответвлений кодифицированного литературного языка), а с другой — повышается социальный ранг целых пластов просторечной лексики, профессионализмов, общего сленга и даже отдельных вульгаризмов. Это подтверждается анализом недавно вышедшего «Словаря разговорных австралийцев» Дж. Уилкса [17]. К аналогичным выводам можно прийти при знакомстве со словарем разговорного английского языка В. Кэя и П. Стрвенса [18]. Симптоматичным в указанном плане является и предпринятое Институтом русского языка АН СССР издание серии книжек-тетрадей «Новое в русской лексике», которые должны отражать, по мнению авторов, «разнообразие процессов словотворчества, реализуемых в русской речи новейшего периода» [19, с. 4].

Расширение масштабов и рамок использования РР и увеличение удельного веса последней в массовой коммуникации, с одной стороны, интеллектуализация сферы повседневного общения и обогащение и изменение плана содержания РР (очевидно, и плана выражения?), — с другой, вызывают необходимость известного пересмотра вопроса о месте и роли РР в системе национального языка в современных условиях. В связи с этим заслуживают внимания серьезные попытки в этом направлении в ряде новейших исследований чехословацких и советских лингвистов. В частности, в уже упоминавшейся работе Я. Горецкого, высказывается гипотеза о том, что в современных условиях РР («станартный язык») является «основным орудием общественной коммуникации» [17, с. 62]. Социальная модель национального языка при этом может быть представлена, по его мнению, в виде пятиступенчатого построения (литературные, стандартные, субстандартные, наддиалектные и диалектные формы).

Таким образом, представляется, что современная РР, видимо, не может ограничиваться рамками так называемого бытового общения. Можно предположить, что она более или менее «дублирует» кодифицированные формы языка в основных сферах деятельности (коммуникации) за исключением сферы художественной литературы, где эти проблемы решаются иначе.

В этом смысле ближе к истине определение сферы функционирования РР, приводимое в учебнике «Общее языкознание», где отмечается, что эта сфера («разговорный стиль») включает повседневное бытовое и трудовое (разрядка наша. — О. Г.) общение [1, с. 62—64].

Как известно, проблема критериев отнесенности тех или иных языковых явлений к РР на сегодня является одной из наиболее сложных и спорных. Мнения здесь расходятся в весьма широких пределах (от противопоставления РР кодифицированным формам, что проявляется в соответствующих пометах «разг.», «coll» — в толковых словарях, до признания РР в качестве интегральной части современного литературного языка).

Правомерно ли, в частности, квалифицировать в качестве единиц РР, скажем, такие примеры: *бригадирова жена*, *докторша*, *из двести пятьдесят трех* и т. п.? [20, с. 213]. Не правильнее ли было бы отнесение подобных единиц к просторечию (или нарочито небрежной, «фривольной» речи, которой иногда иногда щеголяет молодежь)? С другой стороны, вряд ли корректным, соответствующим фактам реальной живой речи, может быть

³ AuE — Australian English (соответственно — BE — British English; AE — American English).

представление о ней, как о чем-то сугубо «приглаженном», исключаящем подобную (окациональную?) деформацию нормы. Ясно (и с этим согласна большинство лингвистов), что инвариантной чертой РР в сопоставлении с кодифицированной речью является определенная «сниженность», границы которой, однако, довольно зыбки.

В указанном смысле представляют интерес критерии «сниженности» РР, выдвигаемые в монографии В. Д. Девкина «Немецкая разговорная речь». Автор полагает, что для современной РР типична «небольшая доля снижения, ...не сильно нарушающая литературность. Больше снижение дает фамильярный слой. Еще ниже на этической шкале расположены гробизмы и на самом нижнем полюсе бранные и нецензурные слова» [5, с. 37—39].

К сказанному следует добавить, что этическая шкала РР — явление сугубо национальное, вытекающее из особенностей бытования литературного языка, его традиций, языковой ситуации и языковой политики, не говоря уже о ситуации общения, языковых установках говорящих и пр.

Наблюдения показывают, что в целом в англоговорящих странах наибольшая степень сниженности норм в пределах РР допустима, видимо, в Австралии, затем идут США и Великобритания, — хотя эти наблюдения могут оказаться корректными не во всех случаях. Нормы русского языка, как мы знаем, отличаются достаточной степенью строгости и упорядоченности. Это не исключает, естественно, их эластичности и достаточно быстрого совершенствования (ср., например, вхождение в норму РР некоторых выражений, типичных для спортрепортажа, типа *прибавить в мастерстве, прибавить в скорости*, даже *прибавить в силовой борьбе* и т. п.). Еще более эластичны нормы английского языка [например, допустимы нормами РР: *recce* (произносится [feksi]) вместо *reconnaissance* «разведка»; *copter* вместо *helicopter* «вертолет»; *biz* вместо *business* «бизнес» и др., в ВЕ; *gals* [ˈgælz] вместо *girls* «девушки»; *fume* вместо *perfume* «парфюмерия»; *pro* вместо *professional* «спортсмен-профессионал» — АЕ].

В рамках РР могут реализовываться отдельные лексико-семантические варианты слов и отдельные словоформы, в то время как остальные варианты слов (словоформы) могут оставаться типичными для кодифицированного литературного узуса [таковы в АЕ, например, переосмысления *to kangaroo a car* «вести машину рывками», ср. с русским (шоферским) жаргонизмом «Что же ты смыкаешь (т. е. дергаешь) машину!», *to bandicoot* «воровать картофель, оставляя нетронутыми стебли», *the drum* «надежная информация» и т. д.].

Проблема сниженности РР в различных языках, бесспорно, требует отдельного рассмотрения. В данном случае представляется уместным присоединиться к мнению тех лингвистов, которые считают, что к разговорной речи следует относить языковые (речевые) явления, характеризующиеся определенной степенью сниженности в рамках нормы литературного языка, которая пока, как правило, устанавливается интуитивно. Представляется также, что водораздел между РР и формами, занимающими более или менее «престижное» положение (кодифицированные формы — просторечие) лежит не только в области «сниженности», но и тональности общения, о чем будет сказано ниже.

Следовало бы попытаться уяснить положение РР относительно таких (внешних) параметров, как контактность (обязательность собеседника), диалогичность, неподготовленность и спонтанность, непринужденность и отсутствие установки на официальность (IV).

Не претендуя на существенные коррективы в установившихся взглядах на эти серьезные проблемы, хотелось бы ограничиться следующими гипотетическими положениями:

1. Появление новейших массовых технических средств фиксации и воспроизведения звучащей речи (звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура, диктофон, видеофон, телефон — в дополнение к радио и телевидению) дает возможность соотносить с определенным временем (и местом) моменты реализации и восприятия речи, при необходимости прослушивать фиксированные образцы речи многократно, в целом и по частям, подобно тому, как это можно было бы сделать с теми или иными фрагментами книжно-письменной речи. Конечно, в этом случае (за исключением телефона) РР предстает перед нами в ином качестве — она как бы «наблюдаема», — мы можем сопереживать, мысленно участвовать в том или ином речевом акте, подавать вольно или невольно реплики и т. п., хотя понятно, что нашего непосредственного участия в акте речи не происходит. Тем не менее подобные фрагменты РР, «наблюдаемые» по телевидению (по радио и т. д.), от этого не перестают быть образцами современной разговорной речи, хотя и речи дистантной. Вероятно, было бы не совсем правильным считать, что собеседник отсутствует, т. к. нацеленность подачи современных теле- и радиопрограмм на индивидуального слушателя (или на определенную категорию слушателей) и уровень мастерства в общем таковы, что эти передачи находят заинтересованного слушателя, в известной мере превращая нас в собеседников. К сожалению, статус и характеристика подобной дистантной речи почти совершенно не разработаны в языкознании.

Наиболее типичной формой РР, очевидно, является диалог, при росте удельного веса полилога (наиболее рельефно выраженного в некоторых жанрах теле- и радиопередач, например, в передачах «Что, где, когда?» ЦТ СССР). Сказанное не исключает, однако, появления определенных монологичных сегментов РР (примером которых могут служить некоторые устные рассказы И. Андроникова, хотя в целом для них, вероятно, более типичны именно кодифицированные формы речи).

2. Не подлежит сомнению, что РР присуща такая интегральная черта, как неподготовленность и спонтанность общения. К сожалению, некоторые языковеды склонны ее абсолютизировать. Думается, что правильнее было бы учитывать, что, с одной стороны, спонтанной и неподготовленной может быть и кодифицированная речь⁴ и, естественно, просторечие, с другой, — помнить о том, что современные средства массовой информации иногда способны (в высокой степени) имитировать спонтанность и неподготовленность. Сказанное можно отнести и к таким характеристикам, как принужденность и неофициальность общения.

Здесь представляется уместной следующая гипотеза. По мнению авторов монографии «Русская разговорная речь», на выбор кодифицированных или разговорных форм при тождественной (или аналогичной) ситуации общения в решающей степени влияет установка (при установке на официальный характер сообщения — кодифицированная речь, при отсутствии подобной установки, — разговорная речь). Некоторые наблюдения за русской и английской речью в средствах массовой информации показывают, что на выбор РР в качестве одного из возможных видов (можно было бы сказать способов) устной коммуникации в определяющей степени влияет не отсутствие установки на неофициальный характер, а именно установка на разговорность. Подобная установка вольно или невольно определяет (правда, в общих чертах) форму и содержание РР, настраивает на определенную тональность всего отрезка высказывания (обычно это стремление к установлению на-

⁴ Недаром психологи выделяют особый тип людей, которые тяготеют к использованию кодифицированной речи в самых различных (в том числе и неофициальных) условиях общения.

ибо более доброжелательных отношений между коммуникантами, стремление к тому, чтобы как можно лучше быть понятым и т. п.). Именно подобная установка функционирует в качестве своеобразного «следающего устройства» в ходе реализации РР даже при отсутствии непосредственного собеседника (например, обращенное к широкой аудитории искусно построенное и умело ведущееся «неподготовленное» телеинтервью). Потребуются, очевидно, специальные исследования, чтобы вскрыть подлинную картину функционирования подобного механизма. Представляется также очевидным, что если выступающий хочет быть в максимальной степени понятым аудиторией, тем более настроен на возможность дискуссии, он невольно «подстраивается» под аудиторию и соответствующим образом подстраивает свою речь: определенным образом снижает ее, побуждает к разговорным репликам и т. д. В ходе подобного общения выступающим (или реакцией аудитории) задается определенная тональность разговора.

3. Поскольку современная РР является, по мнению Я. Горецкого, «основным орудием общественной коммуникации» и используется «в ряду (разрядка наша. — О. Г.) с устно-литературной речью» (УЛР) [7, с. 58],¹ представляется возможным квалифицировать РР и УЛР в качестве равнофункциональных, практически одноуровневых, но разноцелевых — разнотональных разновидностей современного языка. Альтернатива выбора УЛР или РР (при прочих более или менее равных условиях) практически решается в зависимости от установки на сообщение («официальность» — «разговорность»).

Современная РР — важнейшая органическая часть существующих развитых языков, занимающая достаточно высокое положение в системе национального языка наряду с кодифицированными формами и играющая важнейшую роль в общественной и личной коммуникации (главным образом) носителей литературного языка. РР используется практически во всех сферах общественной деятельности (коммуникации), в разной степени дублируя более регламентированные кодифицированные формы. Обиходно-бытовая речь — явление, хотя и сходное с РР, имеет иные (ограниченные) функции и, в основном, относится к образованиям нелитературным. Границы между этими двумя феноменами, как и между РР и УЛР, достаточно зыбки, и требуется дальнейшая разработка проблем статуса этих образований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. М., 1979.
2. Русская разговорная речь. Под ред. Земской Е. А., М., 1973.
3. Азимов А. П., Дешериев Ю. Д. и др. Современное общественное развитие. НТР и язык. — ВЯ, 1975, № 2, с. 3—6.
4. Будагов Р. А. Что такое развитие и совершенствование языка? М., 1977.
5. Девкин В. Д. Немецкая разговорная речь. М., 1979.
6. Turner G. W. The English language in Australia and New Zealand, London, 1966.
7. Горецкий Я. Исходные принципы теории литературного языка: — ВЯ, 1977, № 2.
8. Фиалин Ф. П. О свойствах и границах литературного языка. — ВЯ, 1975, № 6.
9. Akhmanova O. S., Idzelis R. F. What is the English we use? Moscow, 1978.
10. Ure J. N. The theory of register. Essex, 1966.
11. Лингво-стилистические исследования научной речи. Отв. ред. Цвиллинг М. Я. М., 1979.
12. Очерки по стилистике художественной речи. Отв. ред. Кожина А. Н. М., 1979.
13. Известия, 1979, 18 янв.
14. Коммунист, 1980, № 18, с. 111.
15. ЦТ СССР, Телефильм «Космический век», 1981, 9 апр., 20 час. 15 мин.
16. Mitchell A., Delbridge A. The speech of Australian adolescent. Sydney, 1978.
17. Wilkes G. A. A dictionary of Australian colloquialisms. Sydney, 1978.
18. Kay V., Strevens P. Beyond the dictionary English. London, 1974.
19. Новое в русской лексике. Словарные материалы — 77. Под ред. Котеловой Н. З. М., 1980.
20. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М., 1977.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Живкова Л. Четвероангелието на цар Иван Александър. С пълно черно-бяло възпроизвеждане на оригинала и шестдесет и четири цветни факсимилета. — София: Наука и изкуство, 1980. 226 с.

Среди издателей памятников древней славянской письменности наряду с лингвистами, литературоведами, музыковедами и историками (различной узкой специализации) свое — и важное — место занимают искусствоведы.

Характерный, традиционный и естественный признак искусствоведческого издания — не наборное, а непременно факсимильное воспроизведение рукописи. Столь же характерным признаком до недавнего времени была фрагментарность воспроизведения источника: поскольку искусствовед в первую очередь интересуют миниатюры, буквы, заставки и прочие компоненты художественного исполнения рукописи, обычно и публикуются избирательно лишь те листы, на которых они представлены, а другие — не публикуются. Так, в образцовое искусствоведческое издание греческой Художественной псалтыри М. В. Щепкина включила не весь текст, а только «все листы псалтыри, украшенные миниатюрами» [1]. Точно так же исследовательница еще раньше издала Псалтырь Томица [2].

Однако постепенно искусствоведы переходят от фрагментарности к полному воспроизведению издаваемого текста. Так, Г. И. Вздорнов полностью издал Киевскую псалтырь 1397 г. (из собрания Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) [3—4; обе книги в одном футляре]; Т. В. Дианова целиком воспроизвела «Сказание о Мамаевом побоище» по лицевому списку XVII в. из собрания Государственного Исторического музея [5]. Рецензируемое издание Л. Живковой отвечает намечившейся тенденции: текст Четвероангелия царя Ивана Александра передан факсимиль-

ным способом от первого листа до последнего.

Конечно, публикации Вздорнова, Диановой, Живковой и аналогичные им остаются по своей направленности искусствоведческими (в исследованиях, сопровождающих воспроизведенный источник, обстоятельно анализируются миниатюры с точки зрения их композиции, цветовой гаммы, изобразительной манеры, т. е. рукописи изучаются как произведения изобразительного искусства), однако все эти издания одновременно чрезвычайно важны и для историка языка, и для литературоведа, и для других специалистов в области палеославистики. Действительно, факсимильная передача источника всегда имела и имеет место в литературоведческих [6] и лингвистических [7] изданиях — причем она не всегда сопровождается воспроизведением рукописного текста с помощью типографского набора¹. С одной стороны, для лингвистических разысканий наборное издание удобнее факсимильного (скажем, поскольку на факсимиле могут не читаться погашие или стершиеся литеры, легко читаемые в самой рукописи, или поскольку издатели обычно предпринимают словоделение сплошного текста, благодаря чему значительно облегчается беглое чтение, и т. д.); с другой же стороны, в некоторых случаях набор не может заменить фототипию (например, если для лингвиста важны точные формы знаков ударения и препинания, экфонетических знамен и т. д. или если возникают сомнения по поводу предпринятого

¹ Например, только фототипически издана Синайская Сербская псалтырь [7]. Только фототипически опубликована Болонская толковая псалтырь [8].

издателями словоделения). Таким образом, для историка языка оптимальным является сочетание в издании как наборного, так и фототипического текстов². Тем не менее и одно факсимильное воспроизведение, особенно если рукопись не потускнела, хорошо «выходит» на фототипах и к тому же разборчиво написана (а всем этим требованиям отвечает Евангелие-тетр царя Ивана Александра), способно удовлетворить потребности лингвиста.

В свете сказанного издание Л. Живковой, безусловно, является важным событием в палеославистике — и отнюдь не только для историков славянского искусства (хотя для них все же в первую очередь), но и для исследователей древнеболгарского языка и древнеболгарской письменности. Остановимся исключительно на филологической проблематике.

Рассматриваемое четвероевангелие — это одна из трех дошедших до нас ранних болгарских рукописей середины XIV в., созданных в единый промежуток времени и в рамках одной и той же Тырновской литературной³ и живописной школы. Две других — это упомянутая ранее Псалтырь Томича (1360—1365 гг.)⁴ и знаменитая Хроника (Летопись) Константина Манассии (1344—1345 гг.)⁵. По месту своего хранения (в Британском музее) Евангелие царя Ивана Александра известно также под именем Лондонского. В заключительной приписке, одновременной с евангельским текстом, содержится ряд важных сведений; здесь сказано и о времени написания книги (6864 г. от сотворения мира, т. е. 1355—1356 гг.), и о заказчике (самодръжець Иоанъ александър), и о его супруге (причем очень интересно обыграно ее имя: съ благовѣрноу!.../ Ѡеод(о)рожъ тьзоиметноу бжъму дароу⁶), и о его сыне — царе Иване Шишмане, и об имени перепишчика (писавъи сѣжъ книгъ сѣмонъ мнихъ(ъ) нарицаетъА)⁷.

² В этой связи нельзя не отозваться с большим одобрением о великолепных изданиях болгарских коллег, в которых представлено упомянутое сочетание фотоконии и набора. См., например, [9—11].

³ Л. Живкова уточняет характеристики Тырновской школы, называя ее философско-литературной (философско-книжовна).

⁴ Кроме издания М. В. Щенкиной [2] см. также [12].

⁵ Издание см. [13].

⁶ Перепишчик, по-видимому, знал греческий язык.

⁷ Листы 274об и 275. Факсимильный текст передаем буква в букву, но с небольшими модификациями (облегчающими набор): надстрочные буквы вносим в строку без особого упоминания; дополняемые буквы заключаем в круглые скобки; словоделение принадлежит нам;

Для филолога рассматриваемый памятник интересен в аспекте изучения различных этапов переводов с греческого языка на славянский. Не без определенной схематизации можно различать три этапа в понимании славянскими книжниками адекватности или просто приемлемости переводов. Первый этап связан с именами Кирилла и Мефодия, которые старались быть верными подлиннику как со стороны формы, так и со стороны содержания. В переводах славянских первоучителей обычно каждому греческому слову источника соответствует славянское, однако если дословность перевода приводит к искажению смысла, то переводчики давали и свободные переводы⁸. Представителем второго этапа можно считать Иоанна Экзарха. Иоанн требовал от переведенного текста лишь смыслового соответствия источнику, а на сохранении формы не настаивал, практиковал перестановки частей и комплиляции. Эта воляность в обращении с исходным текстом привела к тому, что некоторые исследователи переведенный им Шестоднев Василия Великого склонны были считать оригинальным трудом самого Иоанна. Наконец, третий этап — это теоретическая позиция и конкретная практика Тырновской школы; он неотделим от имен патриарха Евфимия, Григория Цамблака, Константина Костенеческого и Владислава Грамматика. Для них характерен принцип неограниченного формального и смыслового соответствия между исходным греческим и переводимыми славянскими текстами. Если Кирилл и Мефодий все же допускали принципиальную возможность отклонения от греческого подлинника, то Евфимий и его последователи (вполне в духе психизма) такую возможность отвергали. Для исихаста слово — это не выражение, а сущность обозначаемых явлений, поэтому строжайшее следование греческому источнику неуклонно проводилось в жизнь. В крайних случаях возникали и относительно невразумительные переводы (например, у Константина Костенеческого, о чем подробно писал И. В. Ягич), однако при умеренном подходе степень согласованности источника и перевода действительно повышалась⁹.

Так, Евангелие царя Ивана Александра явно подверглось справе, в результате которой были последовательно устранены все отклонения, представленные в четвероевангелиях старшей поры. Справедливость сказанного демонстрируется путем сопоставления Маринского евангелия (по известному изданию И. В. Ягича) не раскрываем; пропуски помечены отточиями.

⁸ Попытку собрать такие переводы в Евангелии см. [14].

⁹ Развернутый анализ этих трех этапов см. в [15]; см. также [16].

ча; сокращенно Мар) с Евангелием царя Ивана Александра (сокращенно ЕвИвАл)¹⁰

Стих Мт VIII, 32 по-гречески читается: *καὶ ἀπεβήκει ἐν τοῖς ὄρεσιν*. В Мар имеем: и *опуохъ въ водахъ*, хотя греч. *ἀποβύσκει* во многих других случаях соответствует не *опуонати* (этому славянскому глаголу отвечает греч. *καταβύσκει*, см. Мт XIV, 30), а *оумръти*. В ЕвИвАл устраняется «вольность» Мар и восстанавливается полное смысловое тождество греческого и славянского глаголов: *оустръмися стадо аще по брѣгоу въ море*, и *измръшихъ въ водахъ*.

Подобное же «смысловое подтягивание» славянского текста к греческому видно и в причте о немилостивом рабе. Мт XVIII, 30: *ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν ἐβάλεν τὸν εἰς φυλάκην*. Мар: *онъ же не хотѣше нъ ведѣ всади и въ темницѣхъ*. Глагол *ἐρχομαι* (*ἀπελθὼν*—это его вористное причастие) регулярно переводится как *ити* или *грѣсти*, а перевод глаголом *вести* (так, между прочим, не только в Мар, но и в Ассеманьевом евангелии и в Саввиной книге) — это пусть очень уместная и яркая, по все же вольность. В ЕвИвАл полная семантическая эквивалентность восстанавливается: *нхъ шедѣ вьсади и вь темницѣхъ*.

В повествовании об исцелении раба сотника читает: *ἴνα μου ὑπὸ τῆν στέγην εἰσελθῆς* (Мт VIII, 8); Мар: *да въ домъ мой вьидеши*. Однако греч. *στέγη* (от *στέγω* «покрывать») означает, собственно, крышу дома, а не весь дом. Ср. ЕвИвАл: *нбъсмъ достоинъ ѣко да подѣ кровъ мои вьидеши*.

Аналогичные подравнивания под греческий исходный текст заметны также в области синтаксиса: слова располагают-

¹⁰ Если цветные факсимильные листы в издании Л. Живковой вполне разборчивы, то черно-белые воспроизведения (здесь листы значительно уменьшены) поддаются чтению преимущественно с лупой, причем мелкие киноварные пометы не видны. Кроме того, в фототипическом издании, к сожалению, не указываются ни главы, ни стихи, по которым обычно отыскиваются нужные места. Опираясь на собственный опыт, мы могли бы дать потенциальному исследователю ЕвИвАл практический совет, позволяющий находить требуемый стих быстрее, чем сплошным просмотром текста. На полях рукописи проставлены перикопы (зачала) Аммония, поэтому если нужен, например, стих Мт VIII, 32, то надо смотреть, в какую перикопу он входит (в 69-ю), а затем по памятнику искать эту перикопу (39) — по мере возрастания чисел (она оказалась на листе 26—26об). Перикопы Аммония регулярно указываются в изданиях греческого Нового Завета Э. Нестле (на внутренних полях текста, в виде десятичной дроби, причем сама перикопка указывается до запятой). Аммониевы

ся строго в порядке следования греческих слов, используются тождественные конструкции, предпринимаются попытки по-славянски выразить даже безэквивалентные греческие грамматические категории. В рамках рецензии нет возможности приводить большой доказательный материал, однако, в целом, на наш взгляд, допустимо утверждать, что Евангелие царя Ивана Александра ярко представляет третий этап подхода к славянским переводам с греческого.

На материале этого великолепного источника возможны, конечно, и другие разнообразные и интересные филологические размышления, особенно по изучению природы Тырновской литературно-книжной школы и вообще по истории древнеболгарского языка. Хочется надеяться, что и в нашей стране вслед за публикацией Киевской псалтири также будет продолжено издание аналогичных памятников традиционной письменности. Эти источники равно важны для истории двух языков — древнеболгарского (иначе: старославянского, древнеславянского) и русского¹¹.

Л. Живкова осуществила дело огромного значения. Палеославистика обогатилась изданием источника первостепенной ценности.

Верещагин Е. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. Щепкина М. В. Миниатюры Хлудовской псалтири. Греческий иллюстрированный кодекс IX в. М., 1977.
2. Щепкина М. В. Болгарская миниатюра XIV в. Исследование Псалтири Томича. М., 1963.
3. Киевская псалтирь 1397 года. М., 1978.
4. Вздорнов Г. И. Исследование о Киевской псалтири. М., 1978.
5. Дианова Т. В. Сказание о Мамаевом побоище. Лицевая рукопись XVII в. М., 1980.
6. Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 1975.
7. Der älteste Serbische Psalter. Hrsg. von Altbauer M. Köln — Wien, 1979 («Slavistische Forschungen», Bd. 23).

зачала (но на внешних полях текста) впервые приведены также в одном отечественном издании. Будем надеяться, что в дальнейшем кто-нибудь соотнесет листы ЕвИвАл с евангельскими главами и стихами (хотя бы по такому типу: Мт I, 1—2 — лист 6; Мт I, 2—6 — лист 6об; Мт I, 6—10 — лист 7 и т.д.) и опубликует этот список, способный намного облегчить пользование изданием.

¹¹ В частности, пора, наконец, осуществить издание Мстиславова евангелия 1115—1117 гг.

8. *Дуйчев И.* Болонски псалтир. Български книжовен паметник от XIII век. София, 1968.
9. *Иванова-Мирчева Д., Иванова Ж.* Хомилията на Епифаний за слизаето в ада (неизвестен старобългарски превод). София, 1975.
10. *Иванова-Мирчева Д.* Йоан Екзарх Български. Слова. Т. I. София, 1971.
11. *Климен Охридски.* Събрани Съчинения. Т. I. Обработ. Ангелов Б. Ст., Куев К. М., Кодов Хр. София, 1970; Т. II. Обработ. Ангелов Б. Ст., Куев К. М., Кодов Хр., Иванова Кл. София, 1977; Т. III. Пространни жития на Кирил и Методий. Подгот. за печат Ангелов Б. Ст. и Кодов Хр. София, 1973.
12. *Джурова А.* Миниатюрите на Томичовия псалтир. Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. София, 1974.
13. *Дуйчев И.* Летописа на Константин Манаси. София, 1963.
14. *Верещагин Е. М.* Из истории возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия. М., 1972.
15. *Trost K.* Untersuchungen zur Übersetzungstheorie und -praxis des späteren Kirchenslavischen. München, 1978.
16. *Верещагин Е. М.* — Советское славяноведение, 1981, № 2. — Рец. на кн.: *Trost K.* Untersuchungen zur Übersetzungstheorie und -praxis des späteren Kirchenslavischen. München: Wilhelm Fink Verlag, 1978, 381 с.

Котков С. И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. — М.; Наука, 1980, 293 с.

Книга С. И. Коткова является итогом более чем двадцатилетней работы в области лингвистического источниковедения. Эта новая, созданная им научная дисциплина в отечественном языковедении развивается с конца 50-х гг. К этому времени, как писал Ф. П. Филин, «возникла острая необходимость возобновления и расширения подлинно научных изданий, с теоретическим основанием лингвистического источниковедения» [1, с. 542].

В своей научной деятельности С. И. Котков уделяет внимание малоизвестным и не известным историкам русского языка рукописным материалам, в частности южновеликорусским. Письменные памятники XVI—XVIII вв. и более ранние, изданные под его редакцией Сектором лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР по правилам лингвистического издания, широко известны русистам. Давая оценку этим работам, В. В. Иванов писал: «...издание ... памятников и их изучение может привести и уже приводит к пересмотру определенных устоявшихся представлений об истории тех или иных явлений в русском языке» [2, с. 31].

Рецензируемая книга посвящена разработке теоретических основ лингвистического источниковедения, «...обоснованию источниковедческого аспекта в исследованиях по истории русского языка, значению в разработке его истории памятников южновеликорусского наречия и характеристике оптимальных источников по изучению народно-

разговорного общения...» (с. 3). В ней разрабатываются принципы и методы исторической диалектографии, поставлен вопрос об источниковедческом аспекте в преподавании истории русского языка.

Этим задачам отвечает композиция книги, включающей семь отдельных очерков, связанных единством проблематики, которая определяется историческими исследованиями по русскому языку и состоянием лингвистического источниковедения на данном этапе.

Основные проблемы сформулированы в первом очерке «О лингвистическом источниковедении» (с. 5—16): «Пока еще не в полной мере выяснено, какой была основа древнерусского литературного языка — русской или церковнославянской, возникшей на базе заимствованной старославянской письменности; не получил достаточной характеристики язык великорусской народности; во многом еще не изучен процесс формирования русского национального языка, нуждается в интенсивном исследовании история стилей литературного языка...» (с. 5—6). Помимо этих, в каждом очерке в рамках избранного жанра и композиции решаются более частные вопросы, предопределяемые анализом отобранного для исследования материала. Формулируются разработанные ранее автором теоретические основы лингвистического источниковедения как науки, дано определение лингвистического источника как объекта исследования, предлагается общая классификация всего многообразия языковых источников.

Четкие и краткие формулировки получают в книге также понятия лингвистического источниковедения. Лингвистическая содержательность — это совокупность заключенных в источнике языковых данных, определяемая его содержанием и отношением «... к определенному лингвистическому образованию (языку, наречью, говору), а также степенью познания последнего. Лингвистическая информативность представляет собой определяемую условиями образования источника степень прямой и косвенной отраженности в нем лингвистической содержательности...» (разрядка наша. — А. Л.), (с. 10), которая «... имеет отношение прежде всего к внешним средствам выражения языка и внешним условиям его существования (характер графики и орфографии, правописные навыки писцов, уровень и состояние звукозаписывающей техники и т. д.)» (с. 10). Далее освещаются особые эдиционные задачи лингвистического источниковедения (в отличие от археографии) в связи с его конечной целью — введением памятников письменности в широкий научный оборот.

Лингвисты, используя в своих работах издания историков, не предпринимали инвентаризации старорусских памятников языка. С. И. Котков развертывает перед будущими источниковедами перспективы работы не только с памятниками трех-четырёхвековой давности, но и со всем разнообразием источников современных. В качестве ближайшей задачи он предлагает создать критерии отбора из разновидностей (серий) источников наиболее типичных, чтобы на основе изучения их лингвистической содержательности создать общие характеристики каждой серии, которые в свою очередь послужат основой систематизации.

Касаясь вопросов издания и рассматривая различные способы воспроизведения памятников языка, автор приходит к заключению: в оптимальной лингвистической публикации должно быть представлено и наборное, и факсимильное воспроизведение текста или по меньшей мере его фрагментов. Характеризуя словесные направления публикаций и источниковедческих исследований последних лет, С. И. Котков высказывает мнение о том, что расширение и углубление работ по лингвистическому источниковедению является необходимым условием дальнейшего развития русистики и в целом языковедения.

Во втором очерке «Об источниковедческом аспекте в исследованиях по истории русского языка» автор многочисленными примерами обосновывает методы исследования источников со стороны их лингвистической содержательности и информативности. Непременным условием успешного и объективного

языковедческого исследования С. И. Котков считает количественную достаточность источников, учет их принадлежности к оригиналам, редактированным спискам или буквальным копиям, соотнесенность с определенной лингвистической территорией или языковым коллективом и с известным временем.

Критикуя распространенные в определенное время в отечественном языковедении умозрительные концепции, оторванные от живой материи языка, — (при наличии в нашей стране огромных фондов старинных рукописей и старопечатной книжности) — автор указывает на усладеваную от прошлого недооценку скорописных источников XVI—XVIII вв., особенно приуроченных к южновеликорусской области. Объясняя обращение к древним, преимущественно уставным и полууставным текстам стремлением ученых проникнуть в более глубокие эпохи истории языка, автор с благодарностью отзывается о деятельности корифеев отечественного языковедения — А. Х. Востокова, Ф. И. Буслаева, И. И. Срезневского, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, — уделявших значительное внимание древним текстам. Из-за ограниченной источниковедческой базы и невнимания историков языка в последующие периоды к поздним скорописным текстам получили недостаточную либо неверную интерпретацию следующие проблемы: вопрос о формировании современного фонетического облика и грамматического строя русского языка к XIV—XVI вв., о роли церковнославянского элемента в его истории, вопросы исторической диалектологии и географии русских народных говоров до XVIII в., характеристика облика русского национального языка, его литературной и разговорной разновидностей в начальный период его становления и роль южновеликорусского наречия в этом процессе.

В свое время В. В. Виноградов указывал на важность выявления «...исторических взаимодействий и соотношений народно-русской и старославянской, а также и позднейшей церковнославянской (или, вернее, книжно-славянской) стихий в русском литературном языке на протяжении всей его истории и во всех сторонах его строя и состава» [3, с. 20].

Выход за пределы традиционного круга памятников, глубокое изучение не привлекавшихся ранее письменных материалов позволили С. И. Коткову вплотную подойти к решению проблемы соотношения церковнославянского и русского языков в XVII в. Он решительно отвергает принятое на веру, а затем утвердившееся как беспорочное «...мнение Лудольфа: в России в конце XVII в. разговаривали по-русски, а писали по-славянски» (с. 36), которое долгое время влияло на направление исследований

историков-русинов. Исходя из анализа скорописных текстов, можно видеть, что собственно русская письменность «... обслуживала всю совокупность общественно-экономических отношений, центральное и местное управление, межгосударственные связи, обыденное общение посредством грамоток» (с. 36). За церковнославянским языком оставалось обслуживание религиозного культа, а отдельные его элементы, органически воспринятые русским языком, выполняли определенные стилистические функции в текстах собственно русских (челобитных, сатирических повестях, грамотках и т. д.). Отвергая как несостоятельное утверждение Лудольфа о двуязычии русских в конце XVII в., С. И. Котков анализирует многочисленные уже опубликованные и недавно обнаруженные в архивах рукописные тексты, доказывающие, что на русском языке не только «разговаривали», но и писали. Коммуникативная же роль церковнославянского языка была «...ограниченной и преимущественно монологической» (с. 47), так как даже представители культа излагали содержание, например, своих писем (грамоток) по-русски. Язык грамоток близок к разговорному, а традиции эпистолярного общения на Руси восходят к письмам на бересте. О том же свидетельствует все жанровое разнообразие деловой и художественной литературы XVII—XVIII вв. на русском языке, начиная от писцовых и таможенных книг и кончая сочинениями протопопа Аввакума.

Среди причин столь долгого господства мнения Лудольфа С. И. Котков называет следующие: ориентация на памятники более древние (а они в основном церковнославянские) и неосведомленность в более поздних, отсутствие (вплоть до 60-х гг. XX в.) изданий памятников поздней поры (после XVI в.) по правилам лингвистического воспроизведения, а также мнение некоторых видных лингвистов о постоянной ориентации системы русского письма на церковнославянские нормы.

Не менее важно обращение к источниковедческим аспектам в исследовании по исторической диалектологии, для которой едва ли не основным является вопрос о принадлежности памятника носителю того или иного диалекта при отсутствии прямых указаний. Напоминая читателю установленный им ранее факт принадлежности большинства периферийных писцов к числу местных жителей, С. И. Котков доказывает правомерность соотнесения по лингвистическим данным старинных рукописей с теми или иными диалектами. Раскрывая лингвистическую информативность источников, автор обращается к анализу орфографии и графики рукописей. На примере фактов орфографической передачи

безударного вокализма он демонстрирует многообразие его прямых и косвенных проявлений в пределах одного почерка и, поскольку в русском письме за правописной оболочкой оканье не может быть установлено, предлагает при исследовании памятников письменности оперировать противопоставлением «аканье—отсутствие аканья» (с. 22), так как противопоставление «аканье—оканье» оказывается несостоятельным. Это дает в руки лингвистов как бы новый более точный инструмент для соотнесения текстов с определенными территориями.

Занимаясь в течение длительного времени исследованием и публикацией памятников южновеликорусской письменности, ученый устанавливает, что круг традиционных отличительных особенностей, известных ранее как, скажем, северновеликорусские, постоянно сужается. Так, сомнительной неюжновеликорусской приметой оказывается отличное от е произношение гласного, передававшегося на письме буквой *ѣ* в положении под ударением, и совпадение его с *е* в безударном положении: это явление обнаружено и в памятниках, созданных в южновеликорусских областях. То же можно сказать о конструкции типа *земля пахать*, считавшейся северной, но выявленной с разнообразным лексическим наполнением и в южных источниках. Приводя еще некоторые фонетические и лексические приметы, служившие ранее критериями территориального соотнесения памятников, но оказавшиеся сомнительными в свете последних источниковедческих исследований, С. И. Котков вместе с тем призывает принимать во внимание и ввелингвистические факторы: «...отображение в источнике местных событий, характерных именно для этих мест социально-экономических отношений, а также элементов локального быта, природных условий и т. д.» (с. 23), что в свою очередь предполагает всестороннюю ориентированность исследователя в вопросах истории, этнографии, географии.

Такие стороны лингвистической информативности рукописей, как их графика, орфография, правописная выучка писцов, ставят перед исследователями свои задачи. Так, уставное несвязное письмо, ориентированное на побуквенное воспроизведение рукописи, в известной мере ограничивало возможность проникновения в список не совместимых с текстом оригинала примет, характерных для речевого уклада переписчика, тогда как скорописное беглое дублирование текста этому способствовало, тем более, что скоропись постоянно применялась в деловом общении. Автор приводит примеры небесспорных суждений видных лингвистов о степени и пределах былого распространения различных явлений, которые сложились вследствие невнимания к осо-

бенностям «технологии» воспроизведения источников.

Анализ внесенных писцами и списавшими фонетико-морфологических исправлений, в которых всегда проявляется «...момент сознательной оценки определенного лингвистического факта...» (с. 28), дает представление о колебаниях в речевом укладе писца, угасании старых элементов и нарастании новых, что «...исключительно важно для познания процессов кодификации языка и правописания» (с. 28). И далее намечаются пути и методы исследований в этом направлении, приводятся факты якобы несомненной распространенности фонетических, морфологических и синтаксических явлений, требующие пересмотра в свете внешних историко-лингвистических исследований.

Напоминая слова Д. С. Лихачева о том, что «нет текста вне его создателей» [4, с. 53], С. И. Котков подчеркивает необходимость пристального внимания к индивидуальным особенностям графики писцов, их правописной выучке, их психологии, а также к чертам узואально сложившейся в течение длительного времени общерусской письменной культуры. Исследования такого характера способствовали бы более глубокому изучению проблем истории языка.

В книге раскрывается значение особенностей старинной русской орфографии и графики, снижающих лингвистическую информативность источника. Таковы сокращенные написания слов, отсутствие *ъ* и *ь* при выносных буквах (а следовательно, отсутствие обозначения мягкости их), графически одинаковая передача *ъ* и *ь*, отсутствие их на конце в инфинитивах после выносного *и*; особенности передачи в возвратных глаголах конечных согласных, которые выносились в верхнее междустроиче, совпадение в начертаниях отдельных букв (*е* и *д*, *и* и *щ*, *е* и *и*, *ъ* и *ѣ* и т. д.). Знание таких особенностей рукописей позволяет правильно оценить, изучение какой лингвистической содержательности (грамматической, лексической или фонетической) возможно по данной рукописи или изданию, и обеспечить объективность исследования путем оптимального подбора источников в намеченном направлении.

Особое внимание уделено задачам анализа исторического синтаксиса либо непосредственно по старинным рукописям, либо по лингвистическим изданиям, так как приведенная издателями пунктуация «...служит их современной интерпретации, а не выявлению отложившихся в них синтаксических отношений» (с. 56).

В третьем очерке «О памятниках народно-разговорного языка» (с. 62—75) обосновывается реальная возможность изучения устной формы русского языка по памятникам письменности, в частности по материалам грамоток, отождеств-

лявшихся ранее с другими деловыми памятниками. Призывая вслед за В. В. Виноградовым отличать понятие «литературности» речи от ее «художественности», С. И. Котков утверждает: данные частной переписки свидетельствуют о неправомочности предположения о том, что «...в русском обществе в течение полутысячелетия, в том числе и в деловом общении, литературные функции выполнялись исключительно старославянским — перковнославянским языком» (с. 68). Корни подобных суждений лежат в основе слабой изученности деловой письменности XVII в. В свете поставленной в первом очерке задачи выявления серий источников автор предлагает разграничить три вида деловой письменности: эпистолярную (грамотки), активную (государственные и частно-правовые акты) и статейную (статейные списки, т. е. отчеты русских послов, и вестикуранты). В связи с таким разграничением термин «приказной язык» ассоциируется автором с языком актовой письменности; для определения языка других видов деловых памятников используется термин «деловой» в отличие от «книжно-литературного».

Четвертый очерк «Памятники южновеликорусской письменности и вопросы истории русского языка» (с. 76—154) начинается с обозрения соответствующих источников, хранящихся в ЦГАДА, ГИМ ОПИ, ГБЛ, архивах Воронежа, Курска и Орла (с. 76—80). Указывая на возможность использования деловых текстов для изучения по ним устной речи, автор разрабатывает вопросы методики исследования текстов анонимных и принадлежащих местным или московским писцам. Анонимные тексты, приводимые в книге, сопровождаются комментарием с указанием, по каким признакам можно отнести их к южновеликорусским. Обращаясь к источникам, писцы которых указаны, С. И. Котков находит подтверждение своему прежнему выводу: местные жители, профессионалы и непрофессионалы, обеспечивали потребности письменного делового общения на местах. Тексты, созданные московскими писцами, в частности, книги бортовых угодий с их уникальными данными, в известной мере также пригодны для изучения по ним южновеликорусских лексических явлений.

Южновеликорусская речевая культура, отраженная в письменных источниках, объединяет «...и то, что было в ней специфически южновеликорусским, и то общерусское, в том числе свойственное приказному обиходу, что служило основой устного общения носителей южновеликорусских говоров» (с. 94). Проникновение же элементов приказного языка, особенно лексических, в живой язык определялось социально-экономическими условиями жизни народа, тем

более что приказная письменность формировалась на базе предшествующей деловой.

Постоянное внимание к памятникам южновеликорусского наречия дает автору право на утверждение: истоки русского национального языка уходят не в один какой-то диалект, а в более крупные лингвистические образования. Процесс складывания национального языка, понимаемый как процесс концентрации говоров, протекал, по мнению С. И. Коткова, в широком взаимодействии северно- и южновеликорусского начал, а фокусом взаимодействия была Москва. Отсюда вытекает одна из главных задач в изучении этого процесса: «...выделение той лексической общности, которая имела в своей основе лексическую систему великорусской народности, по мере развития национальных связей обогащалась, разветвлялась, совершенствовалась и в условиях все более обобщающего влияния письменной культуры приобретала характер национальной» (с. 128). Исследуя лексико южновеликорусских письменных памятников, автор обнаруживает расхождение между современной и исторической географией слов, например, повседневно обихода, что связывает с утратой на Юге общих с Севером лексических элементов вследствие большей интенсивности процесса концентрации южновеликорусских говоров и заимствований из украинского и белорусского языков. Издания собраний материалов, извлеченных из деловой письменности северно- и южновеликорусского происхождения, были бы перспективными для составления различных карт по исторической диалектологии. В заключение обосновывается пригодность южновеликорусских источников для исследования исторического синтаксиса, исторической фонетики, и в частности акцентологии.

В краткой рецензии невозможно даже перечислить все аспекты изучения граммоток, раскрытые автором в пятом очерке «Старинная русская частная переписка» (с. 155—237). Предназначенные для неофициального общения, не имевшие юридического значения, а потому наименее зависимые от норм и приказного и церковнославянского языков, граммотки содержат лингвистические данные, не свойственные другим источникам. Богатство лексических групп, фразеологии, отражение фольклорной традиции, эволюция в лексико-семантической сфере и в области словообразования за последние три-четыре столетия, факты абсолютной хронологии, например, в морфологической сфере и др. — вот далеко не полный перечень элементов лингвистической содержательности этих источников. Всестороннее изучение граммоток XVII—XVIII вв., по мнению С. И. Коткова, способствовало бы выяснению состояния

той речевой культуры, которую унаследовал национальный язык от времен великорусской народности, уточнению хронологии отдельных явлений, особенно по диалектным областям, освещению взаимодействия письменной (приказной и книжной) и народно-разговорной стихий в различных сферах литературного языка того времени, уточнению характеристики говора Москвы — основы устной разновидности литературного языка, изучению роли северно- и южновеликорусского начал в становлении и развитии национального языка. Содержание этого очерка, в котором любое рассматриваемое явление сопровождается тщательным анализом текста и связывается с актуальными задачами русистики, — пример источниковедческого исследования целого вида старинной письменности.

В предпоследнем очерке «Памятники русской письменности и историческая диалектография» (с. 239—253), одобряя получившее в минувшие три десятилетия широкое развитие обследование русских говоров в плане лингвистической географии, автор приводит случаи несовпадения живых явлений современных говоров с показаниями памятников XVI—XVII вв., созданных на соответствующих территориях, и напоминает о рискованности суждений о былом состоянии по современным лингвистическим данным. Далее он устанавливает принципы разработки диалектографии русского языка по данным письменных памятников, показывает значение в этом отношении отдельных групп источников, их сильные и слабые стороны. Определены также пути и методы исследования таких разнообразных памятников деловой письменности, как отказные книги, сказки, поручные записи, служилые кабалы, кучиче, меновные, порядные, в которых писцы указаны, анонимные таможенные, приходо-расходные и др. книги, челобитные и созданные не местными людьми писцовые книги.

Как естественный вывод в последнем очерке «Об источниковедческом аспекте в преподавании русского языка» (с. 254—263) звучит предложение автора: включить в программы вузов спецкурсы и семинары по лингвистическому источниковедению. Обосновывая методику этой дисциплины, С. И. Котков пишет: «Синтезирующее познание русского языка в его историческом прошлом, в отличие от познания его главным образом по фонологическим схемам, схемам склонения и спряжения, а также синтаксическим, невозможно без основательной начитанности в памятниках письменности, где оно выступает целостно, в единстве всех образующих его элементов и отношений» (с. 255).

Уже не первая книга С. И. Коткова снабжена постраничным указателем слов анализируемых текстов, что с благодар-

ностью принимается лексикологами и лексикографами.

В заключение хотелось бы пожелать автору при обстоятельной характеристике лингвистической содержательности источников более подробно останавливаться на их лингвистической информативности. Не лишним явилось бы определение, во-первых, ближайших перспектив, а во-вторых, типов лингвистического издания памятников исследуемого периода.

Астахина Л. Ю.

ЛИТЕРАТУРА

1. Филли Ф. П. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. — ИАН СЛЯ, 1976, № 6, с. 542.
2. Иванов В. В. Актуальные проблемы современной исторической русистики. ФН, 1978, № 5, с. 31.
3. Виноградов В. В. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958, с. 20.
4. Личачев Д. С. Текстология. На материале русской литературы X—XVII вв. М.—Л., 1962, с. 53.

Pauliny E. Slovenská fonológia. — Bratislava: SPN, 1979. 213 s.

В мощном потоке фонологической литературы рецензируемая книга известного словацкого фонолога Е. Паулины занимает особое место. Она отражает общую тенденцию охлаждения к фонологической концепции Р. О. Якобсона [1], с одной стороны, и повышенное внимание лингвистов Чехословакии к теоретическим и философским проблемам языкознания — с другой. В книге изложена относительно новая «фонологическая» концепция, частично апробированная на страницах «Вопросов языкознания» [2, 3]. Это издание значительно отличается от предшествующих (1961 и 1968 гг.).

Книга состоит из двух равных частей: «Общая фонология» (с. 11—104) и «Фонология словацкого литературного языка» (с. 107—207). В анализе базисной проблемы отношения между фонемой и звуком, фонологией и фонетикой (с. 24—61) предпослано оригинальное изложение основных понятий теории коммуникации (с. 11—23). Лишь после этого рассматриваются и основные фонологические понятия фонемы и фонологической структура, фонема и ее свойства, фонологические противопоставления, нейтрализация, слог и др. Собственно словацкая часть содержит следующие разделы: «Дистинктивные свойства словацких фонем» (с. 104—144), «Спайка морфем, нейтрализация и альтернативация» (с. 145—161) и «Слог» (с. 162—207). Как отмечает и сам автор, в книге значительное место уделено проблеме слога. Однако наибольший интерес представляют теоретические принципы новой концепции, их-то и следует обсудить.

Излагаемая фонетическая теория, как вводится автор, «последовательно исходит из диалектико-материалистического представления о реальной действительности» (с. 8). Центральным положением всей фонологической концепции является тезис о том, что фонема — не абстракция сегментов речевого сигнала, как это счита-

лось в предыдущих фонологических концепциях (И. А. Бодуэн де Куртене, Л. В. Щерба, Р. О. Якобсон и др.), а элемент фонологической структуры данного языка (с. 7, 51—61).

В связи с этим Е. Паулина перевернул иерархию отношений «звук — фонема» на 180°; не звук, а фонема является «исходным пунктом». «Звук как физическая единица речевого сигнала, — с его точки зрения, — определяется фонемой» (с. 53). Как следствие из этого тезиса вытекает положение о том, что «фонология является первой и основной ступенью подхода к звуковой стороне языка» (с. 25). Понимание фонологии как некоторой научной абстракции над «естественной» фонетикой автор считает ошибочным, а представление о фонологической структуре как о конструкте, не опирающемся на живую языковую практику, — идеалистическим (с. 25—26).

Под этим углом зрения анализируются фонологические концепции Н. С. Трубецкого, Пражской и Копенгагенской школ, а также тенденции возврата к Л. Ельмслеву у некоторых фонологов СССР. Особое внимание уделено теории дифференциальных признаков и ее критике. Эту теорию, по словам автора, следует считать реакцией Р. О. Якобсона на «односторонний формализм» (с. 38) Л. Ельмслева, трактовавшего понятия гласного, согласного, слога и т. п. без обращения к их звуковой, материальной субстанции, предложившего термин «таксема» вместо фонемы, чтобы избежать ассоциации со звуком вообще (с. 36—37). Широкое распространение концепции Р. О. Якобсона связано с неоправдавшейся надеждой найти непосредственный физический коррелят фонологическим свойствам, параллелизм между единицами языковой системы (фонемами) и речевого сигнала. «Качество фонемы, — по мнению Паулины, — нельзя непосредственно вывести из акусти-

ческого свойства соответствующего сегмента речевого сигнала» (с. 49). При решении фонологических вопросов необходимо опираться на прочие данные фонетики (с. 8, 25).

В отличие от Якобсона, не дифференциальный признак, а фонему автор считает основной единицей плана выражения (с. 62), «примарной единицей формальной стороны языковой системы» (с. 60).

Е. Паулини основательно критикует тезис об универсальности и всеобщности дифференциальных признаков, отвергая положение об общности признаков для всей триады фонем (гласные, согласные, сонорные) даже в рамках одной и той же системы (с. 107). Он подчеркивает, что фонологическая система не является лишь совокупностью отдельных и независимых «звукотипов», а представляет собой структурированную целостность, все члены которой взаимосвязаны своими дистриктивными свойствами (с. 62). Свойства отдельной фонемы обусловлены ее связями со всеми другими фонемами данной фонологической структуры (с. 66). Свойства выявляются отношениями между материальными единицами (с. 51, 67). Фонологические свойства и соответствующие связи фонем взаимообусловлены. Особенно эффективен такой подход в исторической фонологии, где более рационально идти от целостной структуры к отдельной фонеме, а не наоборот (с. 68).

Во всех фонологических теориях, как утверждает автор, звук представляется естественным явлением, доступным напрямую наблюдателю, а фонема — нечто, выводимое из звука тем или иным способом (с. 51). Паулини утверждает, что фонема не выводится из звука, но сама фонема определяет звук (с. 62). Нет фонемы вообще, — продолжает автор, — есть только фонема данного языка и данной языковой структуры (с. 62). «В структурированном целом части не обуславливают значение и смысл целого, а наоборот: целое определяет значение и функции частей и дает им смысл» (с. 63). Много внимания автор уделяет определению «свойств фонемы» на основании «опозиционных противопоставлений» (с. 65—69). Так, словацкая фонема /t/ имеет 5 «свойств». При этом различаются «релевантные» и «нерелевантные» свойства, а также совокупность свойств «базы сравнения», которая образует «ядро фонемы». Свойства фонемы связываются с дифференциальными признаками. Особо выделяется «коррелятивный признак». Последний характеризуется тем, что часто не сохраняет свою дистриктивную силу, обуславливая нейтрализацию свойств фонемы (с. 89).

Нейтрализацию фонологических оппозиций автор определяет как утрату некоторыми фонологическими свойствами своей «дистриктивной силы» в определенных позициях (с. 91). При этом предла-

гает различать собственно нейтрализацию и альтернацию; в первом случае фонема влияет на фонему, а во втором — морфема на морфему. По мнению Паулини, русское аканье не является нейтрализацией, но альтернативой, чередованием /o:/a/ (с. 96). Это едва ли примут советские русисты. С точки зрения автора, нейтрализация — явление фонологическое, но функционирует «в значимом целом» (морфема, слово) и ее роль — морфологическая (с. 95).

Е. Паулини пользуется и понятием варианта фонемы как звука, имеющего вместо фонетически релевантного свойства нечто иное, воспринимаемое «нормальным носителем языка» как нерелевантное (с. 70—71). Различаются комбинаторные и факультативные варианты.

Автор сетует на отсутствие общепринятой методики определения фонем и их свойств (с. 73), утверждая, что методика фонологического анализа находится в «порочном кругу»: свойства фонемы и дистриктивные признаки определяются одно через другое (с. 75). При определении инвентаря фонем Е. Паулини опирается на известные «Правила» Н. С. Трубцкого (с. 78—82).

С концепцией Е. Паулини в общем (но далеко не в целом) можно согласиться: такой подход возможен. Схожие положения выдвигались и советскими лингвистами еще в предвоенные годы [4]. В момент зарождения теории дифференциальных признаков Якобсона в журнале «Вопросы языкознания» были вскрыты ее методические недостатки с аналогичных позиций [5]. Последующая четверть века развития нашей науки подтвердила справедливость такой критики. Об этом свидетельствует и рецензируемая книга, и новая версия фонологической концепции Р. О. Якобсона [6]. Что же касается «парадоксального» положения об отношениях между звуком и фонемой, фонетикой и фонологией, то оно не является результатом давления фонологических идей, а, как ни странно, исходит от специалистов по инструментальной фонетике и является следствием «электронной эры» ее развития [7].

Центральный раздел второй части книги посвящен определению «дистриктивных свойств» фонем словацкого языка. Вероятно, вопреки желанию автора, этот раздел его книги принципиально не отличается от распространенного анализа по дифференциальным признакам с выявлением «дерева» фонем. Здесь уже не фонема и не система, а дифференциальный признак в центре внимания. Вслед за Якобсоном автор продолжает искать опору дистриктивных свойств фонем в акустических и артикуляционных коррелятах соответствующих сегментов речевого сигнала (в теории — наоборот!).

Понятие «дистриктивное свойство» фонемы у Е. Паулини синонимично поня-

тию «противопоставление» («protiklad»), которое употребляется как на месте понятия «оппозиция» Трубецкого, так и вместо «дифференциальный признак» Якобсона. С этим связано исчезновение фундаментального понятия оппозиции в смысле классической фонологии как основного системообразующего фактора. У Паулини вслед за Якобсоном признаки дифференцируют целые «классы» фонем, а не конкретные фонемы.

Важнейшим упущением всей концепции Паулини, как, впрочем, и Якобсона, является⁸ недостаточное внимание к позициям функционирования фонем. Это сказалось при определении свойств фонемы безотносительно к позиционным условиям (с. 66), при определении варианта фонем (с. 70—71) и при описании правил выявления «инвентаря» фонем и дифференциальных признаков. Вариант определяется на основе «соглашения» со ссылкой на «нормального носителя языка» (с. 70). Но ведь это и есть проявление критикуемого автором подхода к фонологии как к искусственному конструкту. Недостаточное внимание к фонологическим позициям вызвало необходимость прибегнуть к критерию «наибольшей акустической и артикуляционной близости» (с. 96) в трактовке явлений нейтрализации типа русск. [зук] = *луг(a)* и *лук(a)*, встав в противоречие с выдвинутым постулатом о примате фонологических критериев над фонетическими (см. выше). Отсюда и противоречащий фактам вывод о том, что в позиции нейтрализации реализуется эта фонема, которую мы слышим» (с. 98). Здесь еще раз автор оказывается вынужденным апеллировать к критерию «языкового чутья». Однако именно замена этого субъективного критерия объективными лингвистическими критериями — та фундаментальная задача, которую решали и решили фонологи 30-х гг. (Н. Ф. Яковлев, Л. В. Щерба, Н. С. Трубецкой). Вся суть трансформации «психофонетики» в фонологию через «фонологию» Яковлева и заключается в преодолении бодуэновского психологизма [7, 8].

При выявлении «инвентаря» фонем анализируются чередования в одном и том же корне, но остается неясным ни различие позиционных и исторических чередований, ни возможность соответствующих фонем выступать в тех же самых позициях. Проблема одно- и бифонемности дифтонгов остается нерешенной (с. 142—143). Именно недостаточное внимание к проблеме фонологической позиции обусловило нечеткое разграничение между явлениями нейтрализации и альтернации при конкретном анализе явлений. Чередования *it' (mláiti' — mláiba, mast' — mastny); ñ/n (junec — junca, sviña — svínka)* попали в одну группу с чередованиями *ch/š (mucha —*

muška) (с. 161). Нейтрализация, хотя, по определению Е. Паулини, и отличается от альтернации тем, что в первом случае наблюдается влияние «фонемы на фонему», а во втором — «морфемы на морфему» (с. 160), помещена в раздел, имеющий скорее морфологический характер, чем фонологический: «Спайка морфем, нейтрализация и альтернация» (с. 145—161). А между тем нейтрализация — один из важнейших системообразующих факторов, способов проявления взаимосвязи между фонемами и корреляциями, надежный критерий определения фонем, позиций и дифференциальных признаков.

Верно замечание Е. Паулини (с. 75) о том, что именно при выявлении «инвентаря» дифференциальных признаков нет согласия между исследователями: противоречива их трактовка даже при анализе одного и того же языка в работах одного и того же автора. Это и находим в различных описаниях словацкой фонологической системы самого Е. Паулини. Нельзя считать удовлетворительным и предложенный Паулини третий вариант «дерева» словацких фонем (с. 122). Он противоречит принципу выявления реальных связей между фонемами, выдвинутому раньше (с. 65). Если например, между фонемами /p : b/, /f : v/, /t : d/, действительно, — один шаг, что и подтверждается нейтрализацией, то, вероятно, один шаг и между фонемами /t : t'/, /d : d'/, что также подтверждается нейтрализацией, но по схеме «дерева» между ними — максимальное расстояние (7 шагов). Более того, фонемы /t'/, /d'/ попали в одну группу не только с /š/ и /ž/, но даже и с /k/, /g/, делком противопоставленную группе с фонемами /t/, /d/; /s/, /z/; /p/, /b/ (компактные — некомпактные). Как фонемы функционально они никак не объединяются и не различаются. Их объединяет и различает лишь отдаленное сходство и различие спектра, выявляющего их акустические характеристики, да еще принцип «экономии описания». Это и есть именно то, что сам автор называет «бессмысленной игрой», противоречащей реальным связям между фонемами (с. 68). Признак долготы гласных, слоговые *r, l* не нашли места на «дереве». Смысл многолетнего поиска «адекватного дерева» словацких фонем остается неясным, если автор критикует чисто фонетический подход и универсальные ДП. Деревья, пышно разросшиеся на страницах «фонологических» исследований последней четверти века, заслонили лес — фонологическую систему как целое, вместо «системы» выступает теперь «инвентарь» ... [7].

Огромная заслуга Е. Паулини заключается в попытке реабилитации фонемы и фонологической системы, основных принципов классической фонологии, в попытке построения научной концеп-

ции, соответствующей методологии диалектического материализма. На этом пути естественно сближение новой концепции Е. Паулини с отдельными положениями, выдвинутыми советскими лингвистами еще в предвоенные годы. Остается лишь посоветовать, что фонологическая теория Е. Паулини пока не может считаться целостной. Она не лишена противоречий, особенно там, где автор переходит к анализу конкретного языкового материала. Фонологический анализ словацкого материала — скорее иллюстрация теории дифференциальных признаков Якобсона, чем новой концепции самого Паулини. Этим и объясняется видимость «спорного круга» методики фонологического анализа. Советские лингвисты, критикуя в свое время теорию Якобсона, установили иерархию отношений: фонема — дифференциальный признак [5, 9]. Здесь и следует искать выход из «спорного круга».

Журавлев В. К.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jakobson R.— Halle M. Fundamentals of language. 's-Gravenhage, 1956.

2. Паулини Э. Дифференциальные признаки гласных словацкого языка. ВЯ, 1978, № 1.
3. Паулини Э. Модель языковой коммуникации и соотношение фонемы и звука.— ВЯ, 1978, № 4.
4. Реформатский А. А. Проблема фонемы в американской лингвистике.— В кн.: Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970, с. 241—248.
5. Кузнецов П. С. О дифференциальных признаках фонем.— ВЯ, 1958, № 1, с. 10.
6. Jakobson R.— Waugh L. The sound shafe of language. Brighton, 1979.
7. Журавлев В. К. Quo vadis? Камо грядеши? К истории фонологии.— В кн.: Фонология. Фонетика. Интонология. М., 1979.
8. Jakobson R. Selected writings. V. I: Phonological studies. 1962, с. 233.
9. Реформатский А. А. Дихотомическая классификация дифференциальных признаков и фонематическая модель языка.— В кн.: Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.

Долгова О. В. Синтаксис как наука о построении речи. М.; Высшая школа. 1980. 191 с.

Рецензируемая книга выходит за рамки собственно синтаксического исследования и имеет несомненное общеметодологическое значение: она поможет преодолеть чуждые марксизму «лингвистические теории». Автор книги показывает, какой вред принесли науке работы, которые полностью порвали с материалистической традицией и на ее место поставили так называемую несемантическую теорию грамматики (a totally non-semantic theory of grammar) (с. 8). Попытки изобразить дело так, что будто бы возможность абстрагировать собственно грамматические отношения от бесконечного многообразия произведений речи была открыта Хомским, — несерьезны: не только в советском языкознании, но и в работах языковедов различных направлений (такие и нового времени) уже давно разъяснена возможность отвлеченного изображения собственно грамматических отношений между словами [Л. В. Щерба, А. И. Смирницкий, Ч. Фриз и др. (с. 8—9)].

Однако естественная человеческая речь не может строиться просто путем сцепления грамматических «каркасов». Естественный человеческий язык существует только в речи и через речь. Обобщения существуют как разумные материалисти-

ческие абстракции, а не как предшествующие фактам априористические фикции ума. Методологическая несостоятельность идеалистических теорий отчетливо проявляется в том, что они не выдерживают критерия практики. Они не могут служить основой для решения тех задач, которые ставятся перед языкознанием потребностями языкового строительства.

Говоря о заблуждениях «теоретической лингвистики», О. В. Долгова указывает на необходимость четко различать структурализм и формализм в языкознании: хотя некоторые направления структурализма и пользуются формальными методами описания материала, это отнюдь не значит, что все они одинаково неприемлемы для советского языкознания. Изучать язык как систему, как своего рода «структуру» пытаются языковеды разных стран и направлений. Изучение современного состояния языка как системы — это большой и важный этап в развитии языкознания и интерлингвистики. Его зачинателем был И. А. Оудэн де Куртена.

Что же касается дедуктивно-формалистических изощрений — в частности — так называемой «генеративной» теории, то ее бесплодность становится все более очевидной [1]. Последнее время по мере

того, как «генеративная» теория утрачивала свою монополию, у нас стали пропагандировать работы английского лингвиста Дж. Лайонза вплоть до издания на русском языке его старых трудов¹. Однако и Лайонз постепенно отходит от своих первоначальных позиций. В более новой книге [3] он уже не сводит лингвистику к генеративно-трансформационной грамматике, «... а главное, — пишет О. В. Долгова — на сцене появляются и английские ученые... Но, конечно, остальной мир и, конечно же, советское, марксистское языкознание остается в „пебытии“» (с. 21). Эта несведомленность в области языкознания лишает и эту книгу Дж. Лайонза научной ценности.

О. В. Долгова — специалист по английскому языку. Поэтому при изложении методологии синтаксиса она основывается на работах А. И. Смирницкого. Эта часть книги имеет особенно большое значение, потому что у нас слишком мало работ, отчетливо противопоставляющих марксистское языкознание всевозможным «течениям», «направлениям», которые не только чужды, но и враждебны нам. Автор смело развивает критику методологических основ современной буржуазной лингвистики и противопоставляет ей марксистский путь языкознания вообще и синтаксиса, в частности: «Советские языковеды вместе со всеми другими советскими учеными должны работать так, чтобы осуществлялась важнейшая экономическая и политическая задача — скорейшее и наиболее полное использование результатов теоретических исследований в нашем производстве, в практике языкового строительства. Ленинская научная методология должна войти в плоть и кровь советского языкознания» (с. 63—64).

Рецензируемая книга поможет молодым специалистам-филологам, и особенно работникам периферийных вузов, определить правильное направление в исследовании не только проблем синтаксиса, но и языкознания вообще.

Как известно, за последние десятилетия в зарубежной лингвистике обнаружилась тенденция к преувеличению роли синтаксиса в системе языковедческих дисциплин (грамматика оказалась фактически сведенной к дедуктивным синтаксическим операциям). Чтобы вернуться «на землю», необходимо было подчеркнуть, что синтаксис — это наука о построении речи, причем «построение» значит и «эргон» и «энергия». Поэтому синтаксис изучает и как уже «построенный» текст, так и процесс синтаксической организации предельных единиц речи — слов и их эквивалентов. Однако слова не

только имеют свойственное каждому из них индивидуально-лексическое значение. Соединяясь с другими словами, они взаимодействуют с ними. Поэтому построение речи может осуществляться лишь в неразрывном диалектическом единстве коллигации и коллокации, т. е. диалектическом единстве просодико-синтаксической и лексико-фразеологической сторон высказывания.

В основе учения о построении речи лежит понятие «синтаксической связи», как единства данного синтаксического содержания и данного синтаксического выражения. Оптимальная реализация синтаксической связи является основой деления предложения на члены. О. В. Долгова показывает, что не только главные, но и второстепенные члены непосредственно участвуют в построении предложения. Нет никаких оснований для того, чтобы считать, что они только «распространяют», «дополняют» или «определяют» главные члены, как хотели бы «пропозициональные» конструктивисты. Все члены предложения выделяются на основе единства данного вида синтаксической связи и данного содержания синтаксических отношений как наиболее регулярно и закономерно воспроизводимые в разнообразных высказываниях. Понятно, что ведущим является выраженные синтаксических отношений, так как языкознание может заниматься только тем, что имеет языковое выражение, т. е., в первую очередь, и р о с о д и е й высказывания. «Синтаксис немалым без просодии, и последняя не существует отдельно от синтаксиса» (с. 13).

Изложенные методологические принципы и положения составляют основу полного и всестороннего рассмотрения системы синтаксических диерем английского языка, выступающих в виде двух систем, первой — прозаической и второй — поэтической (они различаются металингвистически). План выражения синтаксических диерем — прежде всего прекращение фокации, но обязательно сопровождающееся реализацией других дополнительных просодических средств, отражаемых в письменной речи системой разнообразных знаков прерывания, включая знак конца абзаца. В «мерной» (стихотворной) речи ведущая роль принадлежит закону конца стихотворной строки. При этом семиотика прозы и семиотика поэзии представляют собой две как бы «отдельные» семиотики, т. е. две системы знаков, причем вторая (поэтическая) как бы выдвигается на первую.

Как уже было сказано, в основе работы лежит подробное описание синтаксических связей, регулярно реализующихся в прозе, особенно комплетивной связи и «предципирующей паузы». Изучение плана выражения предикативной связи неразрывно связано с учением о «шарнетических вставках» [4]: интересным

¹ См. об этом, в частности, [2].

свойством парентетических внесений является их способность усугублять синтаксическое выражение, свойственное той или другой синтаксической связи.

Понятно, что собственно синтаксическое членение речи (реализации разных видов синтаксической связи) подвержено влиянию разных видов фразировки. Однако это относится, главным образом, к прозе, где ничто не препятствует реализации факультативных пауз. Поэтический же (т. е. стихотворный) текст принципиально отличается от прозаического. Если членение потока речи на синтагмы в прозе зависит от говорящего, от стиля его речи и контекста ситуации, то в поэзии ритм уже заранее задан и представлен в данном визуально-графическом оформлении текста.

Весь этот обширный и тщательно проанализированный материал убедительно показывает, что естественное произведение речи — это сложнейший комплекс когнитивной и коллокационной в самом широком смысле этих терминов. «Это не только лексикология и грамматика, но и просодия, и социолингвистика, и вертикальный контекст» (с. 110).

Особенно следует отметить диалектический анализ двух «диеремик» (т. е. двух семиотических систем, двух систем знаков деления потока речи) и тонкое и глубокое проникновение в сущность так называемой «текущей строки» (анжамбента). Текущая строка — это такое построение стиха, при котором синтаксическая связь последнего слова предыдущей строки и первого слова последующей оказывается настолько тесной, что знак конца строки снимается, т. е. реализоваться не может (с. 122).

До сих пор мы пытались показать общее направление рецензируемой работы, изложить ее основное содержание. Теперь остановимся на некоторых моментах более частного характера. Так, очень интересным является вывод, что предикативная связь на уровне «статического» синтаксиса может выражаться (и часто выражается) только морфосинтаксически. Изучение же поэтической диеремки показывает, что в поэзии предикативная связь получает собственно синтаксическое выражение (с. 123—124).

Самого пристального внимания заслуживает развитие некоторых текстологических положений, выдвинутых впервые кафедрой английского языка МГУ. К таким вопросам относится роль словосочетания в построении сверхфазового единства. В рамках предложения словосочетание — это номинативная единица языка, выступающая как эквивалент слова. На уровне сверхфазового единства и выше предельной единицей построения речи является словосочетание (с. 144—145).

Особенно следует приветствовать включение в книгу приложения об онтологии речи. Оно написано на основе работы А. И. Смирницкого [5], которая вышла небольшим тиражом в 1954 г. и, к сожалению, недоступна широкому кругу языковедов.

Большим достоинством рецензируемой работы является изучение синтаксических диерем в диалектическом единстве их формы и содержания, анализ природы синтаксических связей в их разнообразных конкретных реализациях на основе общенаучных принципов языковедческого исследования. Опираясь на труды советских ученых, О. В. Долгова раскрывает непреходящее значение работ таких исследователей, как Л. В. Щерба, А. И. Смирницкий, В. В. Виноградов, А. М. Пешковский, Г. О. Винокур, Р. А. Будагов и др. Следует также отметить большой вклад книги в сложнейшую, особенно для синтаксиса, проблему соотношения языка-объекта и метаязыка. Как известно, и у нас допускалась подмена научного метаязыка, принятого в советском языкознании, так называемыми «формальными репрезентациями». Автор убедительно разъясняет недопустимость этого явления: «Нельзя дальше терпеть такое положение, когда обрывки метаязыка символической логики преподносятся преподавателем иностранных языков как нечто, что свидетельствует о высоком теоретическом уровне рассуждений» (с. 45). «...У языкознания как науки об естественном человеческом языке есть свой метаязык, который представляет собой тщательно разработанную и традиционно принятую систему, и ни в коем случае нельзя допускать, чтобы принятая и твердо установленная система данного метаязыка подменялась обрывками или кусочками совершенно другой терминологической системы» (с. 43—44).

Книга содержит богатый материал причем материал стихотворной речи, впервые вводимый в научный обиход. Таким образом получает свое полное воплощение критерий практики: «Фундаментальная наука, методологическая безупречная научная теория — необходимое условие успешного развития языковедческой практики, нуждам которой она служит и с помощью которой эта теория повседневно проверяется и обогащается» (с. 63). Методологическую путаницу породила неопределенность ряда терминов. О. В. Долгова разъясняет, что нужно понимать под «спряжкой лингвистикой», чем должно заниматься языкознание, чтобы обеспечить выполнение основного методологического правила — единства теории и практики. Автор считает, что одной из актуальнейших народнохозяйственных проблем является проблема создания рациональных систем накопления, хранения и

передачи научных знаний; реферирование и аннотирование должно проводиться на большом и убедительном материале.

В заключении книги еще раз подчеркивается необходимость углубленного изучения подлинного диалектического единства языка, языковой нормы и речи, прозы и поэзии и особенно необходимость сохранения преемственности в советском марксистском языкознании.

Ахметова С. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахманова О. С., Полубиченко Л. В. Трансформационно-генеративная грамматика в свете современной научной критики. М., 1980.
2. Ахманова О. С., Минаева Л. В. Еще раз о так называемой «теоретической лингвистике». ВЯ, 1979, № 5.
3. Lyons J. *Semantics*. V. I—II. Cambridge, 1977.
4. Долгова О. В. Семантика неплавной речи. М., 1978.
5. Смирницкий А. И. Объективность существования языка. М., 1954.

La pensée. Revue du rationalisme moderne. Langages et sociétés. — Janvier 1980, № 209. 150 p.

Французский журнал марксистского направления «Мысль» выпустил номер, посвященный взаимосвязи языка и общественных процессов. Его авторы — лингвисты ряда провинциальных университетов: Руана, Экс-ан-Прованса, Перпьяна, Гавра и Реймса.

Обращение группы французских языковедов к вопросам, которые в течение долгого времени были исключены из сферы интересов почти всех зарубежных лингвистических направлений по причине якобы своей «ненаучности», само по себе примечательно. Оно свидетельствует об осознании застоя, характеризующего формалистическую лингвистику, и о поиске новых путей развития языкознания.

«Сейчас часто говорят о „кризисе“ лингвистики», — такими словами открывается программная статья Ж.-Б. Марселлези. Речь идет, конечно, о кризисе структурной лингвистики. Признавая, что структурная лингвистика позволила осознать многие языковые факты, Марселлези указывает вместе с тем на два фундаментальных недостатка этого направления. Во-первых, «структурная лингвистика оказалась неспособной описать удовлетворительным образом вариативность» (с. 4). Во-вторых, она отказалась от ответа на вопрос о роли и месте языка в общественных процессах. Изменение языковых систем приобредло в свете догматов структурализма неуловимый и мистический характер. Структурализм так и не смог объяснить причин перехода языковой системы из одного состояния в другое. Указывая на «врожденные» недостатки структурального направления, автор все-таки воздерживается от полного отрицания формалистического подхода к описанию языка, ссылаясь на то, что каждая дисциплина призвана отвечать на свои вопросы (с. 5).

В качестве альтернативы современному структурализму Ж.-Б. Марселлези предлагает социолингвистику, которая представлена им как новая дисциплина, пользующаяся во Франции растущей поддержкой со стороны языковедов. Он приводит многочисленные доказательства, которые свидетельствуют, по его мнению, о переходе французской лингвистики на новые, социолингвистические «крейсы» (с. 5—6). Например, в конце ноября 1978 г. в Руане с большим успехом прошла конференция по социолингвистике, собравшая 150 участников.

Что же нового вносит социолингвистика в постановку языковедческих задач и в чем состоит ее предмет? Ответ на первый вопрос во многом зависит от ответа на второй. Хотя мы и не находим прямого определения специфики социолингвистики, ее основные особенности сводятся к следующим моментам. Социолингвистика отказывается от формальных описаний, которые подменяют языки монолитными кодами. В центре ее внимания находится вариативность языка, имеющая как собственно социальный, так и географический параметры. Фундаментальное значение для социолингвистики имеет выяснение отношений между языком и трудом. Вариативность языка является в конечном счете производной от экстралингвистического (социального) разнообразия. Социолингвистика должна показать, как осуществляется отражение социального в грамматике, фонологии, лексике. Марксистская наука о языке стремится при этом выявить связи, посредством которых классовые различия отражаются на языковой вариативности.

Попытки определить предмет социолингвистики приводят к заключению, что всякое языкознание, находящееся в соответствии с предметом исследования,

может быть только социальным, так как язык не существует вне общественных отношений. Отсюда следует, что повизна задач, выдвигаемых социолингвистикой, является реальной только для тех стран, где вопросы обусловленности системных характеристик языка экстралингвистическими причинами были прочно забыты. Во Франции социолингвистика выступает как новое направление, потому что после Соссюра язык стал рассматриваться в качестве имманентного явления [в себе и для себя]. Поскольку до «триумфа» структурализма французские лингвисты не исключали из своих исследований вопросы взаимоотношений между языком и обществом, то новое является в данном случае хорошо забытым старым (в своей основе, конечно, а не в частностях). Советские же языковеды были бы скорее склонны видеть в этой ориентации возврат к проблемам, широко обсуждавшимся в СССР еще в 20—40-х годах. Наука, которая занималась данными вопросами, называлась тогда не социолингвистикой, а просто марксистским языковедением. Характерно, что многие лингвисты из тех, кого еще недавно пренебрежительно называли традиционалистами, никогда в своих исследованиях не отрывали язык от общества, сохраняя преемственность развития русской лингвистической мысли. Об этих русских традициях во Франции, по признанию журнала, почти ничего не известно.

В следующей далее статье «Классы и общественные отношения в детерминации языка» Ж. Легран пытается осмыслить, какие формы приобретают взаимоотношения между обществом и языком. Марксисту нужно в данном случае, указывая на наличие опосредованных связей между языком и классовым обществом, избежать опасности установления прямой зависимости между структурой производственных отношений и расстройством языка. Позиция Леграна по этому пункту не вполне ясна: он отказывается от понятия «классовый язык» (с. 35), но в контексте его предшествующих рассуждений отказ этот выглядит не совсем логичным.

Для лингвиста, стремящегося избежать вулгаризации марксизма в языковедении, достаточно указать на то, что язык существует не сам по себе, а что он предназначен для обслуживания определенного социума и подвергается воздействию со стороны этого последнего. Справедливости ради следует отметить, что авторы выпуска осознают, в принципе, опасность вулгаризации марксистских идей и неоднократно напоминают об этом (с. 25, 86, 117).

Значительное место уделено в журнале проблеме национального языка. Д. Баджони в своей статье касается именно

этой темы, трактуя общенародный язык как «неуловимое понятие, основанное на критерии взаимопонимания» (с. 39).

Насколько мы можем судить, в советском языковедении данное понятие используется сейчас скорее для выявления вариативности, свойственной, например, русскому языку. Национальный язык противопоставляется при этом коду и мыслится как явление, неразрывно связанное с деятельностью социума, в котором оно функционирует. Различные социальные варианты, говоры не разрушают национального языка. Наоборот, они органически связаны с ним, обуславливая его неоднородность. Национальный язык должен, конечно, быть единым для населения страны, но это единство реализуется в полной мере лишь в его литературном варианте.

С предыдущей статьей тесно связана в концептуальном отношении работа, посвященная понятию нормы. Авторы статьи — Д. Баджони и Ж.-П. Каминкер. Развиваемые ими взгляды на проблему нормы сводятся к следующим положениям. Норма не должна рассматриваться в качестве свода предписаний, позволяющих правильно говорить на данном языке. В оправдание всевозможных запретов часто приводится довод: так не говорят. Довод не может быть принят, потому что язык обычно представляет несколько вариантов для передачи одного и того же содержания, а накладывать запрет на некоторые обороты — это значит отказывать говорящему в праве на выбор. Часто практикующиеся ссылки на нелогичность отвергаемых оборотов также не могут быть приняты, поскольку язык не представляет собой чисто логическую структуру (с. 52). Различия, характеризующие французскую разговорную и письменную речь, призваны, по мысли авторов, подтвердить справедливость критики распространяемой трактовки нормы. Язык, на котором говорят образованные французы, заметно отличается от языка, на котором те же французы пишут. То, что неправильно в письменном тексте, часто оказывается правильным в устном.

Мы далеки от мысли, что основной «недостаток» аргументации авторов статьи состоит в том, что они мимоходом подвергают критике и ту «прескриптивную» трактовку вопроса, которая распространена в некоторых работах советских языковедов. Традиционная трактовка нормы, конечно, имеет свои недостатки. Некоторые ее рекомендации никак не мотивированы, потому что они просто отражают языковой обычай. Но норма является реальностью, которая имеет крепкие корни в любом обществе с развитой литературной традицией. Д. Баджони и Ж.-П. Каминкер утверждают, что традиционная концепция нормы отражает в классовом обществе интересы господ-

ствующего класса и является орудием его культурной политики (с. 55—56). Подобная точка зрения представляет собой, на наш взгляд, неоправданное преувеличение одной из социальных функций нормы. (Можно согласиться с авторами в том, что французская норма, сформировавшаяся в основных чертах к XVIII в., имеет явно выраженное социальное происхождение). Эта функция не знает классовых границ. У нас и сейчас высоко ценят язык Пушкина и Тургенева. Было бы весьма неразумно забывать людей, деятельность которых в громадной степени способствовала развитию русского слова и которые дали нам превосходные образцы владения русским языком. В чем-то эти образцы уже устарели, но в своей основе они действительны и для современной литературной нормы.

В конструктивной части статьи авторы излагают оригинальную концепцию нормы, полное осознание которой затрудняется излишней лабильностью рассуждений. С семантической точки зрения, — говорят они, — суть нормы состоит в запрете, а не в предписании.

Журнал дает возможность познакомиться с литературой по проблемам нормы, помещая краткую библиографическую статью А. Винтера. Работа, содержащая около семидесяти названий, ориентирована в трех направлениях: 1) норма, язык и уровни языка (лингвистические и социолингвистические аспекты); 2) педагогические аспекты нормы; 3) орфографическая норма, правильное употребление, работы прескриптивного характера.

Следующая статья, принадлежащая перу Л.-Ф. Прюдана, интересна для советского читателя своей темой: работа посвящена описанию языковой ситуации в заморских департаментах Франции, расположенных на Антильских островах, и рассматривает функционирующий там креольский язык. Проблема исследуется в свете так называемой языковой миноризации (*la minoration linguistique*). Данное понятие призвано отразить языковые ситуации, характеризующие использование нескольких языков, один из которых постепенно подчиняет себе остальные, сводя их к состоянию говор или второстепенных языков. Креольские языки и принадлежат обычно к языкам местного значения, появившимся в результате языкового конфликта и существующим наряду с языком метрополии. Краткий обзор литературы вопроса, историческая справка о развитии креольского языка на Антильских островах, описание его современного статуса, анализ отношения антильцев к своему островному языку и языку метрополии выдержаны в терминах социолингвистики марксистского направления.

Проблема вариативности французского языка обнаруживает свою новую грань в работе Р. Легран-Жильбер и К. Марселле, посвященной социолингвистическому аспекту развития языка детей. Среди различных вопросов, рассмотренных авторами, мы выделим те, которые связаны с освещением роли языка в учебной деятельности школьников. Школьная неуспеваемость во Франции может быть в какой-то степени объяснена большими расхождениями между устно-разговорным (*français parlé*) и письменнокнижным (*français écrit*) вариантами современного французского языка. Освоение французского письма связано с преодолением значительных трудностей, потому что в нем многое организовано не так, как в устной речи. В пределах одного языка существует своеобразная интерференция устной и письменной речи. Преодолеть ее удается не всем. В наибольшей степени страдают при этом дети из рабочих и крестьянских семей, которым в силу своего социального положения особенно трудно справиться со сложностями письменнокнижного варианта (с. 95—96).

Последняя статья сборника, написанная Л. Гепэвом, «Язык и труд. От антропологии к теории личности», на наш взгляд, несколько отклоняется от общего направления. Опираясь на идеи французского социолога Л. Сэва, автор стремится сформулировать психосоциальную теорию языка (с. 127). Она должна возникнуть, по мнению Л. Гепэва, на стыке социологии труда, психологии и лингвистики.

В заключение можно выразить уверенность, что появление тематического выпуска журнала «Мысль» явится важной вехой в деятельности тех современных лингвистов, которые борются за восстановление социальных начал самого языка и науки о нем¹.

Фефелов А. Ф.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов А. М., Якубинский Л. П. Очерки по языку. Л.—М., 1932.
2. Жирмунский В. М. Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936.
3. Будагов Р. А. Развитие французской политической терминологии в XVIII веке. Л., 1940.
4. Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи. Л., 1949.

¹ К сожалению, нашим французским коллегам остаются все еще не известными исследования советских лингвистов в области социологии языка 30—40-х гг. В частности, такие книги, как [1—4] и некоторые другие монографии и статьи.

Wenisch F. Spezifisch anglisches Wortgut in den nordhumbrischen Interlinearglossierungen des Lukasevangeliums. — Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1979. 352 с.

Вопрос о диалектной принадлежности лексик наиболее древних языковых памятников неизменно встает при исследовании целого ряда ключевых проблем общего и индоевропейского языкознания и ареальной лингвистики, таких, например, как установление реликтов и инноваций, особенностей лексико-семантических, временных и ареальных сходжений и расхождений языков в прошлом и настоящем, анализ адстратных, субстратных и суперстратных явлений, проверка возможностей действия так называемых звуковых законов (необходимо учитывать при этом, что под фонетической оболочкой, которая, видимо, была характерна для диалекта одной территории, в рукописях нередко выступают слова, типичные для другого ареала), этимологические разыскания и, наконец, ареальная и временная локализация памятников языка. С другой стороны, этот вопрос имеет и большое самостоятельное значение для истории соответствующего языка. Вот почему, начиная с классической работы Р. Йордана (1906 г.), многие лингвисты неоднократно пытались преодолеть те трудности (особенно методического характера), которые неизменно возникают в связи с подобными исследованиями (работы Г. Шерера, Х. Рау, Р. Меннера, Х. Рубке и др.).

Одним из последних опытов в этом направлении является рецензируемая монография Ф. Вениша, защищенная им в качестве диссертации в 1975 г. в Гиссенском университете им. Юстуса Либиха.

Будучи учеником Г. Шабрама, Ф. Вениш исходит прежде всего из необходимости при исследовании ареальной локализации древней лексики максимально полно охватить весь фактический материал большинства или всех имеющихся языковых памятников, т. е. найти и зарегистрировать все случаи использования той или иной лексемы в древнеанглийской литературе. Как и Г. Шабрам, он исходит из того, что распределение (встречаемость) тех или иных лексем в древних языковых памятниках якобы отражает их диалектную принадлежность. Однако Ф. Вениш, как и все его предшественники вплоть до Р. Йордана, попадает при этом в своеобразный порочный круг: с одной стороны, ареальный характер лексики определяется им в зависимости от встречаемости или отсутствия определенных слов в произвольном устанавливаемых «южных» (узсекских) или «северных» (англиских) памятниках языка, а с другой стороны, ареальная отнесенность самих этих памятников основывается в большой мере на встречаемо-

сти или отсутствии в них слов, объявляемых соответственно английскими или узсекскими. При этом не учитывается фрагментарность дошедших до нас языковых источников, их различная стилистическая и жанровая характеристика.

Необходимо иметь в виду, что язык отдельных древних диалектов (в частности, исследуемых древнеанглийских) представлен ограниченной совокупностью известных памятников того или иного жанра, неодинаково соотносенных друг с другом по времени своего написания (вернее, по времени возникновения дошедших до нас рукописей). В связи с этим не исключена возможность, что наблюдаемые нами специфические черты языка отдельных дошедших до нас древнеанглийских памятников являются не диалектными, а хронологическими или даже социально обусловленными [1]. Весьма неточной остается и ареальная локализация отдельных древнеанглийских памятников, особенно в связи с тем, что в настоящее время становится все более очевидной ошибочность традиционного деления древнеанглийских диалектов на английские, узсекские и кентские [2].

Вообще в том случае, когда исследование не выходит за рамки отдельных языковых памятников, было бы правильнее говорить именно о языке изучаемого текста (рукописи) или автора, а не о языке диалекта. При анализе диалектной стратиграфии словаря древних памятников необходимо строго отличать филологические (текстологические) моменты и явления от чисто языковых закономерностей, не выдавая первые за вторые и наоборот.

В этой связи весьма трезвыми и здравыми представляются те цели, которые поставил перед собой Дж. Ф. Тузо, автор одной из последних работ, посвященных территориальной локализации древнеанглийского словаря: 1) определить предпочтительные, или первичные, лексемы (primary terms) каждого текста (т. е. древнеанглийские слова, которые наиболее последовательно употребляются писцом для перевода определенной латинской леммы, в то время как хотя бы один из остальных писцов либо последовательно использует другое древнеанглийское слово для перевода той же латинской леммы, или не обнаруживает особого предпочтения того или иного древнеанглийского слова); 2) составить список этих первичных лексем с последующим использованием их для анализа наиболее предпочтительных слов в других древнеанглийских текстах и 3) выявить сходство или несходство применения первичных лексем различными писцами

в текстах Corpus, линдисфарнских и рашвортских евангелий [3].

Необходимо отметить, что в связи с ранним обособлением уэссекского диалекта и постепенным завоеванием им ведущего положения среди древнеанглийских диалектов совершенно неизбежным было влияние его на другие диалекты. С другой стороны, ряд слов, бывших общеанглийскими на определенном этапе развития языка, в некоторых случаях сохранялся лишь в одном из диалектов, хотя такие слова могли еще встречаться в текстах, написанных на диалектах, в которых в изучаемый период эти слова уже вышли из употребления или находились в процессе отмирания. В силу целого ряда изменчивых социально-политических условий в различных частях древней Британии памятники, несомненно относящиеся к определенной территории, нередко писались и многократно переписывались (полностью или частично) на диалекте другого ареала. Необходимо считаться также с тем, что при переписке рукописей архаические слова могли заменяться более новыми или соответствующими словами диалекта, родного для переписчика рукописи. Однако подобные замены, видимо, осуществлялись далеко не последовательно, вследствие чего, например, при переписке памятников в уэссекские рукописи нередко проникали английские слова, а в английские рукописи — уэссекские лексемы. Важно также учитывать, что тексты различных германских языков (особенно глоссы) оказывали большое влияние друг на друга, например, древнеанглийские и древневерхненемецкие [4, 5].

Немаловажную роль при рассмотрении интересующих нас проблем играет учет автохтонного или переводного характера привлекаемых для сравнения памятников, а также исследование семантических или лексических заимствований. Механическое следование методическому принципу Р. Йордана, утверждавшего, что распределение лексем в древних памятниках будто бы отражает их диалектную принадлежность, фактически сводит на нет всю исследовательскую часть работы Ф. Вениша, хотя в тщательности и полноте проведенного им исследования сомневаться не приходится. В самом деле, пользуясь той же методикой, что и Р. Йордан, многие исследователи (Ф. Меннер, Г. Шерер, П. Майсснер, Г. Рау) доказывали английский характер ряда слов, считавшихся Р. Йорданом уэссекскими, и уэссекский характер лексик, считавшейся Р. Йорданом английской. Интересно, что в работе Г. Рау, использовавшей методику Р. Йордана, даже содержится список 1473 слов, «не давших никакого результата» [6], в том числе и слов, приводимых Р. Йорданом и Г. Шерером в качестве диалектных английских или уэссекских (*bisen* «caecus»; *ceawl*

«cophinus»; *snotor* «sapiens»; *hogfull* «grudens» и др.). Таким образом, произвольность индивидуальных толкований при использовании указанного метода, а потому шаткость и ненадежность получаемых при этом результатов стали вполне очевидными даже для сторонников традиционного подхода к исследованию ареальной стратиграфии словарного состава древних памятников языка. В этой связи весьма странным представляется упрек в «неполноте» привлекаемого языкового материала со стороны приверженцев традиционного метода в адрес исследователей, придерживающихся иных методических приемов (с. 14—15 рецензируемой книги).

В своей книге Ф. Вениш старается прежде всего «опровергнуть» установленный другими исследователями английский характер целого ряда древнеанглийских лексем (*denu* «vallis, chaos»; *diegol* «occultus»; *eftarsian* «resurgere»; *gieman* «curare»; *gegierela* «vestmentum, vestis»; *hianan* «spernere»; *higan, hiwan* «familia»; *iecan* «augere»; *laecan* «apprehendere»; *reordian* «prandere»; *risan* «oportet»; *smagan* «cogitare»; *gestreon* «thesaurus, substantia, pecunia»; *taelan* «accusare»; *weorcman* «operarius»). При этом автор сам признает (с. 92—96), что неанглийский характер более трех четвертей этих лексем был показан в моих более ранних работах на ту же тематику.

Автор рецензируемой работы стремится также подтвердить английский характер слов, объявленных таковыми в целом ряде предшествующих специальных работ, выделяя при этом лексемы, не встречаемые за пределами нортумбрийского диалекта (с. 259—273) и «общеанглийские» слова (с. 96—259): *aeswic* «dolus»; *alan* «parere»; *biorgan* «gustare»; *blinnan* «cesare»; *cofa* «spelunca»; *edwitan* «reprobare»; *giemnes* «cura»; *giestern* «diversorium»; *hrnerness* «motus»; *laeran* «obire»; *maegwilita* «species»; *sada* «laquens»; *snytru* «prudencia, sapientia»; *symbol* «cenae»; *tan* «sors; vimen, virga»; *telga* «gamus»; *ðreat* «turba»; *winnan* «laborare» и др. Английский характер этих и многих других слов, но на иных методических основаниях, был показан нами еще в 1969 г. [7]. С другой стороны, Ф. Вениш ставит себе в заслугу обнаружение многих «новых», не отмеченных в литературе «английских» слов, в том числе и нортумбрийских (с. 274—324). Таковы: *awundrian* «mirari»; *berreflor* «area»; *bid* «expectatio»; *cawl* «cophinus»; *clynnan* «epulsare»; *cunel* («truta»; *dieglan* «occultare»; *dor* «ostium»; *dyrnlicgan* «adulter» и др. Вполне понятно, однако, что каким бы полным ни был фактический материал, привлекаемый для анализа, с какой бы акрибией этот материал ни был проанализирован, традиционный метод исследования не может обладать доказательной силой, ибо этот метод позволяет на основе одних и

тех же фактов постулировать любые тезисы, угодные тому или иному исследователю, т. е. дает возможность произвольно истолковывать ареальную принадлежность слов, представленных в древних памятниках языка. И если в работе Р. Йордана с такими методами еще можно было как-то мириться, поскольку это первое в своем роде основополагающее исследование было написано в самом начале XX столетия, то любое исследование, построенное на подобной же методике в наши дни, неизменно воспринимается как анахронизм: ведь следуя йордановским методам, лингвисты, говоря словами Монтеня, «passent par dessus les effects (= faits), mais ils en examinent curieusement les consequences» («Essais», II, с. 473—474). Именно поэтому для анализа ареальной и временной стратиграфии древнегерманской лексики необходимо искать иные пути.

Одним из возможных подходов является следующий метод выявления ареальной характеристики словаря древних памятников. В результате анализа, проведенного как в плане внутренней реконструкции (сравнение древнеанглийских слов с соответствующими ареально ограниченными лексемами современных английских территориальных диалектов), так и в ареально-диахронической проекции (сопоставление со сходными наборами в том или ином ареале современной германской языковой территории), выявляются структурно близкие (как в отношении состава самих конститутивных лексем, так и в отношении объема и особенностей их семантики) лексические наборы, которые, несмотря на хронологические и ареальные различия, в большой мере сохраняют свою структурную целостность как внутри, так и вне обследованного языкового ареала. Как показывает анализ, именно такая структурная целостность характерна для английского лексико-семантического набора, связанного непосредственной изоглоссой с аналогичным (по составу и семантике) южнонемецким (герминюским) лексико-семантическим континуумом. При этом чем больше временная дистанция между сравниваемыми лексико-семантическими структурами, тем доказательнее соответствующее сопоставление. Свой подход мы противопоставляем традиционным методам: при предложенном подходе сопоставляются структурно организованные лексико-семантические континуумы, в противоположность традиционным работам, где сравниваются разрозненные, изолированные лексеммы. Некоторые примеры: др.-англ. *bel* «а bonfire»; совр. сев.-англ. диал. *bale* «то же»; швейц.-нем. *Böli* «то же»; др.-англ. *weler* «labium; buccii»; швейц.-нем. *Biler* «Zahnfleisch»; др.-англ. *haelrig*

«lubricus, caducus»; швейц.-нем. *hāl* «schlüpfrig»; совр. сев.-англ. диал. *haal* «to hold, support, used esp. in connection with children learning to walk»; др.-англ. *hirsting* «frying, burning»; швейц.-нем. *harsten* «rasten»; др.-англ. *heorda* «carrae pellem»; швейц.-нем. *Herden* «Schaf-Ziegenfell»; др.-англ. *pad* «pretorsorium»; баварск.-нем. *Pfait* «Rock»; др.-англ. *snas* «veru»; баварск.-нем. *Schnaisen* «Baumreis, worauf mehrere gleichartige Dinge zum Verkauf oder Gebrauch befestigt oder aufgereiht sind» и др.

Таким образом, к решению вопроса об ареальной дистрибуции лексики в древних памятниках на сколько-нибудь серьезных основаниях можно будет подойти только после выработки такой методики (или нескольких методик) исследования, которая отражала бы языковую реальность и исключала бы возможность произвольных толкований ареальной принадлежности отдельных лексем и содержащих их языковых памятников. Выработка подобных методических принципов предполагает, очевидно, поиск различных возможностей текстологического анализа изучаемых языковых памятников наряду с использованием новейших достижений общего языкознания, истории языка и лингвистической географии: «namque unam dicere causam non satis est, verum plures, unde una tamen sit» (Lucretius, VI, 703).

Маковский М. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. von *Lindheim B.*, Traces of colloquial speech in Old English.— *Anglia*, v. 70, 1951.
2. *Маковский М. М.* Этнонимия Англии в сравнительно-историческом освещении.— В кн.: Этнонимы. М., 1970.
3. *Tuso J. F.* An analysis and glossary of dialectal variations in the vocabulary of three late tenth-century Old English texts.— *The Corpus, Lindisfarne and Rushworth Gospels*. Dissertation. University of Arizona, 1966.
4. *Leydecker Chr.* Die Beziehungen zwischen althochd.-utschen und angelsächsischen Glossen. Bonn, 1911.
5. *Michiels H.* Über englische Bestandteile altdeutscher Glossenhandschriften. Bonn, 1912.
6. *Rauh H.* Der Wortschatz der angelsächsischen Übersetzungen des Matthäus-Evangeliums untersucht auf seine dialektische and zeitliche Gebundenheit. Berlin, 1936.
7. *Маковский М. М.* Сравнительно-историческая диалектография английской лексики. Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1969.

Будаев Ц. Б. Лексика бурятских диалектов в сравнительно-историческом освещении. — Новосибирск: Наука, 1978. 302 с.

Книга Ц. Б. Будаева — первый опыт изучения лексики бурятского языка с исторического аспекта. До выхода в свет рецензируемой монографии словарный состав бурятских диалектов исследовался лишь синхронически [1—8].

В первой главе изложены сведения из истории формирования бурятских диалектов и говоров, дана характеристика их основных фонетических, морфологических и лексических особенностей. Автор придерживается той точки зрения, что бурятский язык распадается на три крупных наречия (диалекта) — западное, восточное и южное, которые в свою очередь подразделяются на многочисленные говоры и подговоры.

Следует сказать, что ныне в бурятоведении нет единого мнения по классификации диалектов и говоров. Почти каждый диалектолог предлагает свою классификацию и оспаривает другие. Ц. Б. Будаев, опираясь на свои наблюдения и материалы, собранные в течение двух десятков лет, также вносит ряд уточнений в существующую классификацию бурятских говоров. К сожалению, автор не рассматривает основания, которых он придерживался при классификации бурятских говоров. Нам кажется, что в этом плане более объективные данные будут получены в результате исследования бурятских говоров лингвогеографическим методом, которое проводится в настоящее время с целью составления диалектологического атласа бурятского языка.

Вторая глава монографии называется «Исходная лексика бурятских диалектов». Ц. Б. Будаев полагает, что процесс формирования лексики бурятских говоров «начался в отдаленную от нас эпоху, по-видимому, не позже середины первого тысячелетия нашей эры, когда протобурятские племена выделялись из числа древних монголов» (с. 85). Автор разделяет точку зрения Ц. Б. Цыдендамбаева, согласно которой протобурятские племена стали обособляться, этнически выделяться из древнемонгольской общности еще во времена протомонголов сяньбийского времени, т. е. с V в. В период образования единого монгольского государства и чингисовских завоеваний протобурятские племена сумели сохраниться как этнические общности, хотя и находились в политической зависимости от монголов с XIII по первую половину XVII в., т. е. до добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства [9].

Письменная фиксация фактов бурятского языка началась лишь после этого события, со второй половины XVII в. По предшествующему же периоду истории бурятских племен, который охватывает

около одиннадцати с половиной столетий, какие-нибудь достоверные данные о языке бурят отсутствуют. Поэтому на современном этапе развития бурятской диалектологии не представляется возможным более полно показать формирование и развитие лексики бурятских говоров в течение этого длительного периода. Ц. Б. Будаев в данной главе работы сосредоточивает свое внимание на установлении фонда исконных слов, имеющихся в бурятских диалектах. При этом сравнение современных бурятских диалектов с показателями ранних памятников монгольской письменности, с данными современных монгольских, а также тюркских, тунгусо-маньчжурских и других языков алтайской семьи принято автором как основной метод исследования. При установлении исконности слов автор принимает во внимание прежде всего их корневые элементы, фоно-морфологические и семантические признаки, а также степень территориальной распространенности слова в монгольских и других алтайских языках. По мнению автора, наиболее древними являются общемонгольские слова, имеющие соответствия в других алтайских языках. В «Древнетюркском словаре» он обнаружил около 900 словарных единиц, по тунгусо-маньчжурским языкам — более 700 корней и слов, имеющих параллели в составе лексики бурятских говоров. Кроме того, к исконному древнему фонду относятся слова, общие для бурятских диалектов и других монгольских языков и отсутствующие в тюркских и тунгусо-маньчжурских языках. Трудоемкая, кропотливая работа по установлению исконного фонда лексики бурятских диалектов в таком широком масштабе проведена автором впервые в бурятском языковедении. В результате своего исследования автор к исконным словам бурятских диалектов относит общемонгольские, регионально монгольские и собственно бурятские слова. Это в основном термины родства (*ага* «старший брат», *эга* «мать», *аша* «внук», *эмэ* «жена; женщина; самка»); названия частей тела человека (*аман* «рот», *гэгэгэ* «коса (волосы)», *хузэн* «женская грудь»); названия предметов труда, домашней утвари (*говргэ* «кузнечный мех», *эдэрэз* «скребок для выделки кожи»; *алха* «молоток», *зуун* «иглолка»); оронимы (*добо* «холмик», «бугорок», *гада* «гора», *шулуун* «камень»); названия различных признаков (*баян* «богатый», *дута* «близкий, близок», *дулиш* «глухой»); названия действий (*эвэлэ* «перевозить», *һанаха* «думать, размышлять») и мн. др. К регионально монгольским отнесены слова *аадар* «ливень», *намаз* «ободого», *шабар* «грязь» и др. К собственно бурятскому исконному фонду относятся: *баса-*

ган «дочь; девочка; девушка», *нэһгэл* «со-весть», *тэрвэлэлэ* «убегать», *шахага* «откармливать» и т. д. Лишь в отдельных случаях вызывает сомнение отношение тех или иных слов к указанным разрядам. Например, к слову *зуур* «слово, речь» признаваемому собственно бурятским, имеется соответствие в калмыцком языке. (ср. калм. *кур* «беседа»).

В результате скрупулезного исследования автор приходит к правильному заключению о том, что исконный фонд лексики, представляющий собой ядро словаря бурятских диалектов, послужил основной базой дифференциации и развития бурятской диалектной лексики.

Однако совершенно ясно, что исследование исторического развития лексики бурятских диалектов более чем за тысячелетний период, предшествующий присоединению Бурятии к России, никак нельзя ограничить лишь установлением исконной лексики. Ведь при этом остаются невыясненными вопросы первоначальной дифференциации лексики диалектов, хронологические рамки появления и выпадения отдельных слов или целых групп и категорий слов, изменения лексики, вызванные социальными причинами. Нам представляется, что специфику исторического развития лексики бурятских говоров можно выявить более полно, если проследить пути формирования лексики по каждому говору в тесной связи с историей его носителей, с их бытом, хозяйством, обрядами и обычаями, устным народным творчеством, оперируя при этом разнообразными методами исследования. В работе Ц. Б. Будаева применяется сравнительно-исторический метод. Однако последний, как известно, используется прежде всего для установления родства языков и диалектов, восстановления архетипов слов и реконструкции языкоосновы. Но поскольку вопрос о генетическом единстве бурятских диалектов или бурятского языка в целом с другими монгольскими языками не является проблематичным, автор в данном случае прибегает к указанному методу недостаточно последовательно и строго. Сравнительно-исторический метод предполагает рассмотрение фактов языка, во-первых, исторически, т. е. в связи с предшествующими фактами развития того же языка, во-вторых, сравнительно, т. е. в связи с фактами других живых и мертвых родственных языков. Поэтому нам кажется, что Ц. Б. Будаеву следовало указать и обосновать методы своего исследования.

Значительно удался автору третья, четвертая и пятая главы, посвященные развитию лексики бурятских диалектов главным образом в период после вхождения бурят в состав русского государства. Именно с этого времени стали фиксироваться факты бурятского языка. В этих главах автор широко использовал архивные материалы по разговорному языку

бурят, собранные, начиная с XVIII в., главным образом русскими учеными-путешественниками, землепроходцами, толмачами-переводчиками. Они посетили в то время бурятские кочевья и оставили драгоценные наблюдения очевидцев. Опираясь на эти материалы, автор показывает постепенную дифференциацию лексики бурятских диалектов в XVII—XX вв.

Вопросы развития и изменения словарного состава бурятских диалектов рассмотрены по основным тематическим группам. В частности, они охватывают изменения в бытовой лексике, например, в названиях жилищ и их частей, включая войлочную и деревянную юрты, в названиях, касающихся отопления, освещения, домашней обстановки, утвари, одежды, обуви, изменения в производственной, общественно-политической лексике. Автор стремится показать, как изменения в экономике, быту, политической и культурной жизни бурятского общества, контакты с другими народами находили отражение в словарном составе бурятских диалектов. Как устанавливает автор, для западнобурятских говоров более характерны тюркизмы и эвенкизмы (*уһээ* «потолок», *лии* «сухой навоз», *балаг* «шескарь», *сордон* «щука»; *ирегиаан* «однородный сохатый», *шинакшиаан* «двухлетняя кабарга», *заалтагай* «половина» и др.), а для восточных и южнобурятских говоров — тибетизмы и маньчжуризмы, общие с монгольским языком и представленные главным образом религиозной и бытовой лексикой. Заимствованность слов из восточных языков определяется автором в подавляющем большинстве случаев правильно. Факты, приведенные в работе Ц. Б. Будаева, свидетельствуют о более тесном региональном контактировании западных бурят с сибирскими тюрками — якутами, хакасами, тофаларами и др. Например, деревянные юрты и соответствующие термины имелись у этих народов и у западных бурят. Большое внимание уделено заимствованиям из русского языка. Отметим, что автор проследивает территориальное распространение многих заимствований (например, *хартабла*, *яабала* в значении «картофель» и т. п.), своеобразия которых обусловлено контактированием носителей бурятских диалектов с представителями различных русских говоров.

В ходе исторического развития бурятских диалектов в них появилось значительное количество собственно бурятских слов, образованных посредством соединения преимущественно общемонгольских словообразующих аффиксов с исконными производящими основами. Диалекты характеризуются своеобразием в соединении аффиксов с теми или иными основами, что обуславливает появление разнообразных диалектизмов (например, *шэгшүүр*, *шэлкүүр*, *шэлтүүр*, *һэгшүүр*, *һайгуур* «сито» и т. п.).

Хорошо показав изменения в диалектной лексике более раннего периода, Ц. Б. Будаев, как нам представляется, все же не совсем полно выявил изменения словарного состава диалектов в настоящее время, в частности, не уделил должного внимания возрастанию заимствованных терминов.

В целом мы считаем, что данная работа вводит большой новый материал и знаменует новый этап в изучении бурятской диалектной лексикологии, ибо в ней словарный состав бурятских диалектов впервые рассматривается в историческом аспекте. В работе Ц. Б. Будаева получился решенный крупная научная проблема, имеющая большое теоретическое и практическое значение. В заключение отметим, что книга хорошо издана, в чем немалая заслуга работников Сибирского отделения издательства «Наука».

Шагдаров Л. Д., Дондуков У.-Ж. Ш.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бертагаев Т. А. Западнобурятский диалект на материале лексики. — В кн.: Академику Н. Я. Марру. XIV. М. — Л., 1935.
2. Бертагаев Т. А. К исследованию лексики монгольских языков (опыт сравнительно-статистического исследова-

ния лексики бурятских говоров). Улан-Удэ, 1961.

3. Бертагаев Т. А. Лексика современных монгольских литературных языков (на материале монгольского и бурятского языков). М., 1974.
4. Исследование бурятских говоров. Вып. 1. Улан-Удэ, 1965 (Абашев Д. А. Тункинский говор; Хомонов М. П. Боханский говор; Раднаев Э. Р. Баргузинский говор; Бураев И. Д. Сартульский говор; Будаев Ц. Б. Цонгольский говор).
5. Исследование бурятских говоров. Вып. 2. Улан-Удэ, 1968 (Матхеев Б. В. Очерки эхирит-булагатского говора; Митрошкина А. Г. Говор качугских (верхоленских) бурят; Дамдинов Д. Г. Этно-лингвистический очерк хамниганского говора).
6. Спанжеев Г. Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. Т. 1. М., 1953.
7. Алексеев Д. А. О «территориальных» диалектах бурят-монгольского языка. — В кн.: Материалы научной конференции по вопросам бурят-монгольского языка. Улан-Удэ, 1955.
8. Цыдендамбаев Ц. Б. О диалектальных различиях в разговорном бурятском языке. — Тр. БКНН СО АН СССР, Улан-Удэ, 1960, сер. востоковед., вып. 3.
9. Цыдендамбаев Ц. Б. Бурятские исторические хроники и родословные. Улан-Удэ, 1972, с. 293.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

15 января 1981 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись XII Виноградовские чтения. Чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин, открывая чтения, сказал, что современные исследователи плодотворно развивают идеи выдающихся русских и советских языковедов и это свидетельствует о преемственности научных знаний, без которой не может быть дальнейшего движения науки. Ежегодные Виноградовские чтения — наглядный пример такой преемственности. XII чтения были посвящены проблемам теории текста как лингвистической категории.

А. Н. Робинсон (Москва) в докладе «Возвращающаяся грамматика и текст (XVII в.)» показал своеобразное понимание грамматики в России XVII в. как первой из схоластических наук, которые претендовали не только на просвещение, но и на «истинное» богопознание. Приехавшие в Москву по царскому приглашению «киевские старцы» стали «справщиками» церковных книг и использовали культ грамматики для обвинения в «ереси» своих идеологических противников — писателей демократического движения «раскола» (Аввакума, Епифания, Федора и других). На ярких примерах текстов Аввакума и его сторонников докладчик показал, как эти писатели, со своей стороны, не менее воинственно обвиняли «киевских старцев» в искажении святоотеческих книг при помощи грамматики и «внешней мудрости» вообще. А. Н. Робинсон подчеркнул, что придворные писатели внесли много ценного в русское просвещение, включая и вопросы грамматики, но крупнейший писатель Аввакум, демонстративно отвергший все словесные науки, оказался новатором русской прозы и дал такие ее образцы, которых далеко не достигли все его противники, подлинные знатоки грамматики, поэтики и риторики.

В докладе О. И. Москальской (Москва) «Текст — два понимания и два

подхода» были охарактеризованы основные этапы развития лингвистики текста и та эволюция, которую претерпела концепция текста. Лингвистика текста развивается первоначально как раздел синтаксиса — учение о сложном синтаксическом целом, затем как самостоятельная, обособленная от других область лингвистики. Предметом рассмотрения у большинства исследователей является не целое речевое произведение, а замкнутая цепочка предложений, рассматривавшаяся на первом этапе как единица синтаксиса, а затем как высказывание, как элемент «системы языка». В последующие годы наметился новый подход к лингвистике текста, характеризующийся переключением внимания исследователей на целый текст, целое речевое произведение — высшую коммуникативную единицу, не поддающуюся однозначному определению в понятиях грамматики. Новый подход к тексту определил изучение текста не только как готового продукта речетворчества, но как процесса, как составной части общественной деятельности человека. Лингвистика текста оказалась втянутой в общий круг лингвистических и нелингвистических дисциплин, изучающих текст, что, с одной стороны, позволило существенно расширить и изменить ее концептуальный аппарат, а с другой стороны, выявило опасность одностороннего крена в сторону изучения текста с позиций одной из смежных дисциплин.

Д. Н. Шмелев (Москва) в докладе «Некоторые аспекты строения текста» подчеркнул многоаспектность выдвинутого акад. В. В. Виноградовым положения о том, что особенности художественной речи могут быть поняты в контексте целого произведения и шире — в контексте эпохи. Докладчик на конкретных примерах показал, что незнание контекста эпохи приводит к ошибкам в понимании как текстов, так и отдельных фраз и многозначных слов. В докладе были рас-

смотрены задачи синтаксиса и стилистики применительно к проблеме анализа текста как целого произведения, вопросы выделения тех частей текста, которые в современных исследованиях получают наименование «синтаксическое целое», «сверхфразовое единство», «прозаическая строфа», «период».

Вопросы выявления и семантической характеристики основных единиц, участвующих в организации композиционно-смысловых единиц текста и самого текста как некоторого целостного образования, были рассмотрены в докладе О. А. Лаптевой (Москва) «О степени дискретности единиц текста». При анализе семантической дискретности в тексте докладчица исходила из того положения, что основные категории текста — его цельность и связанность — на уровне семантики определяются способами структурирования смысла, т. е. использованием таких лексических и синтаксических средств, при помощи которых заложенная в тексте информация могла бы продвигаться вперед последовательно, логично и непротиворечиво, что достигается точностью номинаций и связочных средств. В докладе был последовательно рассмотрен ряд явлений устного публичного монолога, воздействующих на степень смысловой целостности текста, связанности и дискретности составляющих текст синтаксических единиц.

Г. А. Золотова (Москва) в докладе «К вопросу о конститутивных единицах текста» напомнила о выдвинутой акад. В. В. Виноградовым проблеме выделения специфических речевых единиц и определения типовых композиционных их объединений в разных жанрах общественно-речевой практики и показала противопоставленность двух основных коммуникативных типов, или регистров речи: изобразительного и информативного в их разновидностях, на основе комплекса их языковых признаков. Речевые блоки тех или иных регистров и их типовые композиционные объединения рассматриваются докладчицей как единицы текста.

Доклад Т. Г. Винокур (Москва) «Стилевой состав высказывания в отношении к говорящему и слушающему» был посвящен лингвистическому аспекту проблемы «образа автора», которая постоянно находилась в центре научных интересов акад. В. В. Виноградова. По мнению докладчицы, это aspect лингвистики, так как последние изучает отношение к языку тех, кто им пользуется как средством общения (а именно отношение к языку, которое можно выявить стилистическим анализом текста, указывает на социально-речевые характеристики участников коммуникативного акта и на особенности устойчивых коллективных навыков носителей данного языка). В докладе был поставлен ряд

вопросов, возникающих при подходе к стилевой организации текста с точки зрения коммуникативной грамматики: связь такого качественного признака текста, как экспрессия, с процессом его формирования (подготовленности/спонтанности); связь подготовленности/спонтанности с индивидуализацией или стереотипностью языкового отбора в высказывании и др.

Проблеме стилеобразующей и текстообразующей функции присоединительных конструкций, впервые поставленной в трудах акад. В. В. Виноградова, был посвящен доклад Л. Ю. Максимова (Ленинград) «Присоединение, парцелляция и текст». Изучение присоединительных конструкций с точки зрения их структурно-семантических качеств, подчеркнул докладчик, вскрыло неоднородность явлений, обозначаемых термином «присоединение», и обусловило введение в научный оборот термина «парцелляция». По мнению Л. Ю. Максимова, следует последовательно придерживаться точки зрения, согласно которой парцелляция обозначает прием, принадлежащий речи книжной, а присоединение — естественное явление живой устной речи. При таком понимании терминов к присоединению нужно отнести и случаи структурно выраженного присоединения, и случаи присоединения, выраженного исключительно интонацией и порядком слов, а к парцелляции — все случаи использования этого приема в книжной речи, независимо от того, какой знак препинания отделяет парцеллы от базовой части, и от того, какую именно функцию выполняет парцелляция: характерологическую, экспрессивно-выделительную или функцию ритмико-мелодической организации текста.

В докладе И. Н. Кручинной (Москва) «Текстообразующие функции сочинительной связи» рассматривался тезис о том, что сочинительная связь может изучаться не только в традиционном аспекте функционирования ее в рамках сложного предложения или в рамках разного рода словесных, внутрифразных сцеплений, но и в аспекте ее текстообразующей функции. Такой анализ позволил внести поправки и уточнения в значения сочинительных союзов и выявить те инвариантные семантические признаки, на основе которых эти союзы организуются в своеобразные грамматические оппозиции. Автор последовательно рассмотрела употребление в открытом тексте сочинительных союзов *и*, *но*, *а* и выявила присущую каждому из них особую композиционно-синтаксическую функцию.

В докладе Г. Я. Солганика (Москва) «К проблеме модальности текста» шла речь о том, что категория субъективной модальности, возможности которой заложены в языке, характеризует и конституирует речь как относительно ряд

самостоятельный объект в диалектическом единстве «язык — речь». Автор подразделил средства субъективной модальности на внутримодальные (языковые) и внешнемодальные (речевые), подчеркнув, что взаимодействие внешне- и внутримодальных средств создает общее субъективно-модальное значение текста (его окраску, тональность).

Е. Н. Ширяев (Москва) в докладе «О структуре повествования в разговорной речи» обратился к анализу особенностей организации текстов разговорной речи в сопоставлении с текстами кодифицированного литературного языка. В докладе была сформулирована общая закономерность в организации текстов разговорной речи, представляющая единство двух противоположенных тенденций: нерасторжимую связь компонентов в отдельных фрагментах, с одной стороны, и возможность слабой связи между самими фрагментами, с другой.

Закрывая XII Виноградовские чтения, председатель Комиссии по Виноградовским чтениям Н. Ю. Шведова отметила, что прочитанные доклады свидетельствуют о том, что выдвинутые акад. В. В. Виноградовым идеи, касающиеся общей теории текста, плодотворно развиваются советскими языковедами, и это — дань памяти большому ученому.

Белоусова А. С. (Москва)

23—25 сентября 1980 г. в Риге состоялась IV Всесоюзная конференция балтистов, созванная Институтом языка и литературы АН ЛатвССР и Латвийским государственным университетом им. П. Стучки. В ней приняли участие около ста делегатов из 13 городов нашей страны, а также зарубежные гости (из Австралии, ГДР, Италии, Норвегии, ПНР, СФРЮ, США, Швейцарии, Швеции, ФРГ). Программа конференции отражает широкий диапазон тематики, актуальной для балтийского языкознания, разнообразие конкретного материала и разноаспектную его интерпретацию. Всего на пленарных заседаниях и в пяти секциях было заслушано 97 докладов¹. Пленарные доклады касались коренных проблем современной баллистики, таких, как определение времени и ареала формирования праязыка балтов и распада его на диалекты — впоследствии балтийские языки (В. Мажюлис, Вильнюс); отношения между албанским и балтийскими языками в период позднинеоэвропейской общности (А. В. Десницкая, Ленинград);

конфронтация гидронимии балтийской с гидронимией древней Европы, показывающая, что финно-угорское влияние на латышский язык — явление более позднее (В. Шмид, ФРГ), поиск следов древних дلتягов в современной латышской топонимии и антропонимии (А. П. Непокупный, Киев); сопоставление балтийских и славянских названий солнца и луны на фоне европейских языков (Д. Брозович, СФРЮ); пословицы и поговорки балтийских народов в сравнении с паремиями славянскими и прибалтийско-финскими (Э. Кокаре, Рига). Актуальные вопросы современных балтийских языков нашли отражение в докладе И. Палениса (Вильнюс), посвященном принципам диахронно-типологического изучения балтийских литературных языков, и в докладе А. Бликеня (Рига) — анализирующей проблемы нормализации латышского литературного языка; о методологии исторического исследования латышского языка говорил С.-Ф. Колбушевский (ПНР).

В секции № 1 (Фонетика) рассмотрены такие вопросы, как соотношение индоевропейского и балтийского консонантизма (Л. Г. Герденберг, Ленинград); судьба индоевропейских слоговых сонорных в балто-славянских и албанских языках (Л. Беднарчук, ПНР); инновации, общие для балто-славянской системы консонантизма (В. Шмалстиг, США); реконструкция фонологической системы языка голяди (М. И. Лекомцева, Москва); роль данных финно-угорских языков для истории балтийского вокализма (А. Брейдакс, Рига); акцентуационная система в прибалтийском языке (Т. Матпассея, Норвегия). Ударению слова и интонации слога в литовском языке посвятили свои доклады З. Зинквичюс (Вильнюс) и А. Пакерис (Вильнюс). Классификацию гетеротонов (слов, отличающихся в произношении только слоговой интонацией) в балтийских языках представила Р. Грисле (Рига). Диалектную фонетику и фонологию литовского языка исследовали А. Гирденис, Й. Довидайтис, О. Косене, В. Гринавецкис (Вильнюс), М. Хасюк (ПНР). Проблемы морфонологии латышского языка рассмотрел Т. Феннел (Австралия), литовского языка — А. Ф. Ивапова (Ленинград), Р. Венцкете (Вильнюс). М. В. Федорова (Гомель) уделила внимание метатезе восточнославянских и балтийских языков. Н. Н. Казанский (Ленинград) сделал сообщение о неопубликованной статье Ф. Ф. Фортунатова, касающейся взаимоотношения латышской акцентуации и долготы гласных.

В секции № 2 (Морфология) предметом исследования была историческая морфология; словообразовательный анализ ли-

¹ К началу конференции были опубликованы тезисы планировавшихся докладов: IV Всесоюзная конференция балтистов. 23—25 сентября 1980 г. Тезисы докладов. Рига, 1980 (объем 8,37 п. л.).

товского и греческого языков в сравнительно-историческом аспекте (В. П. Казанскене, Ленинград); потеря среднего рода, сказавшаяся на морфологических системах балтийских языков (Ф. Шольд, ФРГ); характеристика древних индоевропейских прилагательных с *-i*-основой, сохранившихся в литовском языке (Ю. В. Откупицков, Ленинград); история образования глагольных флексий (С. Валентас, Шяуляй) и суффиксов в балтийских языках (С. Каралюнас, Вильнюс); происхождение глагольной формы супина в современных латгальских говорах (М. Рудзите, Рига). Типологический аспект нашел отражение в докладах: А. Паулаускене и Ю. С. Степанова (Москва), посвященном универсальным категориям в грамматике балтийских языков; А. М. Сытова (Ленинград), сравнивающим пересказательные глагольные формы балтийских языков с балканской категорией адмиратива-комментатива. В контрастивном плане представлен строй аббревиатур латышского и русского языков (Р. Я. Калибрзиня, Рига). В ряде выступлений обсуждались грамматические категории: определение места страдательного причастия наст. времени с суф. *-ant-*, *-ānt-* в системе глагольных форм латышского языка (Р. Вейдемәне, Рига); пассивные конструкции глагола в фольклорных текстах литовского языка (Г. Микелини, Италия); деривационная специфика и валентность глагола латышского языка (Э. Сойда, Рига); переходность глагола в современном латышском языке (А. Озола, Рига); вариабельность грамматического рода и склонения у приставочных существительных в латышском языке (Г. Смильтниэце, Лиепая); параллелизм субстантивных основ на *oā* и на *ioē* в балтийских языках (Б. Стунджа, Вильнюс); морфологическое оформление латышских и литовских фамилий в русском языке (Л. П. Калакуцкая, Москва); типология деиктических систем в балтийских языках (А. Росинас, Вильнюс); лингвостатистика склоняемых частей речи и их грамматических категорий в современных балтийских языках (В. Жилинскене, Вильнюс).

В секции № 3 (Синтаксис) был рассмотрен ряд вопросов теоретического синтаксиса (большая часть в структурно-типологическом аспекте): взаимоотношение синтагматики и парадигматики в интерпретации структурной типологии предложения (Ю. Карклиньш, Рига); соотношение грамматики текста и стилистики текста (И. Валдманс, Рига); установление ступеней семантико-синтаксических отношений и понятий «подлежащее» и «субъект» (В. Лабутис, Вильнюс). В нескольких докладах был дан анализ конкретных категорий

языка: типологии предикативных конструкций современного литовского и латышского языков (И. Балькявичюс, Вильнюс); синтаксиса и семантики латышских и литовских рефлексивных глаголов (Э. Генюшене, Вильнюс); особенностей выражения possessивных отношений в литовском и латышском языках (Т. В. Булыгина, В. Сталтмане, Москва); структурное описание переменной валентности глаголов современного литовского языка (Н. Служене, Вильнюс); функциональные типы гентива современного латышского языка (Я. Розеибергс, Рига). В области исторического синтаксиса внимание было уделено архаическим чертам синтаксиса балтийских языков (Ю. П. Костюченко, Ленинград); роли позиционных моделей для реконструкции структуры предложения балтийских языков (В. Амбразас, Вильнюс); истории употребления латышских предлогов (Д. Нития, Дуагавиле). В контрастивном аспекте структурную организацию словосочетаний в немецком и латышском языках интерпретировали П. И. Копанев (Минск) и Б. Г. Перница (Рига). Функции изъяснительных союзов в латышском и литовском языках описал Я. Икевицс (Лиепая).

В секции № 4 (Лексикология) преобладала историческая тематика. Балтийская лексика привлекалась для определения места в кругу индоевропейских языков — армянского (Л. А. Сараджева, Ереван), албанского (О. С. Широков, Москва; А. Ю. Русаков, Ленинград), а также для решения балто-славянской проблемы (Ю. Лаучюте, Ленинград); латышские народные песни рассмотрены в качестве источника истории языка (Б. Рейдзәне, Рига). Во многих докладах затрагивались последствия языковых контактов. Названия рыб *šiga*, *šilke*, *salaka* и др. в германских, балтийских, финноугорских и славянских языках были представлены как реликты тех добалто-финских-языков, которые некогда были распространены на северо-восточной территории Европы (А. С. Герд, Ленинград); охарактеризовано соотношение интернационального и национального в заимствованной лексике современного латышского языка (В. Скуйиня, Рига). Различные пласты неясной лексики латышского языка исследовали И. Балдунчикс, А. Банкавс и К. Калниня (Рига) в докладах, посвященных английским, французским и немецким заимствованиям. На дитизмах в литовском остановился А. Сабалюскас (Вильнюс), о балтизмах в белорусском говорил А. Е. Супрун (Минск). Обзор заимствований общего происхождения в балтийских и прибалтийско-финских языках представил О. Бушс (Рига). Значительное внимание было уделено интерференции языков в зонах балтингвизма —

были описаны различные случаи двуязычия: белорусско-литовское (Т. М. Судник, Т. В. Цивьян, Москва; Э. Гринявичене, Вильнюс; Ю. В. Мацкевич, Минск); литовско-латшское (К. Гаршва, Вильнюс), эстонско-латшское (Л. Вабба, Таллин). Некоторые семантические параллели в балтийских и прибалтийско-финских языках были представлены Э. Кагайне и О. Бушом (Рига). Названия рыб в куршских говорах Латвии анализировал В. Урбутис (Вильнюс); диалектную лексику латышского языка в условиях двуязычия охарактеризовала А. Рекена (Лепая). Ономастический пласт лексики, а также разряды апеллативов, связанные непосредственно с именами собственными, были интерпретированы с учетом истории народов и языковых контактов: топонимия Латвии (В. Дамбе, Рига), (В. Зепс, США); типология названий рыболовецких угодий Балтийского моря (В. Лаумане, Рига); балтийские этнонимы в составе топонимов Латвии (Л. Балодэ, Рига), балтийские и славянские названия болот с корнем *mšch* в северо-восточной Польше (Г. Зданевич, ПНР). В области антропонимии анализировались: личные имена латышей (К. Силиньш, Рига), латышские фамилии в сопоставлении с литовскими и эстонскими (В. Сталмане, Москва, Т. Каганова, Тарту), литовские антропонимы в сравнении с малоазиатскими (В. Римша, Каунас).

В секции № 5 (Фразеология и этимология) фразеология получила освещение в докладах А. Лауа (Рига), В. Рукедрауни, (Швеция), Р. Экерта (ГДР), Л. Паужиса (Вильнюс). Результаты этимологических разысканий представили в докладах: А. Ванагис (Вильнюс) — балтийское и финно-угорское **iv-*; К. Карулис (Рига) — латышское *sika* и литовское *kiulė* «свинья»; М. Бренде (Рига) — балтийские топонимы с *bal-k-*. На заключительном пленарном заседании был заслушан доклад (по данным архива АН СССР) о научной деятельности и личности выдающегося латышского лингвиста Я. Эндзелина (Л. Г. Герценберг, Н. Я. Молевиченко, Ленинград).

Статмане В. Э., Булмеина Т. В. (Москва).

3—5 сентября 1980 г. в Абакане проводился симпозиум «Проблемы функционального и внутривидового развития литературных языков в связи с их применением в сферах массовой коммуникации», организованный Научным советом АН СССР по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием

социалистических наций», Институтом языковедения АН СССР и Хакасским НИИ языка, литературы и истории.

С приветственным словом к участникам симпозиума обратился секретарь Хакасского обкома партии К. Н. Худяков.

На симпозиуме было заслушано около 50 докладов и выступлений, из них 14 на пленарных заседаниях.

Важнейшие социолингвистические проблемы развития массовой коммуникации (МК) на языках народов СССР в условиях зрелого социализма были рассмотрены в докладе «Основные направления социолингвистического исследования языка массовой коммуникации» Ю. Д. Дешериева (Москва), который выделил четыре наиболее актуальных в данной области направления, связанных с изучением: 1) проблемы выбора языка МК из оптимального сочетания различных языков во всех видах МК; 2) функциональной дифференциации и развития языков в сферах печати, радио, телевидения и кино; 3) внутривидового развития языков в связи с их применением в рассматриваемых сферах; 4) общих и специфических явлений, возникших в языке разных сфер МК. По первым трем направлениям, как отмечает докладчик, до последнего времени почти не велось исследования как у нас, так и за рубежом, несмотря на их первоочередное значение для освещения языковых проблем МК. По четвертому направлению существует большая литература, нуждающаяся в теоретическом обобщении.

В докладе М. И. Боргоякова, В. Г. Карпова, Д. Ф. Патачковой и Д. И. Чанкова (Абакан) прослеживается развитие хакасского языка и письменности за 50 лет. Расширение сфер применения хакасского литературного языка, развитие его общественных функций, по мнению авторов, обусловили структурное развитие языка на уровне лексики, морфологии и синтаксиса. Затронув проблемы развития некоторых тюркских языков в связи с их применением в сфере МК, А. Н. Баскаков (Москва) отметил возрастание в советский период влияния русского языка, в частности, его публицистического стиля, на формирование особенностей газетного стиля тюркских литературных языков, функционирующих на территории нашей страны. Э. Г. Туманиян (Москва) говорила о периодической печати как важнейшем средстве развития литературных языков, способствующем распространению норм письменной речи, формированию терминологических систем и стилистической дифференциации языка. Б. Ч. Чардыяров и О. Н. Назаров (Ашхабад) на материале туркменского языка показали, что формирование особых стилистических черт языка МК обусловлено

специализацией и тематической дифференциацией различных видов МК, их функционированием в условиях двуязычия. В докладе Т. М. Гарипова и В. Х. Мустафина (Уфа) представлен опыт социолингвистического изучения средств массовой коммуникации в Башкирской АССР. По мнению В. Ю. Михальченко, С. И. Тресковой и Т. У. Кагановой (Москва), сопоставление особенностей функционального и внутривидового развития языков народов СССР с разным объемом общественных функций позволяет выявить некоторые общие и частные закономерности в формировании публицистического стиля.

Ю. Д. Дешериев и Л. И. Скворцов (Москва) в докладе «Русский язык и проблемы развития массовой коммуникации в СССР» заострили внимание на проблемах функционирования русского языка как языка межнационального общения народов СССР, которые в условиях двуязычия являются особенно актуальными в связи с попытками узаконить так называемые национальные варианты русского языка. Отмечая реальное существование лексических и орфоэпических отклонений в русской речи местного населения разных лингво-региональных ареалов, докладчики подчеркнули, что их следует рассматривать как интерферентные явления. Все виды МК должны способствовать распространению литературной нормы родного и русского языков в условиях двуязычия. В докладе Ю. В. Рождественского (Москва) обсуждается специфика текстов МК, выявляются ее источники, анализируются особенности влияния различных средств МК на развитие национальных и формирование межнациональных языков. А. А. Волков (Москва) в докладе «Семиотический аспект массовой коммуникации и литературный язык» выделил четыре аспекта изучения языка МК: лингвистический, семиотический, филологический и социально-функциональный. Продемонстрировав особенности использования языка в информационно-пропагандистских процессах в социалистическом и буржуазном обществе, Т. Б. Крючкова (Москва) подчеркнула, что МК в современном обществе, являясь одним из важнейших орудий социального управления, носит ярко выраженный классовый, идеологический характер. Е. Ф. Тарасов (Москва) охарактеризовал понятийный аппарат (психолингвистический по своей ориентации), с помощью которого возможна интерпретация текстов, функционирующих в МК. Филологические проблемы взаимоотношения языка и форм общественного сознания в связи с изучением МК затронуты в докладе К. К. Кошечего (Москва).

В секции 1 (Функционирование рус-

ского языка в сферах массовой коммуникации) было заслушано четыре доклада. Предварительные результаты социолингвистического исследования, связанного с выявлением влияния различных видов МК на развитие туркменско-русского двуязычия, представили Т. Б. Крючкова, С. И. Трескова и Ы. Б. Чарьяров (Москва). В докладе Б. Х. Хасанова (Алма-Ата) характеризуются основные тенденции функционирования национального и русского языков в сфере кино в КазССР. М. В. Орешкина (Москва) анализировала специфические черты русской публицистики. Социально-демографические особенности аудитории МК в условиях многонационального Дагестана обобщила П. Б. Мадиева (Махачкала).

В секции 2 (Применение литературных языков народов СССР в сфере печати) состоялось семь докладов. А. М. Сланов (Кировабад) коснулся проблемы функционирования языка периодической печати в разных социальных условиях (на примере азербайджанского языка в АзербССР и за рубежом). Методы социологического изучения аудитории периодической печати обсуждались в докладе В. Т. Давыденкова и П. А. Бродяжко (Москва). Вопросы формирования и развития терминов в периодической печати рассматривались на материале следующих языков: чувашского — Н. П. Петров (Чебоксары), казахского — Т. Сайрамбаев (Алма-Ата), караево-балкарского — И. М. Отаров (Нальчик), башкирского — З. А. Абсалямов (Уфа), узбекского — Р. Данияров (Ташкент).

В секции 3 (Применение литературных языков СССР в сферах радиовещания, телевидения и кино) было прочитано четыре доклада. Л. Д. Шагдаров и А. Н. Содномов (Улан-Удэ) сделали попытку на материале бурятского языка выявить общие черты, характерные для языка всех видов МК. О. П. Анжиганова (Абакан) определила некоторые особенности, отличающие язык радио и телевидения от языка прессы (на материале хакасского языка). В докладе Ю. А. Тхаррахо (Майкоп) становление специфических явлений, характерных для адыгейского литературного языка, функционирующего в сферах МК, связывается с влиянием русского языка. Характерные черты синтаксиса осетинского языка, функционирующего в сфере МК, рассматриваются в докладе Ю. Д. Каражаева (Орджоникидзе).

В секции 4 (Применение литературных языков в сфере МК в зарубежных странах) было заслушано пять докладов. Г. И. Нецименко (Москва) обобщила основные тенденции, в русле которых решаются теоретические и практи-

ческие вопросы совершенствования языка МК в ЧССР и ПНР. Проблемам становления общественно-политической терминологии в периодической печати развивающихся стран посвящены доклады Н. В. Охотиной (Москва) и Л. В. Хохловой (Москва). В докладе А. И. Полторацкого (Москва) рассматривался вопрос о роли средств МК в языковой ситуации в Уэльсе. Специфике функционирования монгольского языка в сфере радиовещания посвятил свое выступление Н. В. Апполонов (Москва).

На пленарных и секционных заседаниях выступили: Л. К. Граудина (Москва), Г. А. Калимова (Москва), Г. Кискараева (Фрунзе), В. К. Малькова (Москва), О. В. Субракова (Абакан), В. П. Семенов (Чебоксары), И. В. Толстой (Москва), А. А. Тыбыкова (Горно-Алтайск), Я. Ш. Хертек (Кызыл), В. Х. Эрендженев (Элиста) и др.

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги симпозиума и приняты научно-практические рекомендации.

Крючкова Т. Б., Трескова С. И. (Москва).

CONTENTS

Articles: Filin F. P. (Moscow). Problems of Russian historical lexicology (the ancient period); **Discussions:** Petuškov V. P. (Leningrad). On the possible limits of using automatic devices in lexicographic work; Pjurbeev G. C. (Moscow). The category of modality and means of its expression in the Mongolian languages; Verner G. K., Zivova G. T. (Taganrog). Some features of the class system in the Yeniseian languages; Kim S. S.-D. (Tashkent). Development of a pattern for the Russian part of bilingual Russian—national language dictionaries; Domašnev A. I., Hudnickij V. S. (Leningrad). On the status of Low-German dialect in the German Democratic Republic; **Materials and notes:** Bragina A. A. (Moscow). Some observations on the category of gender in Russian; Daškevič Ya. R. (Lvov). The Armeno-Kipchak language of the XV—XVII centuries as recorded by the contemporaries; Murianov M. F. (Moscow). I. V. Jagić's work on the liturgical menaions of 1095—1097; Marojevič R. (Belgrade). Opposition of definite and indefinite forms of possessive pronouns and the nature of names of the type *Vševoločaja* in Old Russian; Orlov G. A. (Moscow). On the differentiation of familiar and literary colloquial speech; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Filin F. P. (Moscou). Problèmes de lexicologie historique russe (ancienne période); **Discussions:** Petuškov V. P. (Léningrad). Sur les limites possibles de la mécanisation des travaux lexicographiques; Pjurbeev G. C. (Moscou). Catégorie de la modalité et moyens de son expression dans les langues mongoles; Verner G. K., Zivova G. T. (Taganrog). Traits caractéristiques du système de classes dans les langues iénisséiennes; Kim S. S.-D. (Tachkent). Sur l'élaboration d'un modèle de la partie russe pour les dictionnaires bilingues russe—langue nationale; Domašnev A. I., Hudnickij V. D. (Léningrad). Sur le statut du bas-allemand dans la République Démocratique Allemande; **Matériaux et notices:** Bragina A. A. (Moscou). Quelques observations sur la catégorie du genre en russe; Daškevič Ya. R. (Lvov). La langue arméno-kiptchake des XV—XVII siècles d'après les témoignages des contemporains; Murianov M. F. (Moscou). Le travail de I. V. Jagić sur les ménées liturgiques de 1095—1097; Marojevič R. (Belgrade). Oppositions des formes définies et indéfinies des pronoms possessifs et nature des noms du type *Vševoločaja* en vieux russe; Orlov G. A. (Moscou). À propos de la démarcation entre langue parlée familière et langue parlée littéraire; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

К сведению читателей!

С 1 января 1982 г. цена за экземпляр нашего журнала устанавливается в размере 1 р. 60 к. Стоимость годовой подписки 9 р. 60 к. Это связано с увеличением стоимости бумаги для печати, затрат на полиграфическое исполнение журнала, расходов на подготовку рукописей и художественно-графическое оформление издания.

Технический редактор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 29.06.81	Подписано к печати 11.09.81	Т-10291	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}	
Высокая печать	Усл. печ. л. 14,0	Усл. кр.-отт. 99,5 тыс.	Уч.-изд. л. 16,2	Бум. л. 5,0
	Тираж 7021 экз.	Заказ 585		

Издательство «Наука». 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10